

Эрнст Гофман Эликсиры дьявола

*Бумаги, найденные после смерти брата Медардуса, капуцина
Выпущено в свет автором "Фантазий в манере Калло"*

РОМАН

Предисловие издателя

Хорошо бы, любезный читатель, увлечь мне тебя туда, под сень сумрачных платанов, где я впервые прочитал таинственную историю брата Медардуса. Ты бы разместился со мною на той же самой каменной скамье, полускрытой пахучим кустарником и многокрасочным пламенем цветов; ты бы, подобно мне, с неподдельным вожделием вглядывался в голубые горы: они диковинными виденьями высятся перед нами там, над пространной солнечной долиной, куда ведет аллея. Но ты обернулся бы и узрел бы не далее как шагах в двадцати позади нас, готическое здание, чей портал роскошно изукрашен статуями. Сквозь мрачные ветви платанов взирают на тебя образа святых светлыми, поистине живыми очами; это неувядаемые фрески, преславное убранство широкой стены. Солнце пламенеет багрянцем над горным хребтом, веет вечерний зефир, всюду отрадное оживление. За кустами и за деревьями журчат и лепечут чудные голоса; они как будто нарастают и нарастают, доносясь издали мелодическим рокотом органа. Строгие мужи в свободных складчатых облачениях, возводя горе боголюбивые взоры, безмолвно движутся под сенью сада. Неужто ожившие образа праведников покинули высокие карнизы? Ты оваян вещей жутью причудливых сказаний и преданий, запечатленных там, как будто баснословное творится и происходит пред тобой в непреложной очевидности. Это предуготовило бы тебя, и ты читал бы жизнеописание Медардуса, и в невероятнейших его наитиях открылось бы тебе нечто большее, чем безудержное мельтешение лихорадочных грез.

А поскольку ты, любезный читатель, узрел бы уже образа и монашескую обитель, не было бы нужды присовокупить, что мы с тобою в монастыре капуцинов близ Б., а точнее, в прекраснейшем его саду; вот куда завлек я тебя.

В этом-то монастыре я и гостил однажды несколько дней, и достойный настоятель обратил мое внимание на реликвию, сберегаемую в архиве: бумаги усопшего брата Медардуса, и немало усилий потратил я, пока не преодолел щепетильность настоятеля, не склонного допускать меня до них. Собственно говоря, по мнению старца, эти бумаги лучше было бы предать огню. Боюсь я, что и ты, любезный читатель, признаешь правоту настоятеля, когда в твоих руках окажется книга, скомпонованная мною из этих бумаг. Но если ты наберешься смелости неукоснительно сопутствовать брату Медардусу в его блужданиях из монастырской галереи в галерею, из кельи в келью и в миру, пестром — пестрейшем, — вынося вместе с ним все жуткое, ужасное, несуразное и анекдотическое, что было в его жизни, тебя, быть может, очаруют неисчерпаемо переменчивые картины, возникающие в этой камере-обскуре. Не исключено даже, что обманчивая зыбкость начнет вырисовываться в закругленной отчетливости для наблюдательного взора. Ты постигнешь детище темной судьбы, сокровенный росток, образующий мощное растение, чтобы оно буйствовало в безудержном избытии жизненных сил, производя тысячи стеблей, пока из одного цветка не вызреет плод и не вберет в себя все жизненные соки, убивая сам росток.

Когда я с подобающим усердием прочитал бумаги капуцина Медардуса, а это потребовало немало прилежания, ибо у покойника был почерк мелкий и неразборчивый, как у истого монаха, я предположил: то, что мы склонны нарекать мечтами и бреднями,

позволяет нам постигнуть потаенную нить, которая пронизывает всю нашу жизнь, скрепляя все ее подробности, однако не гибельна ли готовность обрести в таком постижении могущество, дерзновенно разрывающее эту нить, чтобы тягаться с непостижимой властью, помыкающей нами.

Быть может, любезный читатель, и тебя не минует подобный опыт, а у меня имеются весьма существенные основания желать его тебе.

Часть первая

Раздел первый.

ГОДЫ ДЕТСТВА. МОНАШЕСТВО

Моя мать всегда умалчивала о том, какова была жизнь моего отца в миру, но, когда моя память бережно перебирает все то, что я сызмальства слышал о нем от нее, я готов предположить, что он преуспел и в науках, и в житейском благоразумии. Мать повествовала о своей минувшей жизни довольно сбивчиво и бессвязно, так что далеко не сразу начал я уяснять, что благополучие моих родителей, основанное на немалом богатстве, сменилось удручающей, горчайшей бедностью, что мой отец, совращенный самим сатаной, пал до мерзкого кощунства и смертного греха, однако прошли годы, и его просветила Божья благодать, и он вознамерился искупить содеянное паломничеством ко Святой Липе, в чуждедальнюю, суровую Пруссию. Направляясь туда, изнуренная странствием, мать моя тем не менее впервые убедилась: ее многолетнее супружество не останется бесплодным, и мой отец, начинавший уже отчаиваться, воспрянул духом вопреки всей своей бедности, так как сбывалось возвещенное ему видением, когда святой Бернард заверил его: с рождением сына ему отпустится грех и будет ниспослано утешение. У Святой Липы, однако, моего отца постиг недуг, и чем менее щадил он себя, при всей своей немощи предаваясь изнурительной епитимье, тем неодолимее хворь брала над ним верх; он преставился, примиренный с Богом и утешенный, в миг моего рождения. С первыми проблесками сознания брезжут во мне милые образы монастыря и предивной церкви у Святой Липы. Меня убаюкивает дремучий лес, меня овевают ароматами буйные и многокрасочные цветы, колыбель моя. Святыня Благословенной не допускает вблизи себя ничего ядовитого или вредоносного; муха не смеет жужжать, сверчок не смеет стрекотать в священной тишине, где раздаются лишь умильные гимны иереев, чьи золотые кадила окуривают паломников в продолжительном шествии летучими клубами богоугодного ладана. Все еще вижу я посреди церкви ствол Святой Липы в серебряной ризе. На эту липу некогда снизошла чудотворная икона Пречистой Девы, принесенная ангелами с небес. Все еще вокруг меня и надо мной блики и лики; сияющие, красочные образы ангелов и святых на стенах и на церковном куполе. Конечно, чуднодивная обитель представлялась мне по описаниям моей матери, чья пронзительная скорбь сподобилась там благодатного утешения, но я был так проникнут этими описаниями, что мнилось, будто сам я все это узрел и изведal, хотя вряд ли моя память простирается так далеко в былое, ибо моя мать оставила со мною святое место через полтора года. Однако полагаю, будто воочию явился мне однажды наедине в церкви, где не было в тот миг ни богомольцев, ни священнослужителей, строгий образ таинственного мужа, не того ли захожего живописца, который в старину, когда церковь еще только возводили, вдруг наведalся туда и, хотя его речей никто не разумел, своею ухищренной кистью в кратчайший срок предивно и пречудно расписал всю церковь и, завершив едва свое деянье, снова скрылся.

Также вспоминается мне старый паломник в странном одеянии; у него была длинная седая борода, и он часто брал меня на руки, находил в лесу пестрые мхи и камни, чтобы играть со мною, и все-таки очевидно лишь со слов матери он возник во мне как живой. Однажды я увидел у него на руках другого незнакомого младенца, моего ровесника, он был неописуемо прекрасен. Среди травы мы с ним целовались и миловались, и я не пожалел для

него всех моих пестрых камешков, а он умел располагать их на земле так, что выходили разные рисунки, но рано или поздно из них все равно образовывался крест. Моя мать сидела рядом на каменной скамье, а старец, стоя позади нее, нежно и строго приглядывался к нашим детским забавам. Тут вышли из кустов некие молодчики; наряд их и вся статья говорили о том, что охота поглазеть и поразвлечься привела их к Святой Липе. Один из них увидел нас и вскричал, рассмеявшись: «Вот это да! Святое Семейство так и просится в мой альбом!»

Он и вправду достал бумагу, карандаш и принялся нас рисовать, однако старый паломник поднял свое чело и произнес разгневанно: «Злосчастный зубоскал! Ты метишь в художники, но ни любовь, ни вера сроду в тебе не пламенели, и не труды, а трупы косные, подобные тебе, — удел твой жалкий; отчаешься и пропадом ты пропадешь в своем убожестве, изгой опустошенный, чужой всему и всем».

Юнцы смущенно и поспешно удалились.

А старый паломник молвил моей матери: «Я пришел сегодня к вам с этим чудомладенцем, дабы он одарил вашего сына искрою любви, но мы с ним должны вас покинуть, и, чего доброго, не видать вам больше ни его, ни меня. Вашему сыну не отказано во многих драгоценнейших дарованиях, однако его кровь заражена кипучим брожением отчего греха, вопреки коему он способен воспарить, и тогда из него выйдет отважный воин веры. Воспитывайте его для духовного звания!»

Сколько бы мать ни говорила, впечатление, произведенное на нее глаголами паломника, оставалось столь проникновенным и действенным, что слова не могли полностью засвидетельствовать его; так или иначе, она вознамерилась в будущем не препятствовать моим стремлениям и невозмутимо принять жребий, который выпадет мне волею попечительного рока, так как средства не позволяли ей помыслить о том, чтобы я удостоился воспитания, превышающего ее собственные возможности.

Возвращаясь домой, моя мать побывала в монастыре цистерцианок, настоятельница которого происходила из княжеского рода; давняя знакомая моего отца, она обласкала мою мать; туда восходит изведенное мною отчетливо на собственном опыте. Однако все, что могло произойти с тех пор, как явился мне старый паломник (а мне о нем, действительно, напоминает мой собственный опыт пережитого; моя мать лишь повторила мне, что сказали художник и старец), до того момента, как она представила меня настоятельница, зияет в моей памяти сплошным провалом, от этого времени не осталось ни проблеска. Я как бы опаматовался лишь тогда, когда мать занималась моим костюмом, пытаюсь, насколько это было возможно, приодеть и принарядить меня. Она приобрела в городе новые тесемки, она подстригла мою обросшую головенку, она со всяческим усердием приводила меня в порядок, наставляя при этом в благочестии и в благоприличии, дабы я не ударил в грязь лицом у госпожи настоятельница. Держась за материнскую руку, я взошел наконец по широким каменным ступеням и оказался в просторном покое, чьи высокие своды и стены были расписаны святыми образами; там узрел я княжну. Она была высока ростом и величественно прекрасна; монашеское облачение еще более возвышало ее, доводя почтение перед ней до трепета. Она взгляделась в меня с важным проницательным вниманием и спросила:

— Это ваш сын?

Голос ее, сама ее внешность — ив особенности, все то невиданное, что окружало меня, высокие своды, образа, — все это так потрясло меня, что я в каком-то испуге не мог удержаться от слез. Тогда княжна как будто смягчилась, взор ее потеплел, и она произнесла:

— Что с тобою, малютка? Не я ли тебя напугала? Как зовут вашего сына, любезная?

— Франц, — ответила моя мать.

Тогда княжна вскричала, как бы пронзенная душевной мукой: «Францискус!» Она оторвала меня от пола, чтобы страстно заключить в объятия, но в тот же миг внезапная сильная боль где-то в области шеи исторгла из моих уст громкий крик, так что княжна, ужаснувшись, разжала объятия, и моя мать, совсем уничтоженная моей оплошностью, подхватив меня, не знала, как унести вместе со мною ноги. Однако княжна не отпустила нас.

Оказалось, что, когда княжна прижала меня к себе, ее алмазный наперсный крест прямо-таки впился мне в шею, и ссадина покраснела и налилась кровью.

— Бедный Франц, — молвила княжна, — вижу, как тебе больно, но ведь мы с тобой помиримся, правда?

Келейница принесла сахарного печенья и сладкого вина. Робость моя прошла, и не понадобилось долгих упрасиваний для того, чтобы я храбро отдал должное сладостям, которые красавица княжна, усадив меня к себе на колени, сама клала мне в рот. Достаточно было нескольких капель сладкого напитка, неведомого мне до той поры, чтобы я воспрянул духом и оживился, как то было мне свойственно, по рассказам матери, с младенчества. Я немало позабавил своим смехом и болтовней настоятельницу и келейницу, задержавшуюся в комнате. Поныне диву даюсь, как это угораздило мою мать подвигнуть меня на рассказы о красоте моих родных мест, но я, как будто мне подсказывала высшая сила, умудрился поведать княжне о прекрасной живописи захожего безвестного мастера с такой достоверностью, словно глубочайший дух ее открылся мне. При этом я обнаружил такое проникновение в житейные тонкости возвышенного священного предания, как будто все церковные книги не только знакомы мне, но и досконально мною изучены. Не одна княжна, мать моя сама не сводила с меня изумленных очей, а я, захваченный своими речами, заносился все выше, пока наконец княжна не прервала меня вопросом: «Признайся, мой дорогой, кто тебя всему этому научил?» — и я, ничтоже сумняшеся, признался, что ненаглядный чудный младенец, явленный мне странным паломником, растолковал мне церковные образа, повторив некоторые из них сочетаниями цветных камешков, и не только выявил их смысл, но и пересказал мне многие жития святых.

Послышался звон, возвещающий вечерню. Келейница насыпала сахарного печенья в кулек и вручила его мне, к моему вящему удовольствию. Настоятельница, вставая, обратилась к моей матери с такими словами:

— Я намерена впредь опекать вашего сына, любезная, и надеюсь обеспечить его будущность.

Моя мать была так растрогана, что не могла говорить, она только с горячими слезами целовала руки княжны. Уже в дверях княжна задержала нас, снова приподняла меня, не забыв на этот раз отстранить крест, и чуть не задушила меня в объятьях, плача навзрыд, обжигая мне лоб слезами, воскликнув:

— Францискус! Останься и впредь таким же верующим, таким же хорошим!.. — В глубоком умилении я сам не мог удержаться от слез, не понимая, отчего, собственно, я плачу.

От щедрот настоятельницы вскоре наладилось наше незатейливое житье-бытье, которое мы влачили на маленьком хуторе по соседству с монастырем. Мы больше не нуждались, я приоделся и мог воспользоваться уроками священника, подпевая ему на клиросе, когда он служил в монастырской церкви.

Отрадной грезой облакает меня воспоминание о той ранней счастливой поре! Ах, как недостижим прекрасный край, где обитают беспечность и безоблачная резвость простодушного детства, остается моя родина далеко-далеко позади меня, и между нею и мною навеки разверзлась пропасть, устрашающая взгляд. В пурпурном освещенье раннего утра я все яснее различаю дорогие мне лица, я сгораю, воспламенен разлукой, и уже как будто до меня доносятся их сладкозвучные голоса. Ах! — что это за пропасть, если сама любовь не в силах превозмочь ее в своем неустойчивом полете? Разве существуют время и пространство для любви! Не витает ли она в помыслах, а где мера помысла? Однако темные тени возникают и сгущаются, тесня меня беспросветным своим натиском, и желанная даль исчезает из виду, а насущное подавляет мои порывы будничными мытарствами, и даже неизреченный пыл, самым своим страданьем скрашивающий разлуку, превращается в безнадежную убийственную пытку.

Священник был добрее доброго; к тому же он знал, как совладать с моей непоседливой мыслью, знал, как приноровить свою науку к моей натуре, чтобы я торжествовал, одерживая

победу за победой.

Дороже всех на свете мне была моя мать, в княжне же я видел святую, и дни, когда мне разрешалось узреть ее, я причислял к праздникам. Я всегда намеревался толком показать ей, какой стал я теперь ученый, но стоило ей выйти и дружелюбно меня приветить, как от моего красноречия оставалось разве что с трудом выговариваемое слово, лишь бы взирать на нее, лишь бы внимать ей. Зато все, что она говорила, внедрялось в мою душу, и потом целыми днями я втайне ликовал, преображенный, и все воображал ее себе, посещая одни и те же заветные уголки. Как назвать мне то чувство, которое пульсировало во мне, когда, стоя у высокого алтаря, я ритмично раскачивал кадило, а с хоров обрушивались органные лады и, нарастая кипучим каскадом, захватывали меня, так что в божественном гимне я улавливал ее голос, нисходящий ко мне пламенеющим лучом, и все мое существо преисполнялось чаяньем Высшего — Святейшего.

Но не было для меня дня торжественнее, чем день, который предвкушал я и которому потом радовался неделями, день, о котором я никогда не мог помыслить без душевного подъема; этим днем был праздник святого Бернарда, а так как орден цистерцианцев посвящен именно ему, в монастыре в этот день многим отпускались грехи, и такое отпущение было поистине праздничным. Уже за день до праздника множество соседней-горожан, чуть ли не вся округа, собирались у монастырской ограды, заполняя просторный луг, усеянный цветами, где веселая суতোлка не прекращалась ни днем ни ночью. Не припоминаю, чтобы ненастье хоть раз омрачило праздник, совпадающий с благоприятным временем года (день святого Бернарда приходится на август). На свете не бывало зрелища красочнее. Там с пеньем гимнов шествуют богомольные пилигримы, а здесь молодые крестьяне весело льнут к расфранченным девицам; духовные лица молитвенно складывают руки, в благочестивом созерцании наблюдают пролетающие облака; горожане целыми семьями благодушествуют на траве, опустошают тяжелые корзины со съестными припасами и лакомятся вволю. Залихватские рулады, душеспасительные хоралы, пламенные воздыхания кающихся, хохот беззаботности, причитания, прибаутки, возгласы, восклицания, молитвословия разносятся на ветру чудесным, опьяняющим созвучием.

Но как только ударит монастырский колокол, шума как не бывало; куда ни помотришь, всюду сплоченные сонмы коленопреклоненных, и в непререкаемой тишине слышится лишь невнятный говор молящихся. Но не успеет колокол отзвучать, и вот уже снова бушует красочный поток, и снова раздастся гомон веселья, умолкнувшего лишь на минуту.

Сам епископ, имевший кафедру в соседнем городе, в день святого Бернарда посещал монастырскую церковь, дабы совместно с низшим духовенством отслужить торжественную мессу, а епископская капелла, разместившись поодаль от алтаря на особом помосте, увешанном драгоценными гобеленами, услаждала слух песнопениями.

И сегодня дают себя знать чувства, сотрясавшие тогда мою грудь; они не только не умерли, оказывается, они даже не поблекли и расцветают, когда моя душа оборачивается к прежнему блаженству, столь быстролетному. В ушах моих явственно звучит Gloria, исполнявшаяся тогда многократно, ибо эту композицию предпочитала княжна. Едва Gloria воспевалась епископским голосом, вскипали сильные лады хора: «Gloria in exelsis deo!»¹ — не являлась ли заоблачная Gloria над высоким алтарем? — да, не воспламенялись ли к жизни чудотворные, богописные Херувимы и Серафимы, напрягая взмахами свои крепкие крыла, славословя Бога голосами и неопишущим бряцанием струн?

Всего меня облекало вдохновенное наитие молитвенного экстаза, возвращающее сквозь пламень облаков туда, в даль, откуда я происхожу, и в ароматическом лесу звучали нежные ангельские голоса, и чудо-младенец встречал меня, покидая лилейную поросль, чтобы спросить с улыбкой: «Где ты блуждал так долго, Францискус? А я тут набрал много цветов;

¹ «Слава в вышних Богу!» (лат.).

посмотри, как они хороши, у каждого из них свои краски; и все эти цветы я подарю тебе, если ты больше никогда не покинешь меня и не разлюбишь».

После торжественной мессы монахини праздничной процессией обходили галереи монастыря и церковь; их возглавляла настоятельница в митре и с серебряным пастырским посохом. Взор дивной жены так и светился святостью, благородством, небесным сиянием, что сказывалось и в ее осанке и в поступи. То была сама торжествующая Церковь, не отказывающая благочестивому верующему народу в своем благодатном покрове и в благословении. Когда взор ее невольно нисходил на меня, я бы с восторгом поник перед нею во прах.

После богослужения духовенство и епископская капелла приглашались под широкие обительские своды на трапезу. Некоторые лица, особо приближенные к монастырю, среди них представители городских властей и торговых кругов, также присутствовали за столом, а поскольку я снискал благоволение епископского регента, не брезговавшего моей особой, то среди приглашенных бывал и я. И если сперва все мое существо пламенело праведным богопочитанием, всецело приверженное горнему, то потом охватывало меня житейское веселье, осаждаемая своими пестрыми сценами. Всякие забавные истории, байки, побасенки сыпались как из рога изобилия, вызывая раскатистый хохот гостей, пока не наступал вечер и гости не отправлялись восвояси на экипажах.

Меня, шестнадцатилетнего, священник признал достойным приступить к теологическим занятиям в семинарии соседнего города, ибо я без всяких колебаний избрал для себя стезю духовного лица, что особенно пришлось по душе моей матери, так как у нее на глазах подтверждались и сбывались таинознаменательные прорицания Паломника, в известном смысле перекликавшиеся с необычным обетованием, которого сподобился мой отец, хотя сам я об этом тогда еще не слыхивал. Мать моя полагала, что мое священничество успокоит душу моего отца, избавив ее от вечного проклятия. Княжна беседовала теперь со мною не в своей келье, а в особом покое, предназначенном для мирских посетителей, но и она укрепляла меня в моих помыслах, высоко их оценивая и заверяя, что будет снабжать меня всеми необходимыми средствами, пока я не удостоюсь духовного звания. Хотя до города было рукой подать, так что монахи могли видеть его башни из своих келий, а иные досужие горожане предпочитали пешие прогулки вокруг да около монастыря, где местность отличалась хорошими, привлекательными видами, тем не менее разлука с моей милой матерью, с благородной госпожой, моей обожаемой благодетельницей, да и с моим добрым учителем очень меня огорчила. Кто станет спорить, что каждая пядь, отрывающая нас от наших присных, уподобляется величайшему отдалению, заставляя страдать!

В княжне чувствовалось некое странное движение души, и печаль выдавала себя дрожью голоса, на прощание увещающего меня благословением. Я получил от нее элегантные четки и крохотный молитвенник с блистательными иллюстрациями. Кроме того, она снабдила меня рекомендательным письмом к приору монастыря капуцинов; его мне надлежало, по ее словам, посетить незамедлительно и видеть отныне в нем своего наставника и покровителя.

Право же, нелегко мне назвать местоположение более привлекательное, нежели то, которое занимал подгородный монастырь капуцинов. Казалось, нет ничего краше этого восхитительного сада, откуда виднелись горы, а его протяженные аллеи, ведя от одного пышного насаждения к другому, открывали на каждом шагу новые совершенства и утехи.

Где, как не в этом саду, предстал мне приор Леонардус, когда я впервые посетил монастырь, дабы вручить ему рекомендательное письмо настоятельницы!

Благожелательный по натуре, приор обласкал меня от души, прочитав письмо, и расточил столько похвал благородной госпоже, которую знал еще в прошедшие годы в Риме, что я просто не мог устоять перед ним.

Личность приора была, естественно, средоточием всей братии, так что не требовалось особой проницательности для того, чтобы сразу постигнуть его совершенное единение с монахами в устройстве и протекании обительской жизни: душевный мир и ясность духа,

явственно сказывающиеся в самом его внешнем облике, распространялись на всю обитель. Начисто отсутствовали следы той мрачности, того отталкивающего, обособляющего, внутреннего сокрушения, которыми так часто отличаются иноческие черты. Упражнения в благочестии определялись для приора Леонардуса не столько суровостью орденских правил, сколько духовным алканием Царствия Небесного, что преображало тягостную аскезу, призванную искупить первородный грех человечества, и он так искусно возжигал в братии этот осмысленный молитвенный пыл, что на все канонически заповеданное изливались благостность и задушевность, поистине выводящие за пределы земного узилища.

Даже известное сближение с миром допускал приор Леонардус, и никто не мог отрицать, что при соблюдении подобающей меры оно не только не вредно, но, напротив, скорее целительно для монахов. Обильные пожертвования, преподносимые прославленной обители отовсюду, поощряли гостеприимство, допускающее иногда к монастырской трапезе мирских доброжелателей и благодетелей. Тогда посреди трапезной бывал накрыт длинный стол; его возглавлял приор Леонардус, а гости занимали другие почетные места. Братии же, как обычно, предоставлялся узкий стол у стены, и приборы на этом столе отличались монашеской простотой, тогда как гостям кушанья предлагались на чистейшем, отборнейшем фарфоре и стекле. Монастырский келарь как никто другой мастерски ублажал приглашенных, избегая при этом скоромного. О вине заботились сами гости, так что монастырские трапезы действительно способствовали непринужденному задушевному общению духовенства с мирянами, и нельзя сказать, что жизнь тех и других не выигрывала от подобного взаимодействия. Ибо заложники мирской суеты, освобождаясь от нее хотя бы на время и вступая за монастырскую ограду, где жизнь духовенства откровенно перечит их обиходу, не могли не признать под влиянием той или иной искры, западающей в душу, что их путь к благополучию и покою не единственный, и дух, возносящийся над земным прозябанием, быть может, уже здесь открывает человеку стезю, иначе недостижимую. При этом и монахи не прогадывали; пестрый мир со всем своим кишением и мельтешением из-за монастырской стены подавал им вести, не лишние для их житейской рассудительности и благоразумия, не говоря уже о соображениях и выводах, на которые ничто другое не натолкнуло бы их. Не переоценивая земного сверх его природы, они не могли отказать человеческому образу жизни в необходимых различиях, идущих изнутри, чтобы луч духовного начала не утратил своих преломлений, без которых не останется ни красок, ни сияния.

Приор Леонардус давно и несомненно превосходил окружающих своими духовными и научными познаниями. Помимо того, что в нем видели изощренного теолога, чувствовавшего себя как дома в сложнейших материях и частенько приходившего на помощь профессорам семинарии, которые не считали для себя зазорным прибегнуть к его опыту и осведомленности, он обнаруживал светский лоск, вряд ли свойственный монастырскому затворнику. Его французская и итальянская речь отличалась изысканной беглостью, а его умудренная гибкость позволяла в прошлом употреблять его для ответственных переговоров. Я узнал его, когда он уже дожил до глубокой старости, но, вопреки сединам, свидетельству лет, в очах его еще вспыхивал юношеский пламень, а на устах его играла безмятежная улыбка, от которой усиливалось общее впечатление внутренней гармонии и невозмутимого лада. Он не только красиво говорил, но и красиво двигался, и даже монашеская ряса, далекая от элегантности, не только не портила его, но, напротив, удивительно подчеркивала его стройное телосложение. Я не встречал в монастыре ни одного монаха, который сам не выбрал бы своей участи, повинувшись властному внутреннему позыву и, более того, неодолимому духовному влечению, однако даже страдальца, ищущего в монастыре лишь спасительную гавань под угрозой уничтожения, Леонардус незамедлительно обратил бы к покаянию, и он вскоре успокоился бы, примирился бы с жизнью и, пребывая в земном, преодолел бы его тяготы. Такая направленность шла вразрез с традициями монашеского житья, и Леонардус набрался подобного духу в Италии, где обрядность да и вообще весь опыт религиозной жизни светлее и отраднее, чем в

католической Германии. Как в церковном зодчестве сохранилось античное наследие, так луч отрадной живительной древности, кажется, проникает в сумрачное лоно христианских таинств и разливается там чудесным светом, в котором, бывало, купались боги и герои.

Я пришелся Леонардусу по сердцу, он преподавал мне итальянский и французский языки, но особенным образом влияли на мой дух многочисленные книги, которыми он ссужал меня, а также его речи. Как только семинарская наука предоставляла мне краткий досуг, я отправлялся в монастырь капуцинов, и во мне упорно усиливалось неуклонное стремление к постригу. Я признался приору в моем побуждении, но тот, не разубеждая меня, предложил все же повременить хоть бы год-другой и, так сказать, освоиться в миру. Но, хотя у меня не было недостатка в знакомствах — ими я, в основном, был обязан моему учителю музыки, епископскому регенту, — всякое общество меня расстраивало и стесняло, особенно когда присутствовали женщины, и, наверное, это обстоятельство в сочетании с предрасположением к созерцательной жизни заставило меня решительно предпочесть монастырь.

Как-то приор заговорил со мной о мирской жизни, и его слова оказались особенно значительными для меня; он углубился в предметы, слышущие скользкими, но обычная грация и непринужденность оборотов не изменили ему, так что, ничуть не нарушая приличий, он метко и без обиняков попадал в цель. Наконец он взял меня за руку, пронизательно посмотрел мне в глаза и осведомился, девственник ли я.

Я почувствовал, что кровь бросилась мне в лицо, когда Леонардус недвусмысленно спросил меня о том, что по природе своей двусмысленно, и передо мной выпрыгнула как живая в своей красочности картина, совсем уже было покинувшая меня.

Я вспомнил сестру регента; звание красавицы вряд ли пошло бы ей, но она была прелестна в расцвете своего девичества. Ее стан очаровывал стройностью и безупречной чистотой линий. Вряд ли можно было представить себе руки, грудь и плечи совершеннее, а кожу нежнее.

В одно прекрасное утро, когда я спешил к регенту, чтобы не пропустить урока, мне попала на глаза его сестра в несколько вольном утреннем неглиже: грудь ее успела блеснуть мне почти без покрова, хотя тут же притаилась под платком, накинутым второпях, однако мой нескромный взор схватил предостаточно, слова застряли у меня в горле, во мне всколыхнулась буря неизведанных чувств, неудержимая кровь воспламенилась в артериях, и пульсацию нельзя было не слышать. Сведенная судорогой грудь не выдержала бы внутреннего давления, если бы оно не разрешилось тихим вздохом. Между тем девица, как ни в чем не бывало, приблизилась ко мне, коснулась моей руки, и вопрос ее: «Что с вами?» — навлек на меня еще худшие страдания, от которых, к счастью, избавил меня приход регента.

Никогда еще не брал я таких неверных аккордов, никогда еще не допускал в пении таких срывов. Моя набожность заставила меня счесть весь этот случай дьявольским искушением, и я вскоре торжествовал, когда моя суровая аскеза обратила в бегство лукавого противника. Теперь же пронизательность приора вновь накликала сестрицу регента, и передо мной возникли ее соблазнительные прелести; меня жгло ее горячее дыхание, сводило с ума ее прикосновение; проходил миг за мигом, а мой подавленный страх неумолимо усиливался.

Ироническая улыбка Леонардуса повергла меня в трепет. Взгляд его был для меня невыносим, я устался в пол, у меня горели щеки, а приор умерил их жар, ласково потрепав по ним.

— По вас видно, сын мой, вы уловили смысл моих слов, и вы пока еще целомудренны; да отвратит от вас Господь прельщение мира сего; недолго длятся его утехи, да и позволительно предостеречь от проклятия, которое в них заключено, ибо кончаются они неопишуемой гадливостью, неизлечимым бессилием и маразмом, то есть гибелью лучшего, духовного, истинно человеческого.

Я предпочел бы не вспоминать пастырского вопроса и назойливого образа, вызванного

этим вопросом, но произошло непоправимое: если я почти перестал конфузиться в обществе той девицы, то теперь я больше прежнего боялся взглянуть на нее, и стоило мне подумать о ней, как на меня нападала лихорадка и некое внутреннее смятение, в котором я угадывал тем большую угрозу, ибо в нем таилось и неведомое, чудное вожделение, граничащее со сладострастием, а тут уж и до греха недалеко. Однако достаточно было одного вечера, чтобы разрешилось мое двусмысленное колебание.

Регент имел обыкновение приглашать меня на музыкальные вечера, собирая у себя кое-какое общество. В тот вечер присутствовала, разумеется, его сестра, а с нею и другие особы женского пола, и я совсем не знал, куда девать себя, так как у меня дух захватывало и от нее одной. Ее туалет был ей очень к лицу, и я словно впервые увидел, как она хороша; казалось, незримые, неизбежные узы связывали меня с нею, и я, повинувшись безотчетному стремлению, никак не мог избежать ее близости, старался не пропустить ни одного ее взгляда, ни одного ее слова, прямо-таки льнул к ней и, когда ее платье невзначай задевало меня, млел от затаенного и такого нового упоения. Это не ускользнуло от ее внимания и, казалось, доставило ей удовольствие, а я боялся потерять голову, уступить страстному неистовству и заключить ее в мои ненасытные объятия!

Она засиделась у клавикордов, а когда встала, на стуле осталась одна из ее перчаток. Я так и набросился на эту перчатку и, не помня себя, припал к ней губами. Это происходило на глазах у одной из молодых особ, и она не преминула присоединиться к сестре регента; девицы начали перешептываться, потом последовали взгляды обеих в мою сторону, далее послышались смешки и, наконец, смех, едва ли лестный для меня. Я был готов сквозь землю провалиться, ледяной ток пронизал меня до глубины моего существа. Не помню, как я прибежал в семинарию — в мою келью. Мной овладело бешенство отчаянья; лежа на полу, я захлебывался жгучими слезами; я клял — я проклинал девушку, себя самого, и мои молитвы перемежались с безумным смехом. Отовсюду звучали вокруг меня голоса; надо мной издевались, меня поносили; я уже готов был выброститься из окна; к счастью, мне помешали железные прутья, и в самом деле я не переживал дотоле ничего ужаснее. Однако утро забрезжило, и спокойствие мало-помалу вернулось ко мне; я больше не колебался в моем решении никогда не видеть ее и отвергнуть все мирское. В моей душе окончательно возобладала склонность к монастырскому затворничеству, и уже никакое искушение не могло совратить меня.

Как только мне позволили урочные занятия, я поспешил в монастырь капуцинов и открылся приору в своей готовности поступить в монастырь послушником, добавив, что мать и княжна уже поставлены мною в известность о моем твердом и нерушимом решении. Леонардуса как будто насторожил мой внезапный пыл; не посягая на сокровенное в моей душе, он так и эдак пробовал исследовать, почему я вдруг так возжаждал иночества, ибо он, разумеется, подозревал: мною движет нечто чрезвычайное. Тайный стыд оказался сильнее меня; у меня не хватило духу признаться, что произошло в действительности; зато я дал волю пламенной экзальтации, обуревавшей меня, и не поспешил на подробности, связанные с чудесными происшествиями моих детских лет; они ли не обязывали меня принять монашество!

Моя экзальтация не передалась Леонардусу; не высказывая прямо скептицизма по поводу моих видений, он как будто не придавал им особенного значения, более того, подчеркнул, что моя горячность не только не свидетельствует в пользу моего призвания, а, напротив, весьма смахивает на иллюзию. Леонардус вообще предпочитал не распространяться о видениях святителей и даже об апостольском чудотворстве, и бывали мгновения, когда я, грешный, подумывал, не тайный ли он скептик. Мне так хотелось услышать от него что-нибудь определенное на эту тему, что однажды я отважился затронуть вопрос о злопыхателях, посягающих на католическую веру: особенно напал на тех, чье высокомерное мальчишество мнит, что отделяется от сверхчувственного бездарным ругательством «суеверие». Леонардус мягко усмехнулся: «Сын мой, злейшее суеверие есть безверие», — и перешел на предметы посторонние и безразличные. Лишь впоследствии дано

мне было углубиться в его превосходное осмысление мистического, представленного нашей религией, постигнуть, что такое таинственное сочетание нашей духовности с Высшей Божественностью, и тогда я не мог не признать, что Леонардус верно распоряжался драгоценнейшими дарами своего существа, приберегая их лишь для учеников, сподобившихся высшего.

Из письма моей матери явствовало, что она всегда предполагала: белому священству я предпочту монашество. В день святого Медардуса явился ей старый Паломник от Святой Липы, он вел за руку капуцина в орденском облачении, и она узнала меня. Княжне тоже пришлось по душе мое решение. Я имел возможность свидеться с ними обеими перед тем, как произнес монашеский обет, а это не замедлило произойти, ибо мое послушничество было непродолжительным; его срок сократило вдвое мое неподдельное стремление поскорее назваться иноком. Я принял иноческое имя Медардус, подсказанное видением моей матери.

Единение братьев между собой, череда богослужений и весь внутренний распорядок монастырского общежития — все это оказалось таким, как я представил себе с первого взгляда. Задушевная тихость, чувствуемая здесь во всем, пролила и в мою душу ту небесную безмятежность, которая блаженной грезой оведала мое младенчество в монастыре Святой Липы. Когда меня торжественно постригали, среди присутствующих я заметил сестру регента; взгляд у нее был грустный, и чуть ли не слезинки поблескивали на глазах, однако соблазн рассеялся, и не дурная ли гордыня, детище пустынного торжества, свела мои уста усмешкой, которая насторожила брата Кирилла, сопутствовавшего мне.

— Что это так развеселило тебя, брат мой? — осведомился Кирилл.

— А разве не весело отбросить мирские мерзости со всей их мишурой, — ответил я, но нельзя отрицать: мой обман не остался безнаказанным; что-то страшное сразу же дало себя знать содроганием.

Но то был последний спазм духовного самомнения, сменившийся вышеописанной душевной тихостью! Когда бы она вечно осеняла меня, но власть Супостата помыкает человеком. Стоит ли вооружаться, стоит ли бодрствовать, если ад все равно настоит и не упустит своего?

Минул пятый год моего монашества, когда приор назначил меня хранителем богатого монастырского мощехранилища, так как брат Кирилл, мой предшественник, заметно одряхлел, ослаб, и отныне его обязанности должен был исполнять я. Среди других реликвий имелись кости Божьих угодников, и щепки от креста Господня, и другие священные предметы, бережно размещенные в чистеньких стеклянных шкапиках, дабы в известные дни народ созерцал их, укрепляясь в богопочитании. Брат Кирилл показывал мне их все по порядку и давал прочесть особые грамоты, заверяющие их подлинность и чудотворные качества. В духовном отношении брат Кирилл лишь немного уступал нашему приору, и я позволил себе высказать недоверие, признаться, одолевавшее меня.

— Полагаешь ли ты, любезный брат Кирилл, — молвил я, — будто все эти предметы воистину обладают всеми качествами, которые им приписывают? Не подсовывает ли коварное своекорыстие первую попавшуюся заваль вместо святых мощей? Есть, к примеру, монастырь, где целиком хранится крест нашего Спасителя, а где только не показывают щепки от него, право же, этих щепок мы и за год не сожгли бы в монастырских печах, как пошутил один из наших, как ни грешно так шутить.

— Что и говорить, — ответил брат Кирилл, — сии предметы не подлежат испытующему исследованию, и, положив руку на сердце, вопреки красноречивейшим удостоверениям, я весьма сомневаюсь в том, что среди наших реликвий преобладают подлинны. Но сдастся мне, от этого мало что меняется. Прими к сведению, любезный брат Медардус, что мы с нашим приором об этом думаем, и наша вера по-новому воссияет тебе. Или, любезный брат Медардус, не превосходно само по себе устремление нашей Церкви выявить присутствие сверхчувственного в чувственном и таинственные узы, сочетающие их, дабы таким путем возбuditельно напомнить нашему организму, укоренившемуся в земном, о его происхождении из горнего духовного лона и о его причастности к Чудо-Сущности,

пронизывающей огненным дуновением своих энергий все естество в ясном откровении и овевающей крылами серафимов чаянье высшей жизни, чей росток прозябает в нас? Что такое эта лучина, косточка, ветوشка? Считается, что она отколота от Христова креста, извлечена из тела, оторвана от ризы святого угодника; а кто, не впадая в рассудочность, просто верует и притекает к ним всем своим бесхитростным чувством, того осеняет нездешнее вдохновение, благовестив небесного блаженства, лишь предвкушаемого в земной юдоли, и пускай реликвия поддельная, тем действеннее духовное влияние святого в ответ на движение сердца, ею возбужденное, и человеку дарует силу и исцеление через веру. Высший дух, которого человек из глубины души молил об утешении и вспомоществовании. Так высшая духовная сила, возбуждаясь в человеке, преодолевает даже плотские немощи, отсюда и мощное чудотворство, исходящее от этих мощей и засвидетельствованное при большом стечении народа, что во всяком случае достоверно.

Мне тут же вспомнилось, что сам приор высказывался в том же духе, и если до сих пор я видел в реликвиях лишь игрушки религиозности, то теперь они склоняли меня к подлинному благоговению и трепетному почитанию. Брат Кирилл очень хорошо заметил, как воздействуют на меня его речи, и продолжал истолковывать предмет за предметом с вящим пылом и одушевлением, трогательным для внимающего. Наконец он извлек из крепко-накрепко запертой скрыни небольшой поставец и молвил:

— Содержимое этого поставца, любезный брат Медардус, — бесспорно, таинственнейшая и диковиннейшая из всех наших реликвий. С тех пор, как я живу в монастыре, никто не брал его в руки, кроме приора и меня; сами наши братья, не говоря уже о мирянах, не ведают о том, что имеется такая реликвия. Признаться, мне самому боязно коснуться этого поставца, в нем как бы заточен злой дух, и доведись ему взорвать заточение, связывающее и обессиливающее его, он будет грозить уроном и безнадежной гибелью каждому, на кого нападет он. Знай, в поставце зараза, исшедшая от самого Лукавого в старину, когда он еще отваживался, не таясь, посягать на человеческую душу.

Наверное, во взгляде моем брат Кирилл прочитал высшую степень удивления и, не дожидаясь моих вопросов или возражений, он продолжал:

— По-моему, любезный брат Медардус, неуместны любые личные суждения там, где наличествует несомненная мистика; воздержусь я и от гипотез, и от всяких... теорий, иногда смущающих мой ум, а предпочту как достовернее изложить тебе то, как характеризуют эту реликвию имеющиеся документы. Их ты отыщешь сам в этой скрыне и сам изучишь их. Уверен, что ты досконально изучил житие святого Антония, и нет нужды рассказывать, как он, отвращаясь от земного и обращая всею душою к Божеству, избрал для себя пустынножительство и посвятил свою жизнь беспощаднейшему покаянию и упражнениям в молитвословии. Лукавый не отступался от него, то и дело зримо преграждая ему путь, дабы развлечь его в созерцании Божественного. Вот и случилось однажды святому Антонию воспринять в вечерних сумерках что-то темное; надвигалось оно на него. Приглядевшись к приближающемуся, пустынножитель диву дался: непрошенный гость был закутан в драную хламиду, а из дырьев срамно вылупливались горлышки бутылок. Это был не кто иной, как сам лукавый, который, этак вырядившись, издевательски осклабился и спросил, не угодно ли глотнуть эликсиров из принесенных бутылочек. Святой Антоний не удостоил гнева такую выходку, так как лукавый, подавленный и обессиленный, больше не осмеливался ввязаться в противоборство и поверженному ничего другого не оставалось, кроме ядовитых поношений, потому и спросил святой супостата свысока, чего ради приволок он столько бутылок, ведь это же тяжело и неудобно. На это дьявол ответил: «Представь себе, вот мне навстречу попадается человек, он удивляется, как ты, и не может удержаться от вопроса, какое там зелье в бутылках, а сам, глядишь, разлакомится и отхлебнет. У меня эликсиров хватает, а рано или поздно он найдет себе пойло по вкусу, осушит бутылку до дна, захмелеет, и вот уже он мой, он подданный моего царства». Таковы предания, но есть у нас и особый документ, посвященный сему видению святого Антония, а в этом документе повествуется, что история имела продолжение: лукавый удалился, но как

бы забыл среди сорного былья несколько бутылок, а святой Антоний поскорее унес их в свою пещеру, где и скрыл их из опасения, как бы в самой пустыне некто заблудший, а то и, чего доброго, его собственный ученик не глотнул ужасного питья, ввергая тем самым свою душу навеки в преисподнюю. И вот однажды, согласно дальнейшему изложению, сам святой Антоний не избежал оплошности, откупорив одну из бутылок, и оттуда вырвались пары позабористее самого хмеля, а вместе с ними святого окутали мерзкие адские мороки, пытаясь очаровать его прельстительными ужимками, и ему пришлось долго давать им отпор неукоснительным постничеством и молитвенными бдениями. В этом поставце находится одна такая бутылка, так сказать, завещанная святым Антонием, а в бутылке дьявольский эликсир, и едва ли допустимо усомниться в том, что после смерти святого Антония она оказалась среди других его вещей; документы на этот счет достаточно обстоятельны и вполне достоверны. Уж ты поверь мне, любезный брат Медардус, как только я притрагиваюсь не то что к бутылке, а лишь к поставцу, меня берет некая устрашающая оторопь, и мнится мне, слышу я неопикуемый запах, в котором одурь и умопомрачение; его не рассеешь даже благочестивыми ухищрениями, напротив, оно рассеивает обоняющего. Это пагубное наваждение явно проистекает от мощного душевредного источника, даже если не верить в непосредственное вмешательство лукавого, однако упорная молитва целительна и тогда.

Тебе же, дражайший брат Медардус, при твоей юности, способной в живых ярких красках созерцать все, чем тебя прельщает Фантазия, раздражаемая супротивной силой, тебе, отважному, но неискушенному ратоборцу, смелому в битве, но слишком дерзкому, замахивающемуся на невозможное, слишком полагающемуся на свою мощь, тебе мое увещание: никогда не открывай поставец или хотя бы не открывай его, пока ты молод, и, дабы любопытство не ввело тебя во искушение, постарайся, чтобы он не попался тебе на глаза.

Брат Кирилл запер скриню с таинственным поставцом, и я стал обладателем ключей, причем ключ от скрини тоже висел в моей связке. Вся эта история произвела на меня впечатление необычного; меня так и подмывало взглянуть на реликвию, но чем больше разрасталось во мне преступное любопытство, тем упорнее силился я воспрепятствовать его удовлетворению, ибо наказ брата Кирилла не пропал даром. Едва Кирилл простился со мной, я еще раз взглянул на священные предметы, вверенные моему попечению, потом отвязал совращающий ключик и скрыл его среди рукописей на моем пюпитре.

Среди профессоров семинарии один был особенно красноречив; церковь не вмещала народа, когда он проповедовал, его слово захватывало огненным током, и невозможно было не поддаться его зажигательному благочестию. Я сам всем сердцем заслушивался его великолепных, вдохновенных речей, но, пока я восхищался высокоодаренным проповедником, во мне самом шевелилась некая внутренняя сила, мощно побуждающая меня к соперничеству с ним. Я внимал ему, а потом сам проповедовал в моей уединенной клетушке, весь во власти вдохновительного мгновения, пока не пришло умение схватывать собственные идеи, собственные слова и записывать их.

Между тем проповедник из нашей монастырской братии слабел и опускался на глазах; его речь влачилась вяло, как пересыхающая речка, утрачивая звучность; когда он пытался говорить, а не читать вслух, язык без подсказки Мысли и Слова вырождался в невыносимое многословие, а перед заключительным «аминь» большинство слушателей засыпало, как при стуке мельничных колес, и разбудить их мог лишь рокот органа. Приор Леонардус был выдающимся проповедником, однако проповедовать остерегался, полагая, что проповеднический пыл противопоказан ему в его возрасте, так что заместителя для немощного брата в монастыре не предвиделось. Леонардус уже обсуждал со мною ущерб, наносимый монастырю таким обстоятельством: из церкви начинался отток христороубцев. Тогда я набрался решимости и признался ему, что уже в семинарии ощутил в себе внутреннее призвание к проповедничеству и даже записал кое-какие мои упражнения в духовном красноречии. Приор пожелал ознакомиться с ними, и они удовлетворили его

настолько, что он прямо-таки заставил меня ознаменовать пробной проповедью день ближайшего же святого, уверяя, что провал мне не угрожает, ибо я обладаю от природы качествами проповедника: внушительным обликом, выразительными чертами и хорошо поставленным голосом, неистощимым в модуляциях. Сам Леонардус дал себе труд выработать у меня должную осанку и сообразную жестикуляцию. День святого настал; церковь, как обычно, не пустовала, и я поднялся на кафедру с тайным замиранием сердца.

Сначала я побаивался отступить от рукописи и потом слышал от Леонардуса, что голос мой тремолоировал, что, впрочем, лишь оттеняло благочестиво печальные медитации в начале проповеди, и многие слушатели оценили дрожь моего голоса как присущее истинному мастеру искусство трогать сердца. Однако вскоре как бы молния небесного вдохновения осияла мое внутреннее существо, и я оторвался от рукописи, весь повинувшись внушению минуты. Я чувствовал в моих жилах пульсацию крови, горение и озарение; я слышал под сводами гром собственного голоса; я видел свою вознесенную главу, раскинутые, как в полете, руки, я видел всего себя в молниеносном блеске вдохновения. Огненной точкой сентенции, подытоживающей все восхищающе душеспасительное, что я благовествовал, завершилась моя проповедь, и она произвела из ряду вон выходящее, неслыханное впечатление. Проповедь вызвала слезы экстаза — неудержимые восклицания упоенной набожности — громогласный хор молитвословий. Братия была готова носить меня на руках. Заклячая меня в объятия, сам Леонардус признал, что монастырь может мною гордиться.

Молва обо мне не заставила себя ждать; городское общество, кичившееся изысканностью и образованностью, теснилось в монастырской церкви, и там негде было яблоку упасть примерно за час до того, как звонили к проповеди. Чем больше мной восхищались, тем больше усердствовал я, заботясь о том, чтобы мои проповеди при всем своем пыле блистали отточенной элегантностью. Я все более искусно очаровывал моих почитателей, и обожание, неумеренно проявлявшееся всюду, где бы я ни останавливался или ни проходил, напоминало уже обожествление. Город словно страдал религиозным помешательством; все рвались в монастырь, не чураясь никаких поводов, даже в будние дни, с единственной целью: лицезреть брата Медардуса и говорить с ним.

Тогда во мне и проклюнулась мысль о моем особом предназначении свыше; многое свидетельствовало об этом: и самая таинственность моего рождения в святом месте, и знаменательное предначертание, согласно которому мне предстояло искупить отчий грех, и чудесные залого, полученные мною во младенчестве, — все это заверяло меня в том, что мой дух, причастный горнему, уже теперь превыше всего земного, и я чужой не только миру, но и роду человеческому, которому, однако, приношу целительное утешение, ради одного этого ступая по грешной земле. Я уже не сомневался в том, что старый Паломник у Святой Липы был святым Иосифом, а дивный младенец — Иисусом, отметившим во мне святого перед моим земным странствием. И по мере того, как моя душа вживалась в эти помыслы, окружающее начинало претить мне и угнетать меня. Из моей души исчез мир и рассеялась духовная безмятежность, которыми я наслаждался в монастыре; благодушные братьев и дружелюбие приора лишь озлобляли меня. Как же это они не видели во мне святителя, который настолько выше их, что им впору пасть к моим стопам, взыскуя моего посредничества между престолом Божьим и грешной их природой! А поскольку они относились ко мне по-прежнему, я усматривал в их поведении пагубную закосленность. Уже некоторыми хитросплетениями моих проповедей наводил я верующих на мысль, будто в лучах пламенеющей утренней зари наступает новый век и уже шествует по земле угодник Божий, даруя верующей пастве спасительное утешение. Свое мнимое призвание я раскрашивал мистическими узорами, и толпа тем более покорялась мне, замороженная чужеродной прелестью, чем темнее и загадочней были иносказания. Леонардус явно охладевал ко мне, избегая беседы наедине, но случилось так, что братья отстали от нас, когда мы шли по одной из аллей монастырского сада, и приора взорвало:

— Не могу умолчать, любезный брат Медардус, о том, что ты, по-моему, переменялся к худшему. Нечто закралось в твою душу, и набожная бесхитрость уже не по тебе. Твои

словеса омрачаются враждебным наваждением, в котором пока еще скрывается то, что сделало бы мое общение с тобой во всяком случае невозможным. Давай объяснимся, не взыщи! В этот миг тебя особенно тяготит вина нашего грешного рода, а эта вина при каждом воспарении нашей духовной силы манит нас в западню погибели, и мы в неразумии нашего полета устремляемся именно туда. Успех, да что успех! — кумирслужение, которым окружил тебя легкоумный мир, лакомый до новинок, притупило остроту твоего зрения, и ты уже принимаешь за самого себя личину, которая вовсе не твое лицо, а призрак, лазутчик бездны, тебе предназначенной. Опамятуйся, Медардус! Прогони этот морок, он тебя дурачит, — он как будто и мне знаком! — уже сейчас тебя покинул душевный мир, а без него какое же здесь благо! Внемли моему предупреждению, за тобой охотится враг, так не попадайся же ему! Разве я не любил тебя всей душой, когда ты был просто добрым юношей?

Говоря так, приор прослезился; он стиснул было мою руку, но пальцы его тотчас разжались, и он оставил меня, как будто пренебрег моим ответом.

Однако его слова лишь заделали меня, насторожив, а не растрогав; он же не сказал, что успех и восторженное обожание, которыми я обязан моим исключительным дарованиям, не заслужены мною, значит, он мной недоволен лишь потому, что его мучает зависть, признак ничтожества, да он этого и не скрывает! С того часа я окончательно ушел в себя, помалкивал при встречах с другими монахами, злобствуя в душе, и, преисполненный новым существом, возникающим во мне, целыми днями, не смыкая глаз даже ночью, измышлял словесную роскошь, в которую намеревался облечь мое очередное создание, дабы явить его народу во всей красе. И по мере того, как разверзалась пропасть между мною и Леонардусом с братией, я все ловчее залучал толпу в свои тенета.

В день святого Антония в церкви была такая давка, что двери были открыты во всю ширь, и народу была предоставлена возможность слушать меня не только на паперти, но и во дворе. Никогда еще моя проповедь не отличалась такой огненной, впечатляющей мощью. Следуя традиции, я вкратце пересказал житие святого, не упустив при этом случаев показать свою праведность и житейскую мудрость. Тема дьявольских происков, особенно опасных для человека после грехопадения, захватила меня, и поток моего красноречия неожиданно-негаданно подбросил мне легенду об эликсирах, которую я пытался представить изощренной аллегорией. Между тем взгляд мой блуждал по церкви, и внезапно мое внимание привлек долговязый, сухопарый человек; поднявшись на скамью, он опирался на колонну в косвенном направлении от меня. Одет он был не по-здешнему, кутался в темно-фиолетовую хламиду, под которой прятал скрещенные руки. Его лицо поражало мертвенной бледностью, а грудь мою обожгло лезвие кинжала: то был взор его огромных, черных, неподвижных глаз. Я содрогнулся от непостижимого, отвратного страха, поскорее отвел глаза и, усиленно сосредоточиваясь, попытался продолжить мою мысль. Но как бы инородное насильственное волшебство притягивало мой взгляд к незнакомцу, стоявшему все там же, в безжизненном оцепенении, и его вампирственный взор не отпускал меня. Ядовитое презрение, издевательская ненависть угадывались в морщинах лба и в кривящихся устах. В его облике было нечто ужасное — гибельное! Да, это был безвестный художник, виденный мною у Святой Липы. Меня как бы душили ледяные пальцы; страх подернул мой лоб своими испарениями, периоды моей проповеди прерывались, слова запутывались все безнадежнее; в церкви послышался шепот, потом гулкой говор; но в безжизненном оцепенении опирался страшный пришелец на колонну, не сводя с меня недвижного взора. Тогда на меня напал адский ужас, и, как бесноватый, завопил я в отчаянье: «Эй, ты, нечистый, сгинь! — сгинь! я же сам... я же святой Антоний!»

Эти слова повергли меня в обморок, а когда я опамятовался, у моей постели сидел брат Кирилл; он меня пользовал и успокаивал. Ужасный посетитель все еще торчал передо мной, и, когда я поделился пережитым с братом Кириллом, я тем более пожалел о своей выходке на кафедре и тем более устыдился, чем настоятельнее уверял меня брат Кирилл в иллюзорности преследующего меня образа, вызванного, по его мнению, моей распаленной фантазией, а это немудрено, когда проповедуешь так страстно и пламенно. По моим

сведениям, слушатели подумали, будто меня врасплох застало умопомрачение, и мой последний выкрик давал вполне достаточный повод для подобных выводов. Я был разбит — мой дух пришел в полное расстройство; я заперся в моей келье, наложив на себя суровейшую епитимью, укрепляясь жаркой молитвой в борьбе с искусителем, которого не остановило даже святое место, где он смутил меня, с наглой издевкой присвоив себе черты набожного живописца от Святой Липы.

Кстати сказать, никто не приметил никакой фиолетовой хламиды, а приор Леонардус со своим неизменным доброжелательством неутомимо распространял повсюду слух, будто со мной приключился приступ горячки, свалившей меня с ног во время проповеди, отсюда и мои бессвязные слова; и вправду, я был еще слаб и болен, когда вернулся к привычному монастырскому распорядку. Тем не менее я взошел было на кафедру, но не мог преодолеть изнурительной внутренней боязни, да и ужасный, бледный призрак меня преследовал, так что я едва связывал слова, какое уж тут пламенное красноречие! Мои проповеди потускнели... они стыли... рассыпались. От моих прежних почитателей не укрылась моя несостоятельность, и число их неумолимо таяло; теперь прежний проповедник явно превосходил меня; старичок опять выполнял кое-как свои обязанности за неимением лучшего проповедника.

Через некоторое время случилось так, что молодой граф, путешествующий в сопровождении своего управляющего, наведаясь в монастырь, имея цель ознакомиться с нашим богатым реликварием. Выполняя свои обязанности, я отпер дверь и впустил туда путешественников, а поскольку приор, показывавший им наш храм и его хоры, вынужден был покинуть нас, я оказался с ними наедине. Я доставал один предмет за другим с подобающими комментариями, и тут граф обратил внимание на резную скриню старинной немецкой работы, а в скрине-то и был поставец с дьявольским эликсиром. Хотя я предпочел бы придержать язык и умолчать о содержимом поставца, оба, и граф, и его управляющий, так настаивали, что я в конце концов поведал им легенду о святом Антонии и коварном дьяволе и описал, точно следуя словам брата Кирилла, сию своеобразную реликвию, пресловутую бутылку, не преминув присовокупить: поставца лучше не открывать, а бутылки лучше не видеть. Граф исповедовал нашу религию, однако он, как и его управляющий, не очень считался со священным преданием. Оба они подняли на смех курьезного дьявола в драной хламиде, из которой вылупливаются совращающие сосуды, потом управляющий сказал с напускной серьезностью:

— Не обижайтесь на светских вертопрахов, господин монах! Не вздумайте подозревать нас в неверии, мы оба, граф и я, благоговеем перед святыми угодниками, видя в них людей, вдохновенных верой, отрекавшихся от житейских благ и от самой жизни, лишь бы спасти свою душу и человечество; что же касается вашего повествования и подобных ему преданий, то я полагаю, что святой измыслил изощренную аллегорию, которой не поняли и включили ее в жизнеописание как подлинное событие.

Говоря так, управляющий поспешил отодвинуть дверцу поставца, чтобы извлечь черную бутылку причудливой формы. Брат Кирилл не ввел меня в заблуждение: от бутылки действительно шел крепкий дух, однако дух этот отнюдь не цепенил, а, напротив, живительно и сладостно возбуждал чувства.

— Вот это да! — вскричал граф. — Держу пари, эликсир дьявола — не что иное, как доброе, восхитительное сиракузское вино.

— Так оно и есть, — ответил управляющий, — и если сию бутылочку и впрямь завещал святой Антоний, вам, господин монах, мог бы позавидовать и сам король Неаполитанский, которого обездолило римское нечестие; ведь римляне не прибегали к пробкам, а полагали, что вино целее, подернутое маслом, так что королю не довелось хлебнуть древнеримского винца. Конечно, это вино моложе римского, но и оно старейшее из нам известных, и вам следовало бы употребить его себе на благо, то есть прикладываться к бутылочке, не говоря худого слова.

— Разумеется, — вставил граф, — ваша кровушка выиграла бы в жилах, восприняв этот

сок старейшей сиракузской лозы, и прогнала бы хворь, от которой, сдается мне, вы страдаете, господин монах.

В кармане управляющего тут же нашелся стальной штопор, которым тот вооружился и открыл бутылку, невзирая на все мои отчаянные заклинания. Когда пробка выскакивала, мне привиделся синий огонек, исчезнувший, впрочем, тотчас же. Винный дух усилился, распространяясь по реликварию. Управляющий пригубил первым и, упоенный, возгласил:

— Доброе — доброе сиракузское! Что и говорить, святой Антоний мог бы похвастаться своим винным погребом, и если дьявол служил у святого Антония виночерпием, он вредил святому меньше, чем принято считать. Вы только попробуйте, граф!

Граф не отказался и засвидетельствовал правоту управляющего. Оба они продолжали зубоскалить по поводу этой реликвии, утверждая, что другие экспонаты не идут с ней ни в какое сравнение, не худо бы наполнить себе погреб такими реликвиями и так далее. Я слушал эту болтовню, не говоря ни слова, уставившись в пол; мне, омраченному горестью, причиняли боль чужие шутки; напрасно гости соблазняли меня вином святого Антония, я остался непоколебим в своей стойкости и запер бутылку в скрыне, предварительно закупорив ее.

Гости отбыли, однако, сидя в моей уединенной келье, я не мог отрицать: внутри меня что-то наладилось, дух мой ожил и превозмог помрачение. Очевидно, один только винный дух уврачевал меня. Я не замечал ничего похожего на дурные последствия, предреченные Кириллом, напротив, мое состояние заметно улучшалось, и, по мере того как осмысливал я легенду о святом Антонии, слова управляющего находили в моей душе созвучный отклик и сам я приходил к выводу: управляющий, вот кто верно истолковывает легенду, — и вдруг меня молнией поразила мысль: в тот роковой день, когда враждебное наваждение так жестоко нарушило строй моих умозаключений, не сам ли я намеревался истолковать легенду подобным образом, то есть как изощренную наставительную аллегория, измышление вещей святости? А эта мысль повлекла за собой другую, овладевшую мной до такой степени, что прочие помыслы растворились в ней. Что, если, думалось мне, этот чудный напиток подпитает внутреннее твое существо, вновь затеплит бывший светоч, и новая жизнь воспламенит его? Не обнаружилась ли уже сокровенная предрасположенность твоей души к приятию естественной мощи, таящейся в вине, и тот же самый дух, подавивший немощного Кирилла, не восстановит ли твои жизненные силы?

Сколько раз я был готов поступить, как советовал приезжий, но едва я начинал выполнять его совет, некое противодействие отворачивало меня от моей цели. Вот-вот, бывало, я отопру скрыню, а в резных узорах как бы проступают зловещие черты живописца, так и сверлит меня его безжизненно острый взгляд, и, потрясенный сверхъестественной жутью, уносил я ноги из реликвария, чтобы на святом месте оплакать неудавшееся посягательство. Тем неотступнее преследовала меня мысль, будто вкушение чарующего вина утолит мою духовную жажду и вернет мне силы.

Поистине нестерпимой была для меня снисходительность приора — да и монахов тоже, щадивших во мне умственно поврежденного, и когда поблажки Леонардуса зашли так далеко, что он перестал требовать от меня присутствия на урочных богослужениях впредь до улучшения моего здоровья, я вознамерился в бессонную ночь, исстрадавшись до глубины души, поставить на карту всё и подняться на прежнюю духовную высоту или кануть в небытие.

Я встал с постели, зажег светильник от лампадки, горевшей в монастырской галерее перед иконой Девы Марии, и бесшумно, как выходец с того света, пробрался через церковь в мощехранилище. При тусклом мерцании светильника святые на стенах церкви как бы двигались, устремив на меня сострадательные взоры, а на хорах, где стекла не везде были вставлены, в завывании бури как бы слышались жалобные предостерегающие голоса, казалось, мать обращается ко мне из дальней дали: «Медардус, на что ты посягаешь, сынок, не губи себя!» Но я проник в мощехранилище, и там не было слышно ни звука, и ничто не шевелилось, и я отомкнул скрыню, так и вцепившись в поставец, достал бутылку и глотнул

всласть!

Пламень хлынул в мои жилы, упоив меня чувством неопишуемого благополучия, — я отхлебнул еще, и восторг новой царственной жизни взвился во мне! Поскорее запер я скриню, куда сунул пустой поставец, поспешил с вожаделенной бутылкой к себе в келью и спрятал ее под пюпитр.

Тут я поймал падающий ключик; я его отвязал когда-то, боясь искушения; как же я обошелся без него, отпирая скриню для посетителей, да и только что для себя? Я обследовал связку ключей, — и на поди! — в связке нашелся другой непредусмотренный ключик, он-то и сослужил мне службу дважды, а мне и невдомек.

Как тут было не содрогнуться, однако дух мой, словно выкарабкавшись из бездны, развлекся красочным мельтешением причудливых образов. Всю ночь напролет не смыкал я глаз, пока не настало безоблачное утро и я не поспешил в монастырский сад, чтобы купаться в лучах солнца, знойным пламенем пылающего за горой. Леонардус и вся братия не упустили из виду, как я переменялся; моей вчерашней бессловесной, замкнутой угрюмости как не бывало; неомраченная жизнь вновь заиграла во мне. Как мне прежде было свойственно, я говорил и говорил пламенно, искусно, словно вещал с амвона. Оставшись со мною с глазу на глаз, Леонардус долго изучал меня, будто пытался заглянуть мне в душу, потом на лице его появилась неуловимая ироническая улыбка, и он сказал:

— Не сподобился ли брат Медардус некоего видения, вернувшего его к жизни притоком свежих сил?

Я почувствовал, что вспыхнул со стыда, ибо вся моя экзальтация, вызванная глотком старого вина, поразила меня в этот миг своей ничтожностью и убожеством. Я весь поник перед Леонардусом, а тот удалился, не вмешиваясь в мои раздумия. У меня было предостаточно оснований остерегаться похмелья: выпитое вино воодушевило меня, но воодушевление могло быстро миновать, сменившись, к моему сокрушению, худшим упадком, но опасения были напрасны; я скорее чувствовал, что ко мне вместе с жизненными силами возвращается юношеский пыл и неутолимое стремление расширить круг моего влияния, а именно этим привлекал меня монастырь. Я не успокоился, пока меня не благословили проповедовать на следующий же праздник. Перед тем как взойти на кафедру, я испил чарующего вина и превзошел самого себя, щеголяя огнем, благолепием и неотразимой мыслью. Вскоре молва разнесла весть о том, что я поправился, и в церкви снова бывало тесно, когда я проповедовал, но чем больше восхищалась мной толпа, тем строже и настороженнее смотрел на меня Леонардус, и во мне пробудилась настоящая ненависть к нему; он представлялся мне всего только жалким завистником и высокомерным чернецом.

Наступал день святого Бернарда, и я пламенно вожаделел возможности явить княжне мой светоч во всем его сиянии, и потому обратился к приору с просьбою, не будет ли мне поручено проповедовать в тот день в монастыре цистерцианок. Кажется, Леонардус не ожидал такой просьбы; он ответил мне без обиняков, что сам имел намерение проповедовать и должные распоряжения уже отданы, однако именно поэтому мою просьбу можно удовлетворить беспрепятственно; сам он извинится, сославшись на нездоровье, а я буду проповедовать вместо него.

Все шло как по писаному! Я повидал мою мать и княжну накануне вечером, но моя душа так сосредоточилась на будущей проповеди в чаянье превзойти самого себя, что я остался довольно холоден. В городе уже слышали, что вместо хворого Леонардуса проповедовать буду я, и в церкви собралось большинство образованной публики. Ничего не записывая, а только построив мысли сообразной чередой, я полагался на высокое вдохновение, которому будут способствовать и праздничное богослужение, и собрание верующего народа, и сама церковь с прекрасными высокими сводами, — и вдохновение не преминуло посетить меня. Огненным потоком лились мои словеса, сочетавшие с поминовением святого Бернарда глубокомысленнейшие притчи, правовернейшие умозаключения; я приковывал к себе взоры, читая в них признание и обожание. Но поистине влекло меня и занимало только мнение княжны; я рассчитывал, по меньшей мере, на взрыв

искреннего восхищения: если, будучи ребенком, я поражал ее, каким же невольным почитанием ответит мне она теперь, угадывая мою сокровенную высокую предназначенность! Я попросил ее принять меня. Она заочно ответила, что нездорова, не принимает никого и не может сделать для меня исключения.

Это было тем чувствительнее для моего тщеславия, что в гордом самоослеплении я мнил: должна же она, восхищенная, возжаждать моего душеспасительного елеса еще и сверх отпущенного! Мою мать, казалось, удручало тайное горе, и я не позволил себе доискиваться его причин, так как внутреннее чувство возлагало всю вину на меня самого, не подсказывая при этом ничего определенного. Она передала мне письмецо княжны с условием, что я вскрою его только в монастыре; не успел я вернуться в мою келью, как был крайне поражен, прочитав нижеследующее:

«Твоею проповедью, произнесенной в церкви нашего монастыря, ты поверг меня, мой милый сын (ибо ты все еще сын для меня), в глубочайшее смятение. В твоих речах не слышалось души, всецело обращенной к небу, а если у тебя и было вдохновение, оно не возносило верующего на крыльях серафима, чтобы в святом умилении он узрел Царство Небесное. Ах! Горделивая выпренность твоих речений, видимое усилие сказать побольше броского, ослепительного убеждают меня в том, что ты обращался не к пастве, смиренно взыскующей наставления и священного огня, а к светской черни в поисках успеха и ничтожного обожания. Я увидела твое притворство; ты красовался чувствами, которых чуждалась твоя душа; ты не брезговал старательно заученными минами и телодвижениями, как суетный лицедей, и все это ради пошлого успеха. Ты проникся духом обмана, и он тебя изведет, если ты не придешь в себя и не отвергнешь грех. Ибо грех, великий грех — все, что ты делаешь и творишь, и ты тем грешнее, так как ты отрекся от земного невежества, чтобы посвятить себя небу в праведности монастырского затворничества. Святой Бернард, которому ты сегодня нанес пошлую обиду твоей поддельной проповедью, да простит тебя в своей небесной кротости, и да вразумит он тебя, дабы ты снова распознал праведную стезю, от которой отклонился, подстрекаемый лукавым, и да помолится тогда святой о спасении твоей души! Всякого тебе блага!»

Сотнями молний поразили меня слова настоятельницы, и внутренняя ярость охватила меня; ничто не могло разубедить меня в том, что Леонардус, неоднократно метивший в мои проповеди под подобными же предложениями, воздействовал на приторную набожность княжны, настроив ее против меня и моего искусства. Я едва мог смотреть на него, обуреваемый тайной ненавистью, и порою питал против него такие враждебные помыслы, что сам ужасался. Тем невыносимее были для меня упреки обоих, что в сокровеннейшей глубине моей души подтверждалась их справедливость, но тем непреклоннее коснел я в моей деятельности и, подбадривая себя время от времени капелькой вина из таинственной бутылки, по-прежнему прилежно разукрашивал мои проповеди всеми заемными ухищрениями риторики, усердно заучивая мимику и жестикуляцию; так я завоевывал успех и вымогал признание.

Красочные лучи утреннего света проникали сквозь расписные стекла окон в монастырской церкви; однако погрузившись в свои размышления, сидел я в исповедальне; под гулкими сводами звучали только шаги брата-послушника, подметавшего церковь. Вблизи меня послышалось шуршанье; я обернулся: ко мне приближалась высокая статная женщина, одетая по иноземной моде, лицо под вуалью; она вошла в боковую дверь и направлялась к исповедальне. Каждое ее движение отличалось изяществом; она преклонила колени с глубоким вздохом, шедшим прямо из сердца; казалось, чары ее опутали меня и одурманили еще до того, как послышался ее голос!

Не знаю, как описать этот неповторимый задушевный звук. Каждое ее слово отдавалось

у меня в груди, когда она исповедовалась в запретной любви, которую она уже давно и напрасно силится подавить; любовь особенно грешна, ибо возлюбленный навеки связан святыми узами, но в безумии безнадежного отчаянья она уже прокляла эти узы. Она смолкла было, но потом слова все же прорвались, неустержимые, как слезы:

— Кого же, кого же я люблю так, что не могу высказать, если не тебя, Медардус!

Нервы мои дернулись в убийственной судороге, я не владел собой, я никогда еще не испытывал чувств, подобных тому, которое разрывало мне грудь; видеть ее, душить в объятиях — пусть блаженство и боль задушат меня самого, и пусть вечная адская казнь за одну минуту этого упоения. Она молчала, но я слышал ее томительное дыхание. Я собрался с силами в неистовом отчаянье и совладал с собой; что я тогда говорил, я не могу вспомнить, только помню: она молча поднялась и скрылась, а я зажал себе глаза платком и как в столбняке или в обмороке все еще сидел в исповедальне.

К счастью, в церкви было пусто, и я скрылся в моей келье, никому не попавшись на глаза. Как же все изменилось теперь для меня! Все мои притязания показали мне бесплодным чудачеством.

Лик незнакомки не открылся мне, и все же она вселилась в меня со взглядом своих упоительных темно-голубых очей, жемчужины слез осыпались мне в душу, возжигая ненасытный пламень, которого не могли умерить ни молитвы, ни епитимьи. Что там епитимьи, я охаживал себя до крови узловатой веревкой в ужасе перед вечным проклятием, а оно грозило мне, ибо странная гостья повергла меня в пламень греховнейших вожделений, о которых я и не подозревал прежде, и я не чаял уже избавиться от мучительной казни: этой казнью стала для меня похоть.

В нашей церкви был алтарь святой Розалии и прекрасный образ ее, запечатлевающий мученицу в миг смерти. То была моя возлюбленная, в этом не было сомнений, даже одеяние ее не отличалось от странного туалета таинственной исповедницы. На ступени алтаря я повергался как бы в гибельном бреде и часами лежал там, ужасая монахов отчаянным завыванием, от которого они шарахались в разные стороны, избегая потом встреч со мной.

Неистовство перемежалось мгновениями, когда я носился по монастырскому саду туда-сюда, и она виделась мне в благоуханной дали, она выходила из кустов, она взлетала над водами, парила над цветущими лугами, везде она, ничего и никого, кроме нее!

Сколько раз я проклинал мой обет и мою участь!

Я стремился в мир, чтобы не успокоиться, пока не найду ее, чтобы обладать ею, хотя бы променяв на нее спасение моей души.

На конец я с превеликим трудом отчасти обуздал мое неистовство, озадачивавшее приора и братию; я ухитрился выглядеть уравновешеннее, но беспощадное пламя продолжало внедряться в меня тем неумолимее.

Какой там сон! Какой там покой!

Образ ее не покидал меня, я корчился на моем жестком одре и заклинал святых, нет, не спасти меня от сокрушающего морока, одолевавшего меня, не избавить мою душу от вечной гибели, а свести меня с желанной, развязать узы моей клятвы, вернуть мне свободу, а я отпаду и паду во грехе!

Наконец душа моя утвердилась в намерении пресечь мою казнь бегством из монастыря. Мнилось мне, будто пренебречь монашеским обетом — значит уже увидеть желанную в моих объятиях и насытить вожделение, сжигающее меня! Я вообразил, будто никто не узнает меня, стоит мне сбрить бороду и вырядиться на мирской манер, и никто не помешает мне рыскать по городу, пока я ее не добуду, и мне было невдомек, насколько все это мудро и даже невероятно: без денег продержаться хотя бы день вне монастыря.

Наконец я был готов осуществить мой замысел; мне настолько повезло, что я запасся даже партикулярным платьем, и оставалось только напоследок переночевать в обители, которую я не рассчитывал увидеть когда-нибудь в будущем. Уже свечерело, когда приор неожиданно пригласил меня к себе. Я содрогнулся, так как у меня были все основания опасаться, что он проведал о моем тайном поползновении. Леонардус был со мной строже

обычного, и его утонченное благородство невольно потрясло меня.

— Брат Медардус, — начал он, — лично я усматриваю в твоих нелепых выходках лишь крайнее усиление той нездоровой восторженности, которой ты предаешься уже в течение некоторого времени, быть может, намеренно и с неблагоприятными целями, однако этим ты возмущаешь наше мирное общежитие, да и разрушительно вредишь безмятежному благодушию, вознаграждающему кроткую праведность, а моя деятельность никогда не была рассчитана ни на какую другую награду. Не исключено, что во всем повинны некие неприязненные происки. Тебе следовало бы смело довериться мне, относящемуся к тебе не только дружески, но и отечески, но ты замкнулся в молчании, а я тем более предпочел бы воздержаться от навязчивости, что твое молчание отчасти устраивало меня: твоя откровенность не была бы для меня безболезненной, и мне пришлось бы до известной степени разделить с тобой твое бремя, а мой возраст ничем так не дорожит, как безоблачной ясностью. Преимущественно у алтаря святой Розалии ты изрыгал непристойности, наводящие ужас; ты как бы бредил, но ты преступно вводил во искушение не только братию, но и мирян, случайно заглянувших в церковь; монастырское благочиние обязывало бы меня не давать тебе поблажек, а прибегнуть к строгости, но я так не поступлю, ибо не исключаю, что не только ты виноват в затмении твоего разума, тут замешано недоброе, уж не сам ли нечистый воспользовался твоей уступчивостью; я лишь велю тебе: упорствуй в покаянии и в молитве. Я прозреваю твою душу — тебя влечет свобода!

Мнилось, будто Леонардус действительно видит меня насквозь; его взор пронзил меня, и я, всхлипывая, повергся перед ним во прах, молча уличая сам себя в дурных помыслах.

— Не осуждаю тебя, — продолжал Леонардус, — и допускаю, что для твоей смятенной души мир целительнее иноческого уединения, особенно если ты будешь блюсти себя в миру, согласно заповедям и обетам. Кто-нибудь из нашей братии должен направиться в Рим. Назначаю тебя нашим послом, и уже завтра тебе надлежит отбыть со всеми верительными грамотами и указаниями. Ты как никто другой пригоден для такого поручения; твой возраст, сноровка, деловая сметка и твой итальянский язык — все говорит за тебя. А теперь затворись в твоей келье и дай себе труд от всей души помолиться за ее спасение, моя молитва будет заодно с твоей; только не казни больше своего тела, ты только изнуряешь себя, а тебе предстоит путешествие. Ранним утром посети меня здесь на прощание.

Реченья праведного старца озарили мне душу небесным излучением; я ненавидел его, а тут отрадным страданием пронизала меня любовь к нему, узы, которые я привык считать неразрывными. Я проливал горячие слезы, я прильнул к его рукам. Он обнял меня, и у меня мелькнула мысль, не угадывает ли он мои сокровеннейшие помыслы; не отсюда ли та свобода, в которой не отказывает мне он; дескать, предайся судьбе, помыкающей тобой, упейся, быть может, минутой, а потом пусть хоть вечная погибель.

Итак, надобность в бегстве отпала, ничто не мешало мне выйти из монастыря и беспрепятственно гнаться за ней без усталости, за ней, пока не настигну ее, ибо нет мне без нее ни покоя, ни благополучия. Я даже подозревал, что Леонардус был рад случаю удалить меня из монастыря и вся затея с верительными грамотами не имела другой цели.

Всю ночь напролет я молился и предуготовлялся к путешествию; я нашел флягу для чарующего вина, так как не предполагал уже обойтись без привычного возбuditеля, а порожнюю бутылку от эликсира водворил обратно в поставец.

К немалому моему удивлению, я узнал, выслушав обстоятельнейший наказ приора, что мое посольство в Рим было вполне обоснованным; на меня возлагалось, от меня ожидалось и требовалось многое. Сердце мое укоряло меня: едва выйдя из монастыря, я без всяких оправданий намеревался злоупотребить моей свободой; но она пришла мне на ум, и я собрался с силами, чтобы непоколебимо осуществлять свои умыслы.

Меня провожала братия, и прощание с ними, не говоря уже о прощании с отцом Леонардусом, оказалось тягостнее, чем я мог ожидать. Но вот за мною захлопнулись ворота монастыря, и, оснащенный для далекого путешествия, я был свободен.

Раздел второй. ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИРУ

Подернутый голубой поволокой, внизу в долине вырисовывался монастырь; прохладный утренний ветер веял сквозь воздушные течения, и с ним доносились ко мне ввысь молитвенные хоралы братьев. Я не мог не петь вместе с ними, это было сильнее меня. Огненно жаркое солнце встало за городом, его искристое золото засверкало среди деревьев, и с веселым шелестом яркие самоцветы росы посыпались на пестрых насекомых, которые взлетали тысячами, жужжа и кружась. Птицы взмывали спросонья; они щебетали восторженно и, милуясь в беспечном упоении, мельтешили в лесу.

Целое шествие деревенских парней и девушек в праздничных нарядах поднималось на гору. «Благословен Господь наш Иисус Христос!» — возгласили они, поравнявшись со мной. «Днесь, присно и во веки веков!» — отозвался я, и как будто новая жизнь, преисполненная отрадной свободы, снизошла на меня тысячами своих блаженных обетовании.

Никогда еще я не испытывал ничего подобного; я как бы не узнавал самого себя и, захваченный, воодушевленный пробуждением новых сил, устремился вниз по лесистому склону. Я осведомился у встречного крестьянина, как добраться туда, где мне было предписано на первый раз переночевать, и он в точности обрисовал мне тропу, ведущую в гору, в сторону от большака.

Мое одинокое странствие продолжалось достаточно долго, когда мои мысли вдруг снова обратились к Незнакомке и к невероятной затее настигнуть ее. Однако ее внешность была как бы изглажена непостижимым, инородным вмешательством, и я лишь с некоторым усилием представлял себе ее поблекшие, выветрившиеся черты; как я ни силился мысленно удержать мечтание, оно тем безвозвратнее затуманивалось. Мне явственно виделось лишь бесчинное неистовство, которому я предавался в монастыре после того странного происшествия. Я диву давался, как это приор так долго и с такой снисходительностью мирволил мне да еще направил в мир вместо того, чтобы приговорить меня к подобающему покаянию. Я уже больше не сомневался в том, что неведомая посетительница лишь померещилась моему переутомленному воображению, но, если прежде я усмотрел бы в губительно прелестной грезе вечные ковы Лукавого, то теперь я истолковывал ее всего лишь как заблуждение моих собственных мятущихся чувств, что как будто подтверждало само сходство одеяний, едва ли не одинаковых у мнимой пришельцы и у святой Розалии, чей живописный образ я действительно мог созерцать из моей исповедальни хотя бы издалека и в косвенном направлении, однако это, по-видимому, не уменьшило его влияния. Тем глубже трогала меня мудрость приора, сообразившего, как лучше исцелить меня, ибо, заточенный среди монастырских стен, в гнетущем присутствии одних и тех же вещей, непрерывно углубляясь, въедаясь в себя самого, я и вправду впал бы, чего доброго, в безумие, жертва мечтания, еще более красочного, пламенного и дерзкого в уединенности. Мне все более нравилась мысль о том, что я только поддался бреду, и я уже чуть ли не смеялся над самим собой в скептическом озорстве, так мало похожем на мою обычную душевную настроенность; я уже издевался в глубине души над обольщением, уверяющим, будто в меня влюблена святая, а сам я не кто иной, как святой Антоний.

Уже не один день брел я горами, а вокруг все еще устрашающе высились обрывистые жуткие утесы, и узкие тропинки еле держались над бешено кипучими лесными ручьями; чем дальше, тем больше настораживал и отпугивал безлюдный путь. Почти достигнув зенита, солнце нещадно пекло мою непокрытую голову, я изнывал от жажды, но родников поблизости не было, да и деревня все не появлялась, а ведь я уже должен был бы туда попасть. Совершенно изнуренный, опустился я на каменную глыбу, сорвавшуюся с горной кручи, и не мог отказать себе в глотке из фляги, хотя и предпочитал не расходовать без крайней нужды таинственное зелье. Новый пыл взыграл в моих жилах, взбодрив и подкрепив меня, так что я ринулся вперед в уверенности, что до искомого уже рукой подать. Однако еловые дебри отнюдь не редели вокруг, в сумрачной глуши тишина нарушалась неким

звук, и вскоре донеслось пронзительное ржание: там была привязана лошадь. Я прошел еще немного, и на меня напала оторопь: прямо передо мной разверзлась отвесная зловещая бездна, куда, окаймленный неприступными зубчатыми отрогами, низвергался лесной ручей, шипя, рокоча и бушуя; к его громоподобному неистовству я и прислушивался вдали. Прямо, прямо над гибельной кручей торчал уступ, на котором сидел молодой офицер в мундире; шляпа с высоким плюмажем, шпага и бумажник лежали подле него. Он прикорнул над бездной; туловище его свисало в пустоту, и он, как бы сонный, соскальзывал туда на глазах, так что не мог в конце концов туда не рухнуть.

Я рванулся к нему и протянул руку, чтобы воспрепятствовать неминуемому; я громко закричал:

— Сударь! Ради Христа, проснитесь! Ради Христа!

Мое прикосновение, по-видимому, действительно разбудило его; он встрепенулся, стряхивая сон, и в тот же миг сверзился со своего предательского одра; тело его загремело в пропасть, члены его громко дробились, срываясь с одного каменного зубца на другой; отчаянный вопль послышался далеко внизу; он сменился приглушенным всхлипываньем, наконец, и всхлипыванья не стало. Я остался на уступе вне себя от невыносимого ужаса, потом, завладев шляпой, шпагой и бумажником, побежал было стремглав от этого гиблого угла, но тут некий молодчик, одетый по-охотничьи, вышел из-за ели и сперва уставился мне в лицо, а потом так прыснул со смеху, что я содрогнулся в ледяном ознобе.

— Вот это да, милостивый господин граф, — молвил, наконец, молодчик, — вот это маскарад так маскарад, лучше не придумаешь, и если бы милостивая госпожа не была в курсе дела, она, пожалуй, сама дала бы маху и не угадала бы своего милого, право слово. А как от мундира-то вы избавились, милостивый господин?

— Ищи его теперь в пропасти, — буркнуло что-то во мне, ибо вовсе не я ответил этими словами, они сами вылетели из моих уст помимо меня.

Я все еще не мог опомниться и стоял как вкопанный, уставившись в пропасть, не возникнет ли оттуда окровавленный труп графа, обличая меня. Мнилось, не я ли убил его, и некая судорога не позволяла мне выпустить из рук его шпагу, шляпу и бумажник.

А молодчик продолжал как ни в чем не бывало: «Отправлюсь-ка я, сударь, теперь в городишко, туда, под гору, и притулюсь там в доме налево от городских ворот, вам же небось не терпится попасть в замок, где ждут вас не дождутся, дайте-ка я прихвачу шляпу и шпагу».

Я вручил ему их без возражений.

— Так будьте здоровы, господин граф! Дай Бог вам хорошо провести время в замке, — крикнул молодчик и запел и засвистел, исчезая в чаще. Я понял, чья лошадь была там привязана; теперь он увел ее.

Когда я стряхнул с себя оцепенение и собрался с мыслями, я никак не мог разубедить себя в том, что случай сыграл со мной странную шутку, а я послушно уступил ему, ввержен его внезапным оборотом в причудливейший переплет. Очевидно, я был так похож лицом и телосложением на злополучного графа, что его собственный егерь принял меня за своего хозяина, которого угораздило именно в облачении капуцина искать приключений в соседнем замке. Итак, он погиб, а капризный рок мгновенно подменил его мною. Я не мог совладать с собою в безотчетном стремлении покориться року, перенять роль графа, и этот соблазн взял верх над внутренним голосом, уличавшим меня в смертоубийстве и в безумном посягательстве. Я не отдал бумажника и заглянул в него; мне бросились в глаза письма и внушительные векселя. Конечно, бумаги и письма позволили бы мне глубже заглянуть в прервавшуюся жизнь графа, но я был так возбужден тысячами помыслов, мелькавших у меня в уме, что не удосужился сделать этого.

Я пустился было в путь, но вновь задержался, — сел на каменную глыбу и попытался успокоиться; я же видел, какая опасность подстерегает меня среди неведомых превратностей, но в лесу весело зазвучали охотничьи рога, многоголосый говор приближался ко мне с торжествующими, беззаботными возгласами. Сердце так и выпрыгивало из моей

груди, я не мог совладать с моим дыханием; неизведанный мир, неведомая жизнь призывала меня!

Узкая тропа повлекла меня вниз по крутизне; кусты расступились, явив мне в долине творение искусного зодчего: то был замок. Вот где граф намеревался искать приключений, и я, не дрогнув, устремился туда. Замок был окружен парком, и я сразу же углубился в его тень; сумрачная аллея уводила в сторону от замка; я увидел, как по этой аллее бродят двое, один из них носил облачение духовного лица. Они поравнялись со мной, не заметив меня при этом, и пошли дальше, захваченные волнующим разговором. В облачении был юноша, чье прекрасное лицо мертвенной бледностью выдавало затаенную, ненасытную печаль; его собеседник выглядел гораздо старше, одетый безупречно, хотя и скромно. Они сели на каменную скамью, повернувшись ко мне спиной; от меня не ускользало ни единое слово.

— Гермоген, — говорил тот, кто постарше, — ваше непреклонное молчание убивает всех ваших близких, ваше беспросветное уныние усиливается день ото дня; как ни сильна ваша юность, и она приметно чахнет, ее цвет увядает, а ваше намерение принять духовное звание уничтожает все надежды, перечеркивает все замыслы вашего отца. Но ведь он готов был бы пожертвовать всеми этими надеждами, если бы врожденная предрасположенность к уединению двигала вами, склоняя к подобному обету; тогда бы он не дерзнул противостоять судьбе, как бы сурова ни была она к нему. Однако лишь с некоторых пор вас нельзя узнать; вы переменились так разительно и так непоправимо, что дело не могло обойтись без потрясения, чьи мучительные последствия все еще сказываются, хотя вы и предпочитаете не говорить о них. Вы же всегда отличались такой непосредственной, поистине юношеской доверчивой веселостью! Что же так отвратило вас от простой человечности, почему вы не ищете утешения для вашей страждущей души в сердце вашего ближнего? Опять молчание? Опять неподвижный угрюмый взгляд? Опять вздох? Гермоген! Вы ли не любили вашего отца, как любит не всякий сын, и если теперь ваше сердце непостижимым образом замкнулось перед ним, избавьте его хотя бы от необходимости видеть вас в этой рясе: она ужасает его, подчеркивая вашу невыносимую для него непреклонность. Гермоген, умоляю вас: долой это нестерпимое облачение! Уверяю вас, от наружного убранства исходит порой таинственное влияние; не обессудьте, но чтобы выразиться яснее, позволю себе сравнение, неуместное на первый взгляд; сошлюсь на лицедея, который гримируется, чтобы приобщиться к чужой душе и достовернее уподобиться сценическому персонажу. Я, может быть, допускаю излишнюю вольность, как мне свойственно, не взыщите, но не думаете ли вы, что эта длинная хламида связывает вас, обязывая ступать важно, с мрачным видом, и, стоит вам сбросить ее, вы зашагаете по-прежнему бодро, проворно, а то и побежите вприпрыжку, как бегали, кажется, намеренно? Эполеты так и вспыхнут у вас на плечах, возвращая краски юности вашим бледным щекам; ваши звонкие шпоры приятной музыкой издали взбудоражат вашего ретивого коня, и он встретит вас ржанием, нетерпеливо гарцуя и выгибая шею перед милым всадником. Так что же вы, барон? Прочь эту заемную, долгополую мрачность, она так не идет вам! Не послать ли Фридриха за вашей офицерской формой?

Старик поднялся со скамьи и чуть было не ушел, однако юноша упал ему в объятья.

— Ах, пощадите меня, мой добрый Рейнгольд! — приглушенно воскликнул он. — Вы делаете мне так больно, что у меня нет слов. Ах, к чему ваши усилия затронуть во мне струны, столь стройные прежде! От этих усилий лишь чувствительнее мне мертвая хватка судьбы, удушающая меня, так что мне остается лишь дребезжать в диссонансах, как поврежденная лютня.

— Вы заблуждаетесь, любезный барон, — возразил старик, — вы жалуется на беспощадную судьбу, которая душил вас, и не хотите сказать, что же, собственно, вас постигло; однако семь бед один ответ; вы же молодой и сильный, вам ли не хватает юношеского огня, чтобы вооружиться против судьбы с ее мертвой хваткой, вам ли не подняться над этой самой судьбой, когда все ваше существо пронизано божественными лучами, когда ваша высшая природа неустанно пробуждается, возгораясь, чтобы вознести

вас над здешней убогой, страдальческой юдолью! Мне, признаться, невдомек, барон, какое предопределение могло бы подавить вашу нестигаемую внутреннюю мужественность.

Гермоген шагнул назад и, устремив на старика взор, мрачно пламенеющий подавленной угрожающей яростью, крикнул голосом, как бы доносящимся из безжизненной пустоты:

— Так знай же, что я сам себе беспощадный рок; я сам себя сокрушу, ибо на мне тяготеет неопишное злодеяние, позорное бесчинство, для которого нет другого искупления, кроме скорби и самоуничжительной казни. Пожалей меня, умоли моего отца, чтобы он меня не удерживал; мое место в монастырских стенах...

— Барон, — прервал его старик, — ваши чувства в полном смятении, вот и напал на вас такой стих; как же не удерживать вас, не удерживать вас нельзя. Со дня на день приедут баронесса и Аврелия, хоть ее-то дождитесь!

В ответ раздался смех юноши, устрашающе издевательский; при этом голос его оледенил мне душу:

— Ее-то? Дождаться? Да, старик, что правда, то правда; мне бежать не подобает; здесь моя епитимья будет невыносимее, чем в самом затхлом затворе.

Он бросился в кусты, а старик, оставшись один, закрыл лицо руками, словно весь был охвачен нестерпимой болью.

— Благословен Господь Иисус Христос, — сказал я, шагнув к нему.

Я застиг его врасплох; он был явно удивлен моим появлением, однако быстро собрался с мыслями и, что-то вспомнив, сказал:

— Ах, так это же вы, ваше преподобие! Не вашим ли посещением надеется госпожа баронесса утешить скорбящую семью?

Услышав от меня утвердительный ответ, Рейнгольд воспрянул духом, по всей вероятности вообще не будучи склонен к мрачному унынию, и, окруженные красотами парка, мы направились к замку, подле которого оказалась беседка, откуда хорошо было любоваться живописными горами. Расторопный слуга, случившийся как раз на пороге замка, не заставил себя ждать, и вскоре мы уже сидели за роскошным завтраком. Под звон полных стаканов я не мог отделаться от ощущения, будто Рейнгольд пристально изучает меня, силясь вспомнить нечто полузабытое. Наконец его осенило:

— Господи, ваше преподобие, или я совсем попал впросак, или вы отец Медардус из монастыря капуцинов, что в...р. Неужто? Быть не может... и все-таки! Это вы и есть, право слово! Скажите сами, ошибаюсь я или нет!

Молния из ясного неба поразила бы меня меньше, чем слова Рейнгольда, от которых я затрепетал всем телом. «Я обречен, разоблачен, уличен в убийстве», — такая мысль мелькнула у меня в голове. Я уяснил, что дело действительно доходит до петли, и на помощь мне пришло мужество отчаянья:

— Да кто же я, если не отец Медардус из монастыря капуцинов в...р, полномочный посол моего монастыря, направляющийся в Рим?

Моя невозмутимость и уравновешенность оказались достаточно убедительными при всей своей наигранности.

— Возможно ли, — откликнулся Рейнгольд, — стало быть, вы просто потеряли верную дорогу и свернули к нам по ошибке. А ведь госпожа баронесса знает вас. Разве вы здесь не по ее приглашению?

Некое постороннее шептание послышалось во мне, и я очертя голову напропалую повторил его подсказку:

— Путешествие свело меня с духовником баронессы; вот он и уведомил меня, что во мне здесь нуждаются.

— Так и есть, — подтвердил Рейнгольд, — все согласно письму госпожи баронессы. Остается только благодарить Небеса, указавшие вам путь к этому дому нам во спасение, дабы вы, муж праведный и добродетельный, сообразовали уделить нам время, а уж мы никогда не забудем вашей доброты. Несколько лет назад мне случилось побывать в...р, там я

слышал ваши душеспасительные словеса, поистине божественным вдохновением веяло с вашей кафедры. Я верю, что вы истый праведник, призванный спасти вашим пылом заблудшие души, и внутреннее воодушевление ваших возвышенных увещаний превзойдет в своей целительности все потуги нашей помощи. Хорошо, что я опередил барона в общении с вами; это дает мне возможность поведать о том, что происходит в семье, и я не утаю от вас ничего, иначе я согрешил бы перед вашим саном и святостью, предназначенной, сдается мне, самим Небом для нашего утешения. Да и помимо всего прочего, боюсь, даже вы не преуспеете без некоторых сведений, которых я, признаться, предпочел бы не давать, но, пожалуй, только они могут придать верное направление и подобающую действенность вашим начинаниям. Кстати, дело не требует многословных изъяснений.

Барон и я были неразлучны с младенчества; родство душ сделало нас братьями и разрушило ту перегородку, которую грозили возвести между нами сословные различия. Я сопровождал барону везде и во всем, и когда мы вместе завершили образование, он вверил моему надзору имения, которые здесь в горах унаследовал от своего покойного отца. Я всегда был его наперсником и братом, так что в его домашней жизни для меня никогда не было тайн.

Его отец вознамерился бракосочетанием сына скрепить узы, связующие его с дружественной семьей, и сын подчинился ему с непритворной готовностью, так как его суженая неодолимо влекла своего жениха и своею красотою, и другими достоинствами, которыми в изобилии наделила ее природа. Не часто бывает, чтобы родительская воля так соответствовала взаимной склонности детей, как будто сама судьба предназначила их для супружества. От этого счастливого союза родились Гермоген и Аврелия. Как правило, мы проводили зиму в столичном городе, благо замок располагался по соседству с ним, но родилась Аврелия, и здоровье баронессы заметно ухудшилось, так что нам пришлось и лето проводить в городе, поскольку беспрестанно требовались услуги сведущих врачей. Баронесса умерла, когда приближающаяся весна совсем было обнадежила барона мнимым ее выздоровлением. Наш отъезд в имение был, в сущности, бегством, так как не оставалось другого средства от печали, снедающей барона, кроме всеисцеляющего времени.

Между тем Гермоген был уже красивым юношей, Аврелия обещала со временем стать точной копией своей матери, мы заботливо воспитывали брата и сестру, что заполняло и скрашивало нашу будничную жизнь. Гермоген определенно хотел стать военным, и барону не оставалось ничего другого, кроме как отпустить его в столичный город и вверить попечению своего старого друга губернатора, дабы юноша мог сделать первые шаги на избранном поприще.

Всего три года тому назад барон с Аврелией и со мной остался, как бывало, на зиму в городе, во-первых, для того, чтобы не разлучаться надолго со своим сыном, но также и потому, что старые друзья соскучились по нему и непременно желали с ним видеться. Светское общество в столичном городе находилось в то время под впечатлением, которое производила на него губернаторская племянница, в недавнем прошлом причастная к придворным кругам. Она рано потеряла родителей и прибегла к покровительству своего дяди, занимая отдельный флигель при дворце, что давало ей определенную независимость и возможность составить свой круг изысканных знакомств. Так как нет надобности подробно характеризовать Евфимию, ибо вам самому, преподобный отец, предстоит составить о ней мнение в ближайшем будущем, ограничусь тем, что отдам должное ее неописуемому очарованию: оно оживляло ее манеры и ее слова, доводя ее редкую природную красоту до такой степени, что она покоряла буквально всех и каждого. Стоило ей появиться, и вокруг нее все волшебным образом обновлялось, и ее превозносили с пламенностью, доходящей до экстаза; она была способна разжечь даже флегматическую посредственность, и та, как бы замороженная, возносилась над собственной ущербностью и упоенно купалась в горних сферах, о которых прежде не смела и мечтать. Разумеется, не было отбою от обожателей, пылко поклонявшихся изо дня в день своему идолу; однако не было и никаких оснований утверждать, что она определенно достаивает своей благосклонностью того или иного,

напротив, ее лукавая ирония обладала способностью манить всех, никого не унижив, только сдобрив и возбудив общение, залучив окружающих в нерасторжимые тенета, чтобы они, околдованные, с удовольствием и радостью вращались вокруг нее. На нашего барона чары этой Цирцеи подействовали в особенности. Когда он впервые посетил ее, она приветила его, выказав перед ним чуть ли не дочерний пиетет; беседуя с бароном, она обнаруживала утонченнейшую рассудительность в сочетании с проникновенной чувствительностью, как правило не свойственной женщинам. А с каким неподражаемым тактом приняла она Аврелию и добилась ее привязанности, не скупясь на душевную теплоту, входя в малейшие подробности ее туалета, трогательно внимательная, как настоящая мать. Она так мудро и ненавязчиво поощряла наивную неискушенную девушку, терявшуюся в светском блеске, что все понимали, как умна от природы и как чувствительна ее бесхитростная протеза и как высоко следует ценить ее душевные качества. Барон просто удержу не знал в похвалах Евфимии, а я никак не мог с ним согласиться, и рознь между нами проявилась впервые по этому поводу, невысказанная до сих пор.

Я не привык высказываться и разглагольствовать на людях, предпочитая наблюдать и слушать. Когда Евфимия и меня удостоила кое-каких любезностей (она никого не оставляла без внимания), я начал пристальнее присматриваться к ней и нашел ее очень интересной. Я не мог отрицать, что она превосходит всех женщин красотой и привлекательностью, что каждое ее слово блещет мыслью и согревает чувствительностью, но что-то настораживало меня при этом, и я не мог отделаться от некоторой неприязни, которую мгновенно вызывал ее взор или слово, обращенное ко мне. Когда она сама не чувствовала на себе ничьих взглядов, ее глаза неожиданно вспыхивали, и в них прорывались искристые молнии, как будто давало себя знать сокровенное тлетворное излучение вопреки всем усилиям затаить его. При этом на ее нежных губках нередко проступала презрительная издевка, доводившая меня до содрогания невольным выражением циничного сарказма. А поскольку она часто метала подобные взгляды в сторону Гермогена, более или менее равнодушного к ней, я убеждался, что красивая маска скрывает неведомое никому и недоброе. Барон восхищался Евфимией сверх всякой меры, а мои физиогномические замечания были, разумеется, слабым возражением в ответ на его восторги; он без труда опровергал их, усматривая в моем внутреннем предубеждении лишь кричащий случай идиосинкразии. Барон конфиденциально предупредил меня, что намерен породниться с Евфимией и считает в высшей степени желательным ее брак с Гермогеном. Я упорствовал и не жалел доводов, предостерегая барона, когда в комнату вошел Гермоген и барон, продолжавший серьезно настаивать на своем, действуя по своему обыкновению решительно и напрямик, поделился с ним своими планами и намерениями в отношении Евфимии.

Гермогена это не взволновало, и он остался совершенно хладнокровен в ответ на восторженные дифирамбы барона по адресу Евфимии. Когда барон замолчал, юноша заявил, что эта дама ему безразлична, ни о какой любви не может быть и речи и потому он умоляет не предлагать ему больше такого союза. Немедленное крушение излюбленного плана застало барона врасплох, однако у него не было оснований настоятельнее склонять Гермогена к желательному согласию, ибо барон не имел никакого представления о том, как настроена сама Евфимия. При этом барон отличался отходчивостью и со свойственной ему сердечностью вскоре счел комической свою неудачу, предположив, что Гермоген, должно быть, заразился от меня моей идиосинкразией, хотя для него самого непостижимо, как можно усматривать нечто зловещее в такой интересной, обворожительной особе. Разумеется, сам он ничуть не охладил к Евфимии и чувствовал такую потребность в общении с ней, что день, проведенный в разлуке, был для него невыносим. И вот случилось так, что, поддавшись беспечной задушевной веселости, он шутики ради заметил, что в их кругу лишь один человек ухитрился не влюбиться в Евфимию и этот человек Гермоген. В самом деле, кто, кроме Гермогена, так упорно отвергал бы бракосочетание с нею вопреки настоятельному совету своего отца?

Евфимия ответила, что ее мысли по этому поводу тоже следовало бы принять к

сведению, что дальнейшее сближение с бароном для нее весьма желательно, но она предпочла бы обойтись при этом без Гермогена, слишком педантичного и капризного на ее вкус. Барон сразу же пересказал мне этот разговор, а Евфимия с того времени вдвое щедрее принялась осыпать барона и Аврелию знаками своего расположения; более того, она порою намекала барону вскользь на то, что мечтает выйти за него замуж и только в этом замужестве усматривает идеал счастливого брака. Она решительно отметала все, что можно было сказать о различии возрастов и других препятствиях, а сама притом продолжала наступление, да так непринужденно, так мило, так уверенно продвигаясь вперед, что барон принимал подсказки и наущения, как бы внедряемые Евфимией ему в душу, за свои собственные заветные чаянья. Он был еще достаточно свеж, силы в нем не иссякли; и не мудрено, что он вскоре воспылал любовью, как юноша. Мне ли было укрощать его буйный полет, я упустил время, да и ход событий слишком ускорился. Не успело столичное общество оглянуться, как Евфимия вышла замуж за барона. А мне, признаться, казалось, что темная угроза, страшившая меня издали, приблизилась к своей жертве, и мне предстоит бдительно стеречь моего друга и остерегаться при этом самому. Гермоген остался холоден, узнав об отцовском бракосочетании. Аврелия, чуткая любящая девочка, ответила на это известие обильными слезами.

Сразу же после венчания Евфимия пожелала переселиться в горы, что и было исполнено; не могу не сказать, что я невольно начал восхищаться ею, настолько покорила она меня своей неизменной любезностью. Два года протекли в безмятежном и беспрепятственном наслаждении жизнью. Дважды мы переезжали на зиму в столичный город, но и здесь баронесса так беспредельно благоговела перед супругом, с такой предупредительностью откликалась на малейшие оттенки его желаний, что ядовитая зависть прикусила себе язык, а молодые щеголи, мечтавшие на свободе поволочиться за баронессой, не отваживались даже злословить. Прошлой зимой, пожалуй, лишь я один под влиянием моей застарелой, едва ли изжитой идиосинкразии вновь насторожился в ожидании худшего.

До бракосочетания с бароном среди наиболее пылких обожателей Евфимии выделялся граф Викторин, молодой красавец, гвардии майор, бывавший в городе лишь наездами, и Евфимия уступала подчас мгновенному искушению, изменяя своему кокетливому беспристрастию и оказывая графу безотчетное предпочтение. Ходили даже слухи, что граф куда более короток с Евфимией, чем предположил бы безучастный наблюдатель, однако кривотолки сошли на нет, не успев распространиться. В ту зиму граф Викторин снова посетил столичный город и, конечно, вращался в тех же кругах, что и Евфимия, однако он, казалось, не только не ухаживает за ней, а, напротив, сторонится баронессы. Тем не менее меня встревожили их взоры, которые встречались, когда тот и другая могли предположить, что соглядатаи отвлеклись: в этих взорах пламенело желание, вспыхивал пожирающий огонь мучительного, нестерпимого влечения. Однажды у губернатора был вечер, и съехались знатнейшие гости; я стоял вплотную к окну, и ниспадающие складки изысканных занавесок наполовину скрывали мое присутствие, но в двух-трех шагах от меня я увидел графа Викторина. К нему порхнула Евфимия, чей туалет был соблазнительнее, чем обычно, и сама она была хороша, как никогда; он поймал ее руку тайком ото всех, кроме меня; страсть выдала себя этим движением, баронесса явно содрогнулась, и на него упал ее взор, — что за взор! — невыразимо жгучая любовь, рвущаяся к чувственному утолению, пылала в этом взоре. Они прошептали несколько слов, я не расслышал их. Должно быть, я привлек внимание Евфимии, она стремительно обернулась, и тут уж я услышал: «Мы не одни».

Я остолбенел, потрясенный, подавленный, раненный в самое сердце! Ах, преподобный отец, если бы мне излить перед вами мои чувства! Вспомните, как я любил барона, как я был к нему привязан, как предан; вспомните о моих подозрениях, они подтвердились; несколько слов убедили меня: у графа с баронессой тайная интрига. Пока еще я не имел права разоблачить ее, однако решил быть начеку, как многоглазый Аргус, и в случае явного преступления разорвать постыдные тенета, которые она уготовила моему несчастному другу. Кто может, однако, противиться сатанинским козням; все мои ухищрения были обречены на

неудачу, на полную неудачу; барон только расхохотался бы, когда бы я поведал, ему, что видел и слышал; плутовка и тут бы вывернулась, выдав меня за пошляка или за безрассудного монаха, страдающего галлюцинациями.

Снег еще не растаял в горах, когда мы переехали сюда минувшей весной, однако я нередко отправлялся гулять в горы, и вот в ближней деревне мне повстречался крестьянин, в поведении которого чувствовалось притворство; он обернулся, и что же? то был граф Викторин, однако в ту же минуту он исчез за домами и больше не попадался мне. Несомненно, он вырядился простолюдином с ведома баронессы! Теперь-то я точно проведал, что он обретается здесь, я видел его егеря в седле, хотя мне и было невдомек, почему бы ему не видаться с баронессой в городе. Три месяца назад случилось так, что губернатор сильно занемог и позвал к себе племянницу; Евфимия немедля отбыла к нему вместе с Аврелией, а сам барон остался дома лишь потому, что ему нездоровилось. Тут и постигла наш дом напасть и немалая скорбь, ибо вскоре барон получил от Евфимии письмо, извещающее, что у Гермогена внезапно обнаружилась меланхолия, осложняющаяся припадками буйного помешательства, что он избегает общества, клянет себя и свою судьбу и вопреки всем попечениям друзей и медиков никакого улучшения не наступает. Сами посудите, преподобный отец, как такое письмо должно было подействовать на барона. Свидание с безумным сыном, пожалуй, доконало бы его, и поэтому я вместо него съездил в город. Гермогена подвергли усиленному лечению, и он больше не буйствовал, однако его тихую меланхолию врачи не брались лечить. Встреча со мной глубоко взволновала его — он сказал мне, что не судьба ему оставаться в своем нынешнем звании, что на нем проклятие и разве только монастырь может избавить его душу от вечной гибели. Я нашел его уже в том облачении, которое вы, преподобный отец, только что видели; я с превеликим трудом вынудил его наконец приехать сюда. Он ведет себя тихо, однако упорствует в своем намерении, а главное, никак не удается выяснить, какое происшествие повергло его в нынешнее расстройство, хотя, если бы мы узнали эту тайну, нашлось бы, пожалуй, и действенное средство от его недуга.

Не так давно баронесса известила нас письмом, что ее духовный отец рекомендовал ей иеромонаха, чье посещение и увещание, утешив больного, могут лучше всего прочего подействовать на Гермогена, ведь он тронулся, по-видимому, на религиозной почве. И как же я рад, что этот иеромонах не кто иной, как вы, преподобный отец; на наше счастье, именно вы случились в столице. Вам под силу восстановить мир в сокрушенном доме, и да благословит Бог ваши начинания, чтобы вам не упустить из виду ни одну из обеих целей. Исследуйте, что за тайна мучит Гермогена; он свободно вздохнет, высказавшись хотя бы на святой исповеди, и сама Церковь обратит его, чтобы он вновь обрел отрадную жизнь в свете, которому принадлежит, не погребать же ему себя в обительских стенах! Однако и от баронессы не отдаляйтесь. Я ничего не скрыл от вас. Ведь вы не будете отрицать: пусть на моих показаниях не построишь обвинительного заключения, мнимыми или совсем неосновательными их тоже не назовешь. Вы убедитесь, что я прав, как только с нею свидитесь и познакомитесь. Она верующая, темперамент располагает ее к этому, а вы мастер увещавать; затроньте же поглубже ее сердце; вы потрясете ее и, быть может, исправите: вдруг она одумается и перестанет рисковать вечным блаженством, а ведь супружеская неверность ведет к гибели. И еще одна подробность, преподобный отец! Бывают минуты, когда я подозреваю, что душу барона тоже терзает кручина, которой он не делится даже со мною; конечно, он озабочен здоровьем Гермогена, но, боюсь, не преследует ли его постоянно еще какая-то дума. Я начинаю опасаться, не напал ли он, чего доброго, на след более отчетливый, не убедился ли, что баронесса уже путается с этим графом, пропади он пропадом. Барон — мой сердечный друг, так не оставьте и его вашим духовным иждивением, преподобный отец!

Такими словами Рейнгольд завершил свое повествование, мучительное для меня во многих отношениях, так как в душе моей пересеклись необычайнейшие противоречия. Подлинное мое «я» превратилось в лютую игру прихотливейших обстоятельств и,

распадаясь в чужеродных образах, качалось, как в море, без всякой опоры на бешеных волнах превратностей, захлестывающих меня. Я безнадежно потерял самого себя. Викторин явно был ниспровергнут в бездну моей рукой, хотя и не моя воля двигала ею, а случай; теперь на его месте я, однако Рейнгольд видел отца Медардуса в монастыре капуцинов, что в...р, и для него я по-прежнему я. Роман с баронессой, затеянный Викторином, падает теперь на мою голову, ибо Викторин — это я. Я тот, за кого меня принимают, а принимают меня не за меня самого; непостижимая загадка: я — уже не я.

Так или иначе, мне удалось скрыть внутреннюю бурю и сохранить в присутствии барона невозмутимость, пускай притворную, но достаточно характерную для предполагаемого священника. Барон был весьма немолод, и черты его лица потускнели, намекая, однако, на былую силу и полноту жизни. Не возраст, а печаль избородила его высокий, ясный лоб и посеребрила его кудри. Впрочем, вопреки этим грустным признакам, в его словах и в поведении чувствовались доброжелательность и сердечность, неудержимо располагающие каждого к нему. Когда Рейнгольд напомнил ему, кто я такой, согласно письму баронессы, предупреждавшей о моем посещении, барон устремил на меня испытующий взор, в котором затеплилось дружелюбие в ответ на рассказ Рейнгольда о моем проповедническом искусстве, покорившем его несколько лет назад в монастыре капуцинов, что в...р. Барон от всей души протянул мне руку и обратился к Рейнгольду: «Не пойму, милый Рейнгольд, почему сразу же привлекла меня внешность преподобного отца; кого-то он мне напоминает, никак не вспомню, кого...»

Я так и ждал, что он воскликнет: «Конечно же, это граф Викторин», — ибо, как ни странно, я действительно мнил себя Викторином, и кровь моя, вскипая в жилах, проступала краской на моих щеках. Я рассчитывал на Рейнгольда, который продолжал видеть во мне отца Медардуса, хотя сам я этому не верил: ничто в мире не могло развязать этого умопомрачительного узла.

Барону хотелось тотчас же свести меня с Гермогеном, но тот куда-то запропастился; видели, как он отправился в горы, и это не вызвало особой тревоги, поскольку он уже не раз проводил там целые дни. До вечера я не расставался с Рейнгольдом и бароном и настолько приободрился, что считал себя в силах бросить вызов любым обстоятельствам, когда бы и где бы они меня ни подстерегали. В ночном уединении я открыл бумажник, и мои последние сомнения рассеялись: не кто иной, как граф Викторин, расшибся, сорвавшись в пропасть, но, кстати сказать, письма, адресованные ему, не содержали сколько-нибудь важных сведений и ни одним слогом не намекали на какие-нибудь подробности его личной жизни. Мне не оставалось ничего другого, как отказаться от дальнейших изысканий и ввериться случаю, какие бы неожиданности ни сулил мне приезд баронессы и встреча с ней. Она действительно приехала с Аврелией на другое утро, хотя ее еще никто не ждал. Я увидел обеих, когда они выходили из кареты; барон и Рейнгольд встретили их и проводили в замок. Я беспокоился по комнате, весь во власти смутных чаяний, но я недолго был предоставлен самому себе: меня пригласили вниз. Баронесса нетерпеливо шагнула мне навстречу; она была еще хороша собою, ее горделивая красота отнюдь не отцвела. Взглянув на меня, она не сумела скрыть своего необычайного смятения; с дрожью в голосе она едва выговаривала слова. Заметив ее растерянность, я, напротив, окреп духом, уверенно выдержал ее взгляд и благословил ее, как истый монах. Вся побледнев, она опустилась в кресло. Рейнгольд взглянул на меня и, повеселев, удовлетворенно улыбнулся. В то же мгновение дверь открылась, вошел барон и с ним Аврелия.

Я увидел Аврелию, и луч проник в мою грудь, воспламеняя все затаеннейшие побуждения, сладостнейшую тоску, экстаз ненасытной любви, все, что неуловимым чаем доносилось до меня издали, трепеща внутренним отзвуком, воспламеняя и пробуждая жизнь; сама жизнь вспыхнула во мне, красочная и сияющая, а прежде позади меня все замерло и застыло в беспросветной ночи. Я узнал ее, неземным виденьем посетившую меня в исповедальне. Грустные темно-голубые очи, светящиеся детским благочестием, нежная линия губ, шея, склоненная словно в молитвенной кротости, изящная статность и

стройность, нет, не Аврелия, то была сама святая Розалия. Даже лазурно-голубая шаль, наброшенная на темно-красное платье, всеми своими фантастическими складками напоминала ту картину и то видение, ту святую и ту неведомую посетительницу. Аврелия была само небо в сравнении с требовательными прелестями баронессы. Все вокруг меня исчезло, осталась одна Аврелия. Мое волнение не ускользнуло от окружающих.

— Что с вами, преподобный отец? — осведомился барон. — Что такое вам поpritчилось?

Эти слова привели меня в себя; мгновенно проснулась во мне сверхчеловеческая мощь и отвага, неведомая мне дотоле; я был готов одержать победу над кем и над чем угодно, лишь бы завоевать ее.

— Благодать на вас, господин барон, — вскричал я, будто движимый пророческим духом, — благодать на вас! Святая шествует среди сих стен, и благословенное сияние скоро хлынет с небес, явив нам самую святую Розалию в хороводе ангелов; она дарует утешение и отраду богомольцам, склоняющимся во прахе с верой и благоговением. Я внемлю гимнам просветленных духов, и они тоже томятся в чайне святыни, призывая святую песнопеньями, дабы она снизошла с блещущих облаков. Зрю ее главу, вознесенную в нимбе горнего преображения, и лики святых, созерцаемых ею! Sancta Rosalia, oro pro nobis!²

Возведя очи горе, я упал на колени и сложил руки для молитвы; остальные не могли не подражать мне. Никто не осмелился задать мне вопроса, все подумали, что мой молитвенный экстаз ниспослан мне не иначе как небом; барон вознамерился даже заказать особые молебны у алтаря святой Розалии в городском кафедральном соборе. Итак, я не растерялся, будучи готов поставить на карту все, не исключая собственной жизни, лишь бы Аврелия стала моею. Что же касается баронессы, то она как будто не вполне владела собой, преследуя меня взглядами, а когда я смотрел на нее как ни в чем не бывало, ее глаза избегали моих. Вся семья собралась в другой комнате, а я кинулся в сад, где, затерявшись в безлюдных аллеях, не без борьбы вырабатывал тысячи замыслов, идей и проектов на будущее. Уже свечерело, когда Рейнгольд отыскал меня и передал, что баронесса, оставаясь под впечатлением от моего вдохновенного благочестия, ожидает меня в своей комнате.

Не успел я войти туда, как она устремилась ко мне, стиснула мои руки, уставилась мне в глаза и вскричала:

— Что это? Что это? Так ты Медардус, ты капуцин? Но твой голос, твой стан, глаза, волосы! Говори, или страх и отчаянье убьют меня!

— Викторинус! — ответил я почти беззвучно, и она обняла меня в диком неистовстве безудержного вожделения; огненный ток пронизал мои жилы, кровь кипела, меня дурманило головокружительное упоение, которому нет названия, но даже в грехопадении мое сердце принадлежало одной Аврелии, ей одной принес я в жертву мою гибнущую душу, нарушая обет.

Да! Теперь Аврелия вселилась в меня, и все-таки мне делалось жутко, когда я предвидел встречу с ней, а этого невозможно было избежать за ужином. Я боялся, как бы целомудренный взор ее не обличил моего безбожного греха, а тогда я буду повержен, опозоренный, разоблаченный, уничтоженный в преддверии вечной гибели. Да и с баронессой предпочел бы я пока не встречаться после тех минут, потому-то, сославшись на молитвенное бдение, я не покинул моей комнаты, когда меня пригласили ужинать. Не много дней потребовалось для того, чтобы я осмелел и собрался с духом; баронесса блистала любезностью; чем крепче завязывались наши узы в дерзких ухищрениях порока, тем предупредительнее угождала она барону. Баронесса призналась мне, что моя тонзура, самая настоящая, а не фальшивая борода, моя манера ступать по-монашески, от которой, правда, я уже начал постепенно избавляться, все это поразило ее тысячами опасений. А когда я к тому же принялся, как заправский святоша, заклинать святую Розалию, она чуть было не

² Святая Розалия, молись за нас! (лат.).

отчаялась, вообразив, что закралась ошибка и враждебный рок разрушил их совместный хитроумный план, подменив Викторина доподлинным капуцином, будь он проклят! Ее восхищало мое мнимое лицедейство: дескать, я и тонзуру себе сделал и бороду отрастил, научился ступать и держаться по-монашески, так что она то и дело норовила заглянуть мне в глаза, иначе ее одолевали предательские сомнения.

Время от времени егерь Викторина показывался на окраине парка, вырядившись крестьянином, и я никогда не пренебрегал возможностью лишней раз тайком с ним встретиться и напомнить, что мой побег весьма вероятен и ему придется помочь мне в случае опасности. С бароном и Рейнгольдом я как будто ладил отлично; и тот и другой упорно просили меня заняться страждущим Гермогеном, так как лишь мои дарования могли, по их мнению, пронять его замкнутость. Мне, однако, не везло в этом смысле, и до тех пор я не обменялся с ним ни единым словом, так как он определенно предпочитал не уединяться со мною, а когда мы все-таки встречались, то третьим лицом всегда при этом бывал барон или Рейнгольд, а Гермоген так поглядывал на меня, что я с немалым трудом затаивал невольные опасения. Можно было думать, что он видит меня насквозь и улавливает заветнейшие тайны. Его бледное лицо выдавало неудержимо глубокое отвращение, подавленную ярость, едва усмиренную ненависть, как только он замечал меня.

Вышло так, что я внезапно столкнулся с ним в парке, где наслаждался пейзажем; я решил воспользоваться моментом и внести умиротворяющую ясность в наши более чем натянутые отношения, быстро взяв его руку (он хотел уже по обыкновению удалиться); я пустил в ход все свое красноречие, не поскупился на неотразимые душеспасительные взывания и отчасти преуспел: казалось, он действительно внимает мне и не может скрыть, что растроган. Аллея уводила нас от замка, и, пройдя ее всю, мы сели на каменную скамью. Вдохновляясь моими собственными речами, я распространялся о том, что грешно предаваться унынию: оно гложет человеческую душу и отвращает от церкви, истинной целительницы и вспомоществовательницы, поддерживающей обремененных, а грешник враждебно противится самой жизни, сиречь целям, которые Всевышний дарует ему вместе с нею. Даже преступнику не подобает сомневаться в небесной благодати, ибо, отчаиваясь, он как раз и отказывается от спасения, которое мог бы обрести через отпущение грехов, а к этому приводит покаянье и набожность. Наконец я предложил ему тут же исповедаться мне, излить свою душу, как перед Богом, и, со своей стороны, заверил, что отпущу ему любой грех, в котором он покается, но он сорвался с места, брови его вплотную сдвинулись, глаза загорелись; только что бледный, как мертвец, он весь вспыхнул и взорвался пронзительным криком:

— А ты-то сам безгрешен, что ли, как же ты смеешь лезть мне в душу и сулить мне отпущение, будто ты праведнейший или сам Господь... Ты же глумишься над Ним, подумай лучше о своем собственном спасении, ибо уж твоим-то грехам прощения не будет, как ни корчись и как ни домогайся неба: не навсегда ли оно тебе закрыто? Низкий притворщик, час воздаяния грядет, ты, раздавленный, как ядовитый червяк, задержась в пыли, позорно издыхая; тщетно ты будешь звать на помощь, тщетно возжаждешь избавления от муки, ей нет названия, и ты обезумеешь и отчаешься перед вечной гибелью.

Он кинулся прочь; я был сокрушен, уничтожен, от моей выдержки и отваги не осталось и следа. Я увидел Евфимию, на ней была шляпка и шаль, она вышла из замка на прогулку. Она была единственной моей пособницей; на кого я мог еще надеяться, если не на нее? Я побежал к ней навстречу, и она ужаснулась, увидев мое смятение; она спросила, что произошло, и я точно описал мое объяснение с полоумным Гермогеном, добавив к этому, что опасаясь, не выдала ли ему нашу тайну какая-нибудь невероятная оплошность. Евфимия несколько не встревожилась, только так улыбку в ответ, что я испугался едва ли не больше прежнего; она сказала:

— Давай углубимся в парк, здесь предостаточно соглядатаев, а возбуждение преподобного отца Медардуса при беседе со мной бросается в глаза.

Мы уединились в отдаленной куще, и она заключила меня в объятия с ненасытным

пылом; ее горячие, знойные поцелуи просто жгли.

— Спокойствие, Викторин, — говорила Евфимия, — твои страхи и сомнения неосновательны; это даже к лучшему, что так вышло с Гермогеном; теперь у меня есть повод поговорить с тобой о том, в чем я не признавалась даже тебе.

Ты не будешь спорить, моя духовная сила с редким искусством берет верх над жизнью, окружающей меня, и я склонна думать, что в подобном искусстве вам не сравниться с женщиной. Правда, для этого мало самого неописуемого, самого неотразимого телесного очарования, которым наделяет женщину природа; требуется еще и нечто высшее, чтобы усилить свою красоту духовным влиянием и располагать ею по своему усмотрению. Это высшее в том, чтобы чудом вознестись над собой, с другой точки зрения взглянуть на свое «я», как на послушное орудие верховной воли в завоевательном стремлении к цели, выше которой нет ничего в жизни. Что может быть выше, чем власть жизни над жизнью, когда все ее прелести и драгоценные сокровища в твоём распоряжении и твоё волшебство помывает всем этим?

Ты, Викторин, всегда был из тех немногих, кто вполне понимал меня, и ты наметил себе точку зрения над самим собой, и потому я готова была признать тебя моим супругом и государем на престоле моего надмирного царства, где я царица. Наш союз еще сладостнее, ибо он тайный; мы разыграли разлуку, чтобы было где витать нашим прихотливым фантазиям, подшучивающим над подлыми буднями, как над своей челядью. Вот мы вместе, и разве одно это — не насмешливый вызов, бросаемый высшим духом сковывающему убожеству общепринятого? Пускай ты сейчас чужой самому себе — и не только благодаря облачению, — зато я сознаю, что само духовное в тебе признало над собой высшую определяющую власть и чудотворно распространяется, придавая наружности умышленную форму и образ, чтобы она выглядела, как ей велено. Тебе ли не знать, как я из глубины моих воззрений, в которых проявляется истинное мое существо, уничижаю узаконенные узы, своенравно играя ими.

Барон для меня — лишь машина, опротивевшая до невозможности; она кое-как служила мне, но теперь отказали шестеренки.

До Рейнгольда мне вообще дела нет, он ходячая посредственность; Аврелия — сущий ангелочек, остается Гермоген.

Ты уже знаешь, он очаровал меня при первой встрече. Я вообразила, будто ему доступна высшая жизнь, стоит мне только ему открыть ее, то было мое первое и единственное заблуждение.

Он оказался моим противником, постоянно и упорно посягающим на мою правоту, как будто его отвращало само мое обаяние, без всяких усилий с моей стороны завораживающее других. Его холодность, его мрачная замкнутость, сама его чарующая неприступность дразнили меня, побуждали вступить в битву, нанести ему неминуемое поражение.

Я была готова к битве, когда узнала от барона, что Гермоген отказался наотрез вступить со мной в брак, на чем настаивал отец.

— Тут поистине божественной искрой вспыхнула во мне мысль самой женить на себе барона и тем самым раз навсегда убрать с дороги жалкие косные установления со всей их омерзительной принудительностью; впрочем, я достаточно подробно обсуждала с тобой, Викторин, этот прожект; ты сомневался, а я действовала; несколько дней потребовалось мне для того, чтобы старик расчувствовался, одурел от любви и счел мое намерение своей собственной сокровенной мечтой, которую он не отваживался высказать и которая, на его счастье, сбывается. Однако у моего столь удачного прожекта была своя обратная сторона: месть Гермогену, теперь вполне осуществимая и тем более приятная. Я отсрочила удар для вящей меткости и беспощадности.

Если бы я меньше тебя знала, если бы не убедилась в том, что в твоих помыслах ты не ниже меня, я бы, пожалуй, не стала тебе расписывать с полной откровенностью эту историю. Я поставила себе задачу пронять Гермогена до глубины души; я притащилась в столицу такая унылая, такая отрешенная, что составляло интереснейший контраст с Гермогеном,

этим беззаботным весельчаком офицериком, искренне увлеченным своей службой. Дядина хворь исключала светский блеск, я отстранилась даже от моего интимного круга.

Гермоген нанес мне визит скорее всего для того, чтобы оказать должное почтение мне как матери; он не привык видеть меня такой задумчивой и пасмурной, а когда он, встревоженный столь необычным для меня настроением, стал допытываться, что со мной, я поведала ему в слезах, как удручает меня пошатнувшееся здоровье барона, не желающего признаться в своем недуге, а меня убивает мысль о скорой утрате. Гермоген дрогнул, а когда я рассыпалась в чувствительных и живописных излияниях по поводу моего счастливого супружества, когда в деталях обрисовала ему нашу идиллическую сельскую жизнь, когда превознесла великолепные душевные качества барона, представив его в настоящем ореоле, так что в новом свете выступило мое обожание и моя самоотверженная преданность, от меня не ускользнуло его восхищенное сочувствие, возраставшее на глазах. Он, видимо, еще не сдался, но нечто вошло в его душу вместе со мной и одержало победу над моим внутренним противником, таким неумолимым до сих пор; мой триумф не вызывал у меня сомнений, когда Гермоген вернулся на следующий же вечер.

Я сидела одна и томилась и страдала еще заметнее, чем вчера; у меня не было другой темы для разговора, кроме барона, о котором я так тоскую; я прямо-таки рвалась к нему. А Гермоген был уже не прежний; он ловил мои взоры, и к нему в душу западал их пламень, грозящий пожаром. Он держал меня за руку, и я чувствовала, какая судорога сводит его руку и какие глубокие вздохи сотрясают его грудь. Я уже предвидела пик его неосознанного возбуждения и сама назначила вечер моего окончательного торжества. Что ни говори, банальные, но испытанные навыки оправдывают себя, и я не раскаялась, прибегнув к ним. Он пал.

Я не думала, что навлекая на него такие бедствия, но тем полнее моя победа, тем бесспорнее моя власть, именно в них явившая свой грозный блеск.

Я силой сломила его внутреннее сопротивление, сказывавшееся в нем до сих пор лишь смутными тревогами, но при этом пострадал и его разум, отсюда его помешательство; до сих пор тебе были известны его симптомы, но не причина.

Как ни странно, сумасшедшие, словно бы более причастные духу, вроде бы нечаянно, но часто в глубине души заражаются стихией чужого духа, часто постигают затаенное в нас, выдают свой опыт непривычными отзвуками, и чудится, не второе ли наше «я» говорит зловещим голосом, вызывая озноб веяньем сверхъестественного. Ты, я и Гермоген соприкасаемся необычным образом, и не исключено, что ты подвержен его таинственной пронизательности и потому он тебя ненавидит, хотя нам его ненависть ничем не угрожает. Сам посуди, допустим, он открыто против тебя ополчится и заявит: «Остерегайтесь попа, он ряженный», — что это такое будет, если не навязчивая идея полоумного, когда сам Рейнгольд по доброте своей подтвердил, что ты отец Медардус?

К сожалению, приходится смириться с тем, что мои расчеты не оправдались и тебе теперь не покорить Гермогена. Что ж, я все равно отомстила, и Гермоген для меня не лучше опостылевшей куклы, но его присутствие для меня тем нестерпимее, что, сдастся мне, видеть меня — для него покаянное самоистязание, вот он и таращит свои глаза живого мертвеца, куда бы я ни пошла. Прочь его; я надеялась, ты согласишься мне, окончательно внушишь ему, что его место в монастыре, а барона и участливого Рейнгольда поколеблешь назойливыми заверениями, будто лишь в монастыре Гермоген спасет свою душу, и они уступят.

Гермоген омерзителен мне до невозможности, у меня с души воротит от одного его вида, спровадить его, и кончено!

Одна Аврелия смотрит на него другими глазами, эта девственно набожная девочка; используй же хоть Аврелию, чтобы добраться до него, я постараюсь свести тебя с ней поближе. Может быть, обстоятельства позволят тебе, или ты сам найдешь повод озадачить Рейнгольда да и барона сообщением, будто Гермоген покался тебе и он действительно отпетый преступник, а твой сан, разумеется, обязывает тебя хранить тайну исповеди. Это мы

еще обсудим!

Итак, Викторин, я все тебе рассказала, предприми что-нибудь, а сам оставайся моим. Давай властвовать над этими неуклюжими болванчиками, которые кружатся вокруг нас. Заставим жизнь одаривать нас роскошнейшими удовольствиями, нисколько при этом не стесняя нас.

Вдалеке показался барон, и мы двинулись ему навстречу, как будто мы только его и ждали, чтобы продолжить наши набожные рацеи.

Евфимия раскрыла мне преобладающую тенденцию своей жизни, и, по-видимому, только в этом я и нуждался в моем развитии, постигая торжествующую мощь, излившуюся мне в душу как бы свыше. Я приобщился к сверхчеловеческому и вдруг возвысился над самим собой, увидев мир с другой точки зрения, так что размеры и краски существующего разительно изменились. Полновластие духа, господство над жизнью, все, чем хвалилась Евфимия, вызывало во мне язвительную горечь. Она мнила, горемычная, будто дерзко играет рискованнейшими перипетиями обстоятельств, а сама была безвольной игрушкой моих прихотей, и ее судьба зависела от мановения моей руки. Это моя сила, воспламененная нездешними стихиями, принудила считать своим другом и товарищем того, кто, заморозив ее случайным сходством с тем другим, держал ее в когтях беспощаднее заклятого врага, так что свобода только мерещилась ей. Евфимия со своим тщетным, бредовым самомнением не заслуживала в моих глазах ничего, кроме пренебрежения, и я уже брезговал ее любовью, так как Аврелия вселилась в меня и она одна была бы виновницей греха, совершенного мной, если бы я признавал грехом то, что стало для меня высшим цветом земной радости. Я отваживался вполне употребить власть, гнездящуюся во мне, схватить волшебную палочку и обвести непререкаемыми кругами все предметы, которым предстояло двигаться в этих кругах, забавляя меня.

Барон и Рейнгольд прямо-таки состязались в стремлении удержать меня всеми благами гостеприимства; им и не снилось, что связывает меня с Евфимией; напротив, барон, склонный к сердечным излияниям, признавался, что это я вернул ему Евфимию, и отсюда я мог заключить, как недалек был от истины Рейнгольд: пожалуй, барону и впрямь не остались неизвестными запретные похождения его супруги. С Гермогеном я почти не встречался, мое общество явно страшило и стесняло его, а барон и Рейнгольд видели в этом смятение душевнобольного, по-своему благоговееющего перед моей праведностью, проникательностью и духовной силой. И Аврелия как будто тяготилась моими взорами, уклоняясь по возможности от встреч со мной, а когда я обращался к ней, она уподоблялась Гермогену в пугливой растерянности. Я почти не сомневался, что этот бесноватый выдал ей жуткие побуждения, обуревавшие меня, однако я надеялся рассеять эти страхи.

Когда барон обратился ко мне с просьбой преподать его дочери высшие тайны догматов, я сообразил, что обязан этим Евфимии, которая задумала воздействовать на Гермогена через его сестру. Так Евфимия сама указывала мне способ овладеть прекраснейшей добычей, которую моя огненная мечта изображала, прельщая меня тысячами соблазнительных фантазий. Разве видение в церкви не было ниспослано высшей властью, действенной во мне, чтобы заверить меня: она будет моею, и ничто, кроме нее, не умиротворит вихря, свирепствующего во мне и обрекающего меня бешенству волн.

Я пламенел, увидев Аврелию, приблизившись к ней, коснувшись ее платья. Кипучая кровь устремлялась в таинственную мастерскую моей мысли, и я излагал чудесные тайны вероучения в зажигательных притчах, чей глубинный смысл сводился к чувственному буйству пылающей ненасытной любви. Пыл моих излияний должен был поразить Аврелию электрическим током, заранее обезоружив ее.

Притчи, вверженные ей в душу без ее ведома, должны были там диковинно произрасти, распространиться сияющим огнем своей глубинной сути, заселить ее грудь предвкушениями негаданных усад, чтобы она, изнуренная, израненная несказанным влечением, сама упала бы в мои объятия. Я кропотливо обдумывал мои так называемые уроки, я искусно нагнетал напряжение моих высказываний, а смиренная девица внимала мне, молитвенно сложив руки,

не смея даже заглянуть мне в глаза, но ни малейшее содрогание не говорило о том, что мои слова тронули ее.

Мои потуги ни к чему не привели; нет, не Аврелию разжигал я, соблазняя гибелью, а всего лишь самого себя истязал пламенем, которое и без того беспощадно снесало меня.

Неистовствуя от боли и вожделения, я ломал себе голову злоумышлениями против Аврелии, а перед Евфимией разыгрывал экстаз и самозабвенную страсть, хотя в глубине души ненавидел ее все пламеннее и вымещал этот непостижимый разлад, когда виделся с баронессой, уже содрогавшейся от моего сладострастного бешенства.

Ей было невдомек, что я таю в моей груди, и невольно она уступала моему тиранству, все более неограниченному и прихотливому.

Все чаще пытался я измыслить какое-нибудь хитроумное насилие, перед которым Аврелия пала бы, утолив мои нестерпимые желания, но стоило мне увидеть ее, и мне представлялся рядом с нею ангел-хранитель, своим покровом отворачивающий вражеские козни. Тогда я трепетал всем телом, и мой злой умысел бывал убит холодом. Наконец меня осенило: что, если мне помолиться с ней, ведь молитва тоже воспламеняет, хоть это и богоугодное пламя, однако и от него происходит тайное возбуждение души, и вот оно уже вызывает бурные волны и, как спрут, вытягивает щупальца в поисках неведомой добычи, без которой грудь разорвется от невыразимой жажды. Не выдаст ли тогда себя земное за небесное, не предстанет ли оно возбужденному чувству обетованием доступного, но преизобильного, наивысшего, блаженнейшего свершения; безрассудная страсть обознается, и алкание горней святыни прервется безмянным неиспытанным восторгом дольного сладострастия.

К тому же я сильно рассчитывал на молитвы, сочиненные мною специально для Аврелии; повторяя их, она должна была поддаться моему коварству.

И я не ошибся!

Она вся вспыхнула, коленопреклоненная рядом со мною, возведя очи горе, вторя моей молитве, и перси ее всколыхнулись.

Тогда я как бы в молитвенном рвении взял ее за руки и прижал их к моей груди; она была так близко, что я чувствовал тепло ее тела, ее струящиеся локоны коснулись моих плеч, я потерял голову от неистового желания, я обнял ее в диком пылу и уже обжег поцелуями ее рот, ее перси, но, пронзительно крикнув, она уклонилась от моих объятий, и я не удержал ее, иначе меня сокрушила бы молния, сверкнувшая с небес.

Она устремилась в соседнюю комнату; дверь открылась, и появился Гермоген, он не двигался, уставившись в меня страшным, ужасным взором бесноватого. Я собрался с силой, вызывающе шагнул к нему и крикнул строптиво и заносчиво:

— Чего ты хочешь? Убирайся, полоумный!

Но Гермоген простер ко мне десницу с приглушенным криком, нагоняющим ужас:

— Я бы предложил тебе поединок, но пришел без меча, а на тебе убийство; у тебя глаза налились кровью, и кровь запеклась на твоей бороде.

Он скрылся, яростно хлопнув дверью и оставив меня одного скрежетать зубами над моей опрометчивостью: меня захватила минута, а теперь я пропал, если меня выдадут. Но пока никого не было, и, располагая временем, я осмелел, а дух, гнездящийся во мне, подстрекнул меня к действиям, отводящим удар, который могло навлечь на меня мое беспутство.

Улучив подходящий момент, я поспешил к Евфимии и с вызывающей дерзостью во всех подробностях описал происшествие с Аврелией. Евфимия не стала шутить над моим промахом, как я предпочел бы, и я убедился, что хваленое полновластие духа и высшая точка зрения вполне совместимы с придиричливой ревностью; вдобавок ее беспокоила Аврелия, имевшая все основания пожаловаться на меня, а тогда не мог не потускнеть мой святительский нимб, да и наша с ней тайна оказалась бы под угрозой. О Гермогене с его зловещими словами, до сих пор сверлившими мне душу, я не упомянул; опасаясь сам не знаю чего.

Несколько минут Евфимия не отвечала мне, только пристально, неотступно и загадочно смотрела на меня, как бы погрузившись в раздумье.

— Угадаешь ли ты, Викторин, — произнесла она наконец, — какая великолепная мысль, истинная находка даже для моего духа, только что пронзила меня!

Где тебе, напряги же крылья, иначе ты отстанешь от меня, я взлетаю высоко. Конечно, я диву даюсь, как это ты вместо того, чтобы вознестись над жизнью со всеми ее приметами и частностями, пасуешь перед хорошенькой девочкой и, едва опустившись рядом с ней на колени, перестаешь владеть собой и лезешь к ней с объятьями и поцелуями, однако я не осуждаю тебя за твою слабость. Насколько я знаю Аврелию, стыд не позволит ей пожаловаться, и она разве что измыслит предлог, чтобы уклониться от твоего слишком пылкого преподавания. Так что твоя распушенность и твоя неумная похоть не грозят нам, по-моему, сколько-нибудь существенными неприятностями.

Не скажу, что я ненавижу Аврелию, вовсе нет, но меня злит эта тихоня, эта святоша, ведь, в сущности, она отъявленная гордячка. Представь себе, я унизилась до заигрывания с нею, а ей хоть бы что, она все такая же неприступная, скрытная и недоверчивая. Вот что восстановило меня против нее: ее вечная неподатливость и уклончивая строптивость в отношении меня.

И вот грандиозная мысль: увидеть этот цветочек, столь гордый великолепием своей блестящей расцветки, сорванным и поблекшим.

Надеюсь, ты окажешься на высоте моей грандиозной мысли, а уж средства, позволяющие безошибочно и без труда достигнуть цели, не заставят себя ждать.

Кстати, это способ оговорить Гермогена и избавиться от него.

Евфимия продолжала расписывать свой план, и каждое ее слово усугубляло мое отвращение к ней, так как она представлялась мне теперь лишь падшей женщиной и преступницей, и как я ни вожделел Аврелии, желая, следовательно, ее гибели, ибо только так я мог утолить неистовую беспредельную любовь, изводившую меня, соучастием Евфимии я брезговал и без обиняков отверг ее наущение, вознамерившись в глубине души полагаться лишь на самого себя и преуспеть без ее навязчивого пособничества.

Баронесса не ошиблась: Аврелия действительно не покидала своей комнаты, отговариваясь недомоганием, так что ее отказ от ближайших уроков был вполне извинительным. Поведение Гермогена несколько изменилось. Он больше не избегал барона и Рейнгольда и как будто живее откликался на внешние впечатления, зато участились припадки дикой вспыльчивости. Станным образом барон и Рейнгольд относились ко мне теперь иначе. Их любезность и предупредительность с виду оставались прежними; казалось, однако, что их угнетает некая задняя мысль, и наши беседы безнадежно утратили сердечность, оживлявшую их прежде. Скованность и холодность обоих настораживали меня, и во власти разных подозрений я вынужден был делать над собой серьезное усилие, чтобы не выдать своей тревоги.

Я достаточно понимал взгляды Евфимии, чтобы сообразить: положение осложнилось, и она взволнована, однако весь день нам не удавалось уединиться для откровенного разговора.

Глубокой ночью, когда все обитатели замка уже спали, обои в моей комнате раздвинулись, обнаружив дверь, о которой до сих пор я не имел ни малейшего представления. Ко мне вошла Евфимия, и я никогда еще не видел ее в таком смятении.

— Викторин, — сказала она, — мы в опасности. Гермоген, сумасшедший Гермоген что-то учуял, напал на след и разведал нашу тайну. Его вещий бред не лишен значения, в нем слышатся устрашающие прорицанья той темной силы, которая движет нами, и барон прислушивается к ним, он подозревает и без всяких объяснений мучит меня своей слезкой.

Правда, Гермоген вряд ли пронюхал, что святым вырядился именно ты, граф Викторин, однако он настаивает на том, что в тебе таится злокозненное предательство нам на погибель, что сам дьявол проник в дом с монахом-втирушей, отсюда сатанинская зараза и проклятье измены.

Дальше так продолжаться не может, я устала под гнетом ребячливого старца, который

к тому же страдает ревностью и вздумал учинить надзор за каждым моим шагом. Мне наскучила эта игрушка, я выброшу ее, и ты, Викторин, подчинишься на этот раз моему замыслу, ибо только таким путем ты сохранишь свое инкогнито, а иначе ты попадешься, и наша изысканная связь, гениальное изобретение нашего духа, уподобится вульгарному семейному маскараду, тошнотворной пище для сплетен и злословия. Прочь докучного старца, а как это лучше сделать, мы обсудим, — по-моему, поступить нужно так:

Как ты заметил, Рейнгольд по утрам хлопочет по хозяйству, а барон гуляет в горах, он ведь любитель природы. Прокрадись в парк пораньше и присоединись к нему невзначай. Отсюда рукой подать до диких, страшных скал; когда взберешься на скалу, перед глазами развернется черная бездна, а прямо над бездной торчит так называемый Чертов Трон. Народ выдумал, будто над бездной клубится ядовитая дымка, одуряющая того, кто осмеливается заглянуть в бездну, так что он срывается в пропасть, и ему нет спасения. Барон высмеивает эту сказку, он повадился, стоя над бездной, любоваться окрестными красотами. Только подзадорь его, и он сам тебя проводит на это пресловутое место; он там встанет, воззрится на окрестности; один удар твоего крепкого кулака — и его старческое слабоумие больше никогда не будет стеснять нас.

— Этому не бывать, — вспылил я, — мне знаком этот гибельный обрыв, знаком Чертов Трон, и этому не бывать. Сгинь вместе с гнусностью, которой ты от меня ждешь!

Евфимия так и взвилась, взор ее дико сверкнул, ее лицо искривилось гримасой бешенства, бушевавшего в ней.

— Малодушный, — вскричала она, — ты с твоей глупой трусостью дерзаешь мне перечить? Тебе дороже позорное ярмо, чем держава, разделенная со мною? Но тебе не вывернуться, ты у моих ног и у меня во власти. Изволь повиноваться, завтра же устрани того, кого я не желаю больше видеть.

Она говорила, а меня подстрекнуло глубочайшее презрение к ее ничтожному бахвальству, и с едкой издевкой ответил я ей раскатистым смехом, и она содрогнулась, и на ее лице проступила мертвенная бледность, выдававшая страх перед роковым предначертанием:

— Сама ты сумасшедшая, — кричал я, — ты мнишь себя царицей жизни, ты считаешь жизнь своей игрушкой; смотри, как бы эта игрушка не заострилась в твоей руке и не пронзила тебя насмерть! Знай, несчастная, я, над которым ты якобы властвуешь в твоём немощном бреду, я твой рок, а ты моя узница, и твоя кощунственная игра — всего лишь корчи хищника, прикованного в клетке. Знай, несчастная, твой дружок расшибся вдребезги в той самой бездне, и ты ласкала не меня, ты ласкала вездеход! Сгинь же в отчаянье!

Евфимию зашатало, она бы рухнула на пол в конвульсиях, но я подхватил ее и выставил через дверь в обоях, откуда она пришла. Я был не прочь прикончить ее, не знаю, что меня удержало; запирая дверь в обоях, я всерьез считал, что дело сделано. Я же слышал пронзительный крик, да и двери уже хлопали.

Так и я поднялся на некий пьедестал и свысока взглянул на суету низменной человечности; где один удар, там и другой, и если я объявил себя духом возмездия, я должен был ужаснуть. Евфимия была обречена; сверхчеловеческому духу, гнездившемуся во мне, было угодно только одно: сладострастное единение жгучей ненависти с пламенной любовью. Я должен был уничтожить Евфимию и в тот же миг овладеть Аврелией.

Оказывается, я недооценил внутреннюю силу Евфимии, позволившую ей блистать утром как ни в чем не бывало. Она сама призналась, что ночью она сначала, как сомнамбула, страдала от луны, а потом от спазм; барон, казалось, ей сочувствовал, Рейнгольд, судя по его взгляду, не очень-то ей верил. Аврелия оставалась в своей комнате, ее отсутствие меня бесило. Евфимия пригласила меня к себе, когда все уюмонятся, а мне было не впервой прокрадываться к ней.

Вообще же ее приглашение меня окрылило, ибо близилось мгновение, когда свершится ее злая судьба. В складках моей рясы я спрятал острый ножик, служивший мне с детства (я искусный резчик по дереву). Теперь я решил на убийство и отправился к ней.

— Помнится, — начала она, — вчера нас обоих одолел тяжкий морок, на нас веяло безднами, но все прошло.

И по обыкновению, мы с ней предались прихотливому разврату; с моей стороны это было дьявольское надругательство над ней, и я испытывал извращенное наслаждение, барахтаясь в ее срамной скверне. Она лежала в моих объятиях, когда выпал мой ножик; она вздрогнула, словно смерть коснулась ее, а я снова спрятал его, отсрочив убийство, для которого предназначалось уже другое оружие.

Евфимия заранее распорядилась поставить на стол итальянское вино и сладости.

«Куда девалась ее хитрость?» — подумал я, ловко подсунул ей свой стакан и для виду отдал должное сладостям, которые между тем ронял в свои широкие рукава. Я выпил один стакан вина, потом другой, потом третий, но всякий раз это был ее стакан. Вдруг она притворилась, что слышит шум, и поспешила отослать меня.

По ее расчетам я должен был умереть в своей комнате! Я прокрался по длинным полутемным коридорам; вот и комната Аврелии, я стоял у ее двери как зачарованный.

Мне виделась она, она парила передо мною, преисполненная любовью, как в том видении; она влекла меня за собою, и я не мог не последовать за ней. Дверь открылась, послушная моей руке; я был уже в комнате, дверь в будуар была приоткрыта, оттуда тянуло духотой; одуряющее веянье пуще распалило меня, я задыхался.

Из будуара доносились глубокие жалобные вздохи; даже ей, наверное, снилось предательство и убийство; я слышал, как она молится во сне.

«Торопись, торопись, что ты медлишь, мгновенье промчится», — подталкивало меня изнутри нечто непостижимое.

Я шагнул было в кабинет, когда тишина позади меня взорвалась криком:

— Ах ты, презренный! Брат убийца! Наконец-то ты мне попался! — Казалось, меня схватил великан.

То был Гермоген; мне потребовалась вся моя сила, чтобы вырваться; я бросился прочь, но он снова вцепился в меня сзади и в бешенстве принялся грызть мне шею.

Я не помнил себя от боли и ярости, но осилить его мне не удавалось; наконец я изо всех сил оттолкнул его, а когда он снова напал на меня, я нашарил мой ножик; я пырнул его раза два, он захрипел и повалился на пол. Глухой шум разнесся по всему коридору, ибо поединок отчаянья выдворил нас из комнаты.

Гермоген упал, а я как затравленный зверь устремился вниз по лестнице; по всему замку надрывались уже голоса: «Убийство! Убийство!»

В темноте мельтешили горящие свечи, поспешные шаги слышались в длинных коридорах; страх сбил меня с толку и загнал меня на безлюдную угловую лестницу.

Шум и свет преследовали меня, уже поблизости от меня слышался ужасающий крик: «Убийство! Убийство!» Я узнал голоса барона и Рейнгольда, они науськивали слуг.

Как ускользнуть, где притаиться?

Когда я шел убивать Евфимию ножом, которым только что зарезал безумного Гермогена, я думал, что просто выйду с окровавленным орудием убийства в руке и в страхе перед моей таинственной властью никто меня не остановит; однако теперь я сам изнывал от смертельного страха. Наконец, наконец я выбрался на спасительную лестницу; суতোлка переместилась в комнаты баронессы, вокруг стало потише; я спустился в три могучих прыжка, портал был в нескольких шагах. В коридорах снова задрезжал пронзительный крик; что-то подобное я уже слышал в прошлую ночь.

«Так она мертва, она убита ядом, который предназначала для меня», — невнятно сказал я себе. Из комнат Евфимии снова хлынул свет. Аврелия отчаянно взывала о помощи. И снова ужасный вопль: «Убийство! Убийство!» Это несли труп Гермогена.

«Не упустите убийцу», — я узнал голос Рейнгольда.

Я не мог сдержать гневного смеха, его отзвуки гудели в коридорах и в зале, и мой голос был не менее страшен:

— Безумцы, вы хотите изловить рок, обрушившийся на преступных богохульников?

Они услышали меня, они столпились на лестнице недвижно, как зачарованные. Я больше не думал о бегстве, я бы вышел к ним, я бы громовыми глаголами поведал о Божьем отмщении, постигшем святотатцев. Однако — о ужас! — передо мной возник Викторин весь в крови, оказывается, то были его слова.

Ужас шевелил волосы у меня на голове; обезумев от страха, я бросился в парк!

Выбравшись оттуда, я услышал, что меня преследует конский топот; силы оставили меня, а надо было спастись; корень дерева — и тот подстерегал меня; я споткнулся, и лошади встали надо мной. То был егеря Викторина.

— Спаси вас Христос, милостивый господин, — сказал он, — в замке что-то неладное. Кричат об убийстве. Вся деревня поднялась. Все может быть; хорошо еще, что ангел внушил мне седлать коней и скакать сюда из городка; ранец приторочен к седлу, в нем вы найдете все, что вам требуется, милостивый господин. Ведь нам с вами не по дороге, там ведь что-то худое приключилось, не правда ли?

Я подтянулся и, садясь в седло, отправил егеря обратно в городок, обещав потом с ним снестись. Как только темнота поглотила его, я покинул седло и, стараясь не шуметь, повел лошадь в еловые дебри, черневшие передо мной.

Раздел третий. ПУТЕШЕСТВИЕ С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ

Первые лучи солнца, засиявшие сквозь темную еловую хвою, я встретил на берегу ручья; каждый камешек был виден сквозь его веселые, чистые струи. Нелегко было пройти с лошадью через лесную чащу, но теперь лошадь спокойно стояла рядом со мной, и пришло время заняться ранцем, притороченным к седлу.

Ранец снабдил меня бельем, костюмом, да еще в руки мне попал кошелек, туго набитый золотом.

Я не замедлил переодеться и, найдя в несессере миниатюрные ноженки с гребешком, остриг себе бороду и, как умел, поправил себе волосы. Я избавился от рясы, в которой нашелся и роковой ножик, и Викторинов бумажник, и фляга с дьявольским эликсиром (я еще не до дна осушил ее), и когда я, вырядившись на светский манер, примерив дорожную шапочку, увидел свое отражение в ручье, я не без некоторого усилия отождествил себя с интересным незнакомцем. Опушка леса была совсем близко; вдалеке я увидел клубящийся дым, услышал умиротворяющий колокольный звон и понял, что нахожусь в окрестностях селения. Не успел я подняться на небольшую возвышенность, как передо мной распростерлась уютная живописная долина, в которой виднелось большое село. Я выбрался на извилистый большак и, как только рискованная круча осталась позади, взгромоздился на лошадь, чтобы хоть немного приноровиться к неведомому мне искусству верховой езды.

Спрятав рясу в дупле и вверив дремучему лесу все улики, неблагоприятные для меня, я как бы сбросил с себя и мрачную тень замка; ко мне вернулось хорошее расположение духа, и я даже подумал, не моя ли раздраженная фантазия явила мне обезображенного, окровавленного Викторина и не вдохновленный ли свыше внутренний голос помимо моей воли прозвучал в моих последних словах, брошенных в лицо преследователям, чтобы отчетливо засвидетельствовать истинную таинственную неотвратимость моего якобы случайного появления в замке и моих действий.

Не сам ли правосудный рок избрал меня, чтобы наказать кощунственное посягательство да еще спасти душу грешника в самой его гибели? Лишь Аврелия светлым видением продолжала витать во мне, и едва я помышлял о ней, у меня буквально ныло сердце.

Однако во мне крепла уверенность, что чужбина может свести меня с нею и она не устоит передо мною, ибо ей тоже не жить без меня.

Я заметил, что встречные останавливаются и удивленно провожают меня глазами, а сельский трактирщик, взглянув на меня, так опешил, что едва находил слова, и я струхнул не

на шутку. Пока я сидел за завтраком, а моей лошади тоже задали корму, в распивочной собрались крестьяне и начали шептаться, косясь на меня, как на какого-нибудь лютого зверя.

Их полку скоро прибыло, и уже настоящая толпа ротозеев теснилась вокруг, пялясь на меня с бестолковым любопытством. Я не без труда делал вид, что не обращаю на них внимания, и, во всеуслышанье кликнув хозяина, велел оседлать мою лошадь и приторочить ранец. Он удалился, криво ухмыляясь, но отсутствовал недолго: вслед за ним в трактир ввалился высоченный мужлан, шагнувший ко мне с курьезной солидностью и строгой миной, как полагается при исполнении служебных обязанностей. Он испытующе воззрелся на меня. Я же храбро ответил взглядом на взгляд, и вот мы уже стояли друг против друга лицом к лицу. Тут уже он несколько спасовал и как бы в поисках поддержки переглянулся с толпящимися тут же односельчанами.

— Ну, выкладывайте, — поднял голос я, — я вижу, вам не терпится поговорить со мной.

С достоинством откашлявшись, как лицо с весом, он заговорил, силясь придать своему голосу надлежащую сановитость:

— Вам, господин, отбыть отсюда не дозволяется, пока вы не поставите в известность нас, тутошнего судью, кто вы есть по всем категориям, сиречь откуда вы родом, каково ваше сословие и звание, а также откуда вы прибыли и куда держите путь, по всем категориям, то есть местоположение, наименование, округ и город и все, соответственно, а кроме того, надлежит вам предъявить нам, то есть судье, паспорт, прописанный и подписанный, с печатью по всем как есть категориям, как предписано и установлено.

До того момента мне, признаться, и в голову не приходило, что негоже путешествовать безымянному, и уж совсем я не учитывал, как диковинно я выгляжу, с грехом пополам обкорнав себе бороду, и как не идет мне костюм, не свойственный монашескому благолепию, что на каждом шагу будет навлекать на мою особу досадное подозрение и расследование. Так что бдительность сельского судьи застала-таки меня врасплох, и я никак не мог измыслить ничего вразумительного. Оставалось положиться на то, что смелость города берет, и я начал как можно тверже и бестрепетней:

— Обстоятельства вынуждают меня избегать огласки, и потому паспорта вы от меня не дождетесь, но имейте в виду: я человек с положением, и вам лучше не приставать ко мне с неуместными формальностями.

— Ого! — рывкнул сельский судья, вытащив объемистую табакерку, куда вместе с ним норовили наведаться за изрядной щепотью по крайней мере пятеро его подручных, — ого, а ну-ка потише, господин хороший! Уж соблаговолите, ваше превосходительство, не брезговать нами, то есть судьею, да и паспорт вам показать придется, без этого нельзя, ибо, по правде сказать, здесь в горах последнее время повадились шнырять такие образины, что не приведи Господи; нападут из чащобы, и поминай как звали; ни дать ни взять сам, не к ночи будь помянут, и впрямь это окаянное племя, тати, грабители, устраивают засады на проезжающих, творят всяческие пакости, то пожар устроят, то прирежут кого-нибудь, а вы, господин хороший, не в обиду будь сказано, выглядите не по-людски и уж больно смахиваете на одного супостата, ихнего главаря, то есть все приметы налицо, по всем категориям, согласно описанию и предписанию, что получено нами, сиречь судьей. Так что хватит ломаться и рассусоливать, давай паспорт, или посадим в кутузку!

Убедившись, что голыми руками этого верзилу не возьмешь, я вынужден был испробовать другую тактику:

— Достопочтенный господин судья, — заговорил я, — если бы вы нашли возможным удостоить меня беседы с глазу на глаз, я бы без труда устранил все ваши сомнения и вверил бы вашему благоразумию тайну моего слишком броского, по-вашему, обличил и костюма.

— Он тайну откроет, ха-ха! — гаркнул судья. — Сдается мне, я наперед его раскусил; ну, да ладно, оставьте нас, люди добрые, только, чур! — следите за окнами и дверями; ни единой живой души не впускать и не выпускать!

Когда все вышли, я начал:

— Войдите в мое положение, господин судья: мне приходится спасаться бегством; слава Богу, друзья пособили мне, а то я так и изнывал бы в заточенье под угрозой насильственного пострига, а уж из монастыря, сами знаете, не убежишь. Позвольте мне не распространяться подробнее обо всех превратностях моей горестной жизни; зложелательство моей семьи преследует меня ковами и кознями, а все потому, что я влюбился в девушку простого звания. Видите, у меня даже борода выросла, пока я томился в неволе, и тонзурой меня уже заклемили, и рясу на меня напялили. Переоделся-то я только здесь в лесу, уже в бегах, за мной ведь гонятся. Сами посудите, могу ли я выглядеть иначе, каждый на вашем месте принял бы меня за разбойника. Где я вам возьму паспорт, сами подумайте, но кое-чем я могу удостоверить мою личность и подкрепить мои признания.

С этими словами я достал кошелек, выложил три звонких дуката, и строгая взыскательность господина судьи так и расплылась фамильярной ухмылкой:

— Ваши удостоверения, господин, — ответил он, — разумеется, говорят сами за себя, но не взыщите, по всем категориям они пока еще не сходятся, и уж если вам загорелось подвести итог с натяжкой, удостоверения должны быть соответственные.

Мошенник знал, чего потребовать, и получил еще один дукат.

— Признаю, — сказал судья, — что я дал маху, подозревая вас; путешествуйте себе на здоровье, только привыкайте, если вы уже не привыкли, сторониться большака, держитесь лучше окольных дорог, пока малость не образите вашу личность.

Он раскрыл дверь настежь и громогласно оповестил односельчан, сгрудившихся напротив:

— Этот господин — заправский господин по всем категориям; у нас с ним была конфиденциальная аудиенция, и он дал показания нам, то есть судье; путешествует он инкогнито, сиречь тайком, а вернее, не вашего ума дело как, вот и утритесь, олухи! Счастливого путешествия, милостивый государь!

Теперь крестьяне ломали передо мной шапки в почтительном молчании, а я влезал на лошадь. Я предпочел бы побыстрее миновать ворота, но лошадь вздыбилась, а я, незадачливый, неискушенный всадник, естественно, растерялся; лошадь плясала, пока у меня не закружилась голова, и я бы свалился на землю под оглушительный хохот крестьян, если бы не подбежали мне на помощь судья и трактирщик.

— Лихая же у вас лошадь, — сказал судья, сам чуть не прыснув.

— Лихая лошадь, — повторил я, отряхиваясь.

Меня снова посадили в седло, но лошадь снова вздыбилась, храпя и фыркая, как будто что-то не пускало ее за ворота. Тут старый крестьянин крикнул:

— Эй, посмотрите-ка, у ворот сидит побирушка, старая Лиза; это ее проказы: она не дает проходу коняге, потому что его благородие ничего не подал ей.

Тут и мне бросилась в глаза оборванная старуха, притулившаяся в подворотне; она посмеивалась, не сводя с меня безумных глаз.

— Посторонись, побирушка! — крикнул судья, старуха же взвизгнула:

— Братец в крови пожалел мне грошик, а видите, передо мной валяется мертвяк. Вот лошадь и упирается, и брату в крови никак не проехать, мертвяк-то вскакивает, но я его уложу, если братец в крови раскошелится на грошик.

Судья потащил было лошадь за узду, не слушая старухино визга, однако и он не мог вывести лошадь за ворота, а старуха без умолку надрывалась:

— Братец в крови, братец в крови, давай грошик, давай грошик!

Я полез в карман, бросил деньги ей в подол, и старуха запрыгала, завопила в восторге:

— Хороши грошики, хороши, их подал мне братец в крови, хороши грошики!

Зато моя лошадь громко заржала, сделала курбет, судья не удержал ее, и она оказалась за воротами.

— Ну, вот и видно, что вы, господин, прирожденный наездник по всем то есть категориям, — сказал судья, а крестьяне, высыпавшие за мной следом на улицу, вопили, наблюдая мои ужимки при разных аллюрах моего горячего скакуна:

— Вот это седок так седок! Сущий капуцин, право слово!

Происшествие в деревне, в особенности устрашающие прорицанья юродивой бабки, изрядно меня поразили. Следовало как можно скорее принять меры: при первой же возможности исправить свою внешность, чтобы впредь не привлекать соглядатаев, и назваться каким-нибудь именем; тогда меня труднее будет обнаружить в человеческих скопищах.

Жизнь представлялась мне темным, непроглядным предопределением, и я, неприкаянный, мог только ввериться волнам потока, куда бы он, неудержимый, ни забросил меня. Я был отрезанный ломоть, ничто меня больше не связывало, но и поддержки для меня больше никакой не осталось.

А большак на глазах оживлялся; по всем приметам, впереди угадывался богатый, многолюдный торговый город, и я ехал прямо туда. Немного дней прошло, и я увидел его; ни любопытных взглядов, ни расспросов, здесь было не до меня. В предместье я облюбовал большой дом; его окна были похожи на зеркала, золотой лев с крыльями красовался над дверью. Людское море не оставляло эту дверь в покое своими приливами и отливами, кареты то останавливались, то снова трогались с места, в нижних комнатах звенели стаканы и слышался смех. Не успел я спешиться у двери, как услужливый слуга принял мою лошадь и убрал ее. Расфранченный кельнер, позванивая ключами, встретил меня и повел вверх по лестнице; на втором этаже он еще раз покосился на меня, и мы поднялись на третий этаж, там он отпер для меня комнату поплосе и учтиво осведомился, что мне угодно покуда до обеда, который накрывают к двум часам в зале номер 10 на первом этаже, и тому подобное. «Принесите мне бутылку вина!» Таково было первое мое слово. Наконец-то и мне позволила вставить словечко эта вышколенная хлопотливая услужливость.

Только я уединился, как в дверь постучали, и показалось лицо, до того потешное, что вспомнились личины, которые мне прежде случалось видеть. Остренький красный нос, пара малюсеньких, но блестящих глазенок, продолговатый подбородок и к тому же торчащий, пудренный кок, хотя сзади, как я потом убедился, прическа была сделана под императора Тита, огромное жабо, пламенеющий жилет с двумя внушительными цепочками часов, панталоны, фрак, где зауженный, где мешковатый и, кажется, сшитый так умышленно! Ко мне приближалась фигурка, изогнувшаяся в невероятном поклоне еще в дверях, а в руках сей посетитель держал шляпу, ножницы и гребень, говоря при этом:

— Я здешний цирюльник, благоволите снизойти до моих услуг, до моих смиреннейших услуг.

Эта миниатюрная фигурка, похожая на засушенный осенью летучий лист, была столь курьезна, что я чуть было не расхохотался. Однако я нуждался в цирюльнике и без обиняков осведомился, берется ли он придать приличный вид моей шевелюре, несколько спутанной долгим путешествием да еще испорченной неряшливыми ножницами. Он глянул на мою голову, как требовательный художник, манерно изогнулся, растопырил персты и приложил их к своей груди с правого бока:

— Приличный вид? О Господи! Пьетро Белькампо, именуемый гнусными завистниками просто Петер Шёнфельд, как божественного полкового трубача и горниста Джакомо Пунто они обзывают «Якоб Штих», тебя недооценивают! Но не сам ли ты держишь свою свечу под спудом, хотя мог бы стать светилом в свете? Разве форма твоей руки, разве искра гения, вспыхивающая в твоём оке и попутно окрашивающая денницей твой нос, разве все твое существо не свидетельствует перед взором знатока о том, что в тебе таится дух, взыскующий идеала? Приличный вид? Разве так это называется, сударь?

Я попросил маленького чудака успокоиться, так как я-де вполне доверяю его сноровке.

— Сноровка! — снова вскипел он. — Что такое сноровка? При чем тут норов? Может быть, речь идет о том, кто норовит прыгнуть локтей на тридцать и сваливается в ров, хотя пять раз до того испытывал свой глазомер? Или имеется в виду тот, кто за двадцать шагов метит чечевичей в игольное ушко? Или тот, кто, повесив десять пудов на шпагу, балансирует ею на кончике своего носа шесть часов, шесть минут, шесть секунд и еще один миг? Вот что

такое сноровка! Ею пренебрегает Пьетро Белькампо, ибо художество, святое художество одушевляет его. Да, художество, сударь, художество! Моя фантазия бродит в чудесном храме локонов, в художественном кружеве, чьи трепетные заводи творит и растворяет веянье зефира. Там его поприще, там его сфера, там его нива. Ибо художеству присуще божественное, но божественно не то, что слывет обычно художественным, нет, оно возникает из всего того, что, собственно, и есть художество! Вы поймете меня, сударь, ибо, по-моему, вы — голова, о чем свидетельствует вон та кудерь справа над вашим высокочтимым лбом.

Я заверил его, что вполне понимаю его рассуждения, и, весьма развлеченный столь самобытным чудачеством, я, в намерении испытать на себе его самохвальное художество, отнюдь не позволял себе посягнуть на его пыл и пафос.

— Что же рассчитываете вы, — осведомился я, — извлечь из моего нечесаного колтуна?

— Все, что вы изволите, — ответил малютка, — однако, если замысел Пьетро Белькампо, художника, имеет для вас какую-нибудь ценность, предоставьте мне сперва исследовать вашу дражайшую макушку в надлежащих пропорциях с ее протяженностью и объемом, а также ваш стан, вашу поступь, вашу мимику, вашу жестикуляцию, и тогда я порекомендую вам ваш стиль: античный, романтический, героический, величественный, наивный, идиллический, иронический или же юмористический; тогда осмелюсь я заклясть дух Каракаллы, Тита, Карла Великого, Генриха Четвертого, Густава Адольфа, Вергилия, Тассо или Боккаччо... Сей дух вселится в мои персты, оживит их фибры, и под музыку ножниц выйдет шедевр. Я, сударь, довершу формирование вашей личности, что скажется во всей вашей жизни. Однако теперь извольте ступить разок-другой, не покидая комнаты, а я присмотрюсь, прикину, вникну — не откажите в любезности.

Вынужденный повиноваться этому оригиналу, я зашагал по комнате, как он того желал; при этом я всячески пытался не выказывать монашеского благолепия, от которого, как известно, полностью избавиться невозможно, как бы давно ты ни покинул монастырь. Малютка пристально наблюдал за мной, потом засуетился вокруг меня, как бы вторя мне своими шажками; он отдувался, охал, вытащил даже носовой платок, чтобы отереть пот со лба. Наконец он угомонился, и я спросил его, представляет ли он себе теперь, как приняться за работу. Он со вздохом ответил:

— Ах, сударь! Как же так? Вы не верны себе, в движении вашем чувствуется умышленность, заданность, одна ваша натура противоборствует другой. Шагните еще, сударь!

Мне отнюдь не улыбалось дальнейшее освидетельствование, и я заупряился, потребовав, чтобы он либо начинал меня стричь, либо я буду вынужден обойтись без его художества, если он все еще колеблется.

— Умри же, Пьетро, — возопил малютка с невообразимой горячностью, — умри же, ибо тебя не хочет знать этот мир, где утрачены верность и откровенность. Вам бы восхититься моей зоркостью, достигающей глубин вашей души, вам бы, сударь, почтить мой гений! Мне не удался гармонический синтез всего того несовместимого, что замечается в движениях ваших и в самой вашей личности. Ваша поступь, сударь, — это поступь духовного лица. *Ex profundis clamavi ad te Domine — Oremus — Et in omnia saecula saeculorum — Amen!*³

Малютка пропел эти слова с хрипотцой и надрывом, безукоризненно имитируя осанку и жестикуляцию монаха. Он поворачивался, как священник перед алтарем, преклонял колени, снова вставал, но вдруг напустил на себя заносчивую строптивость, наморщил лоб, глянул свысока и произнес:

³ Из глубины воззвал к Тебе, Господи — Помолится — И по веки веков — Аминь! (лат.) — фрагменты из разных католических молитв.

— Мир — мое владение; я богач, умник-разумник, а вы нет, вы все — кроты в сравнении со мной. Кланяйтесь же мне! Смотрите, сударь, — продолжал карапуз, — вот первоэлементы вашей наружности, и если вы не возражаете, то я, исходя из ваших черт, форм и душевных качеств, попытаюсь частично слить Каракаллу, Абеяра и Боккаччо, чтобы сплав принял завершенный образ, и начну строить невиданное антично-романтическое здание из ваших эфирных локонов и волосков.

Я не мог отказать малышу в проникательности и не преминул открыть, что действительно имел отношение к духовенству, успев даже удостоиться тонзуры, которую, однако, предпочел бы не выставлять напоказ.

Крошка занялся моими волосами, кривляясь, приплясывая и витиевато разглагольствуя. То он мрачнел и хмурился, то посмеивался, то изображал атлета, то поднимался на цыпочки, и как я ни подавлял смех, невозможно было смеяться больше моего.

Наконец он справился со своей задачей, и, предупредив новый взрыв его красноречия (слова уже теснились у него на языке), я спросил его, нет ли кого-нибудь способного сделать с моей запущенной бородой то же, что он сделал с волосами. Цирюльник загадочно усмехнулся, подкрался на цыпочках к двери и запер ее. Потом он тихонько возвратился на середину комнаты, чтобы изречь:

— О, золотые времена, когда борода и кудри головы ниспадали единым струящимся потоком, краса мужа и чарующий материал для художника. Вы минули, золотые времена! Мужики поступились естественным своим убором, и возник презренный цех, истребляющий бороду до корня своей омерзительной снастью. О вы, гнусные, негодные брадобреи, брадорезы, правьте свои ножи на провонявших маслом черных ремнях назло художеству, трясите вашими бахромчатыми кисетами, бренчите вашими тазиками, вспенивая мыло, брызгаясь вредным кипятком, с кощунственной наглостью вопрошайте ваши жертвы, что засунуть им за щеку: большой палец или ложку? Но встречаются еще такие Пьетро, противодействующие вашему скверному промыслу, даже опускаясь до вашей постыдной поденщины, даже искореняя бороды, они пытаются спасти то, что можно, то, что еще возвышается над морем бушующего времени. Что такое бакенбарды с тысячами своих вариаций, с прелестными своими завихрениями и округлостями, то изгибающиеся нежной овальной линией, то грустно никнувшие в ложбинке выи, то дерзко возносящиеся над уголками рта, то смиренно утончающиеся и вытягивающиеся в ниточку, то разлетающиеся в горделивом парении своих прядок — что они такое, если не ухищрение нашего художества, все еще процветающего в своей приверженности к священной красоте? Эй, Пьетро, яви дух, тобою движущий, отличись художеством в самом жертвенном нисхождении до нестерпимого брадобрития.

Произнося такие слова, крошка вытаскивал весь набор брадобритвенных принадлежностей и начал снимать с меня мою бороду, причем рука у него была легкая и уверенная. Поистине его художество до неузнаваемости изменило мое обличье, и теперь я нуждался только в платье, не столь заметном, чтобы своим покроем возбуждать опасный интерес к моей особе. Крошка стоял, улыбаясь мне от внутреннего удовлетворения. Я сказал ему, что не имею никакого знакомства в городе, а мне весьма желательно по-здешнему приодеться. При этом я втиснул в его пальцы целый дукат, вознаграждая его старания и возжигая усердие, так как весьма нуждался в посыльном и ходатае. Весь просветлев, крошка любовался дукатом у себя на ладони.

— Драгоценный любитель художества и меценат, — начал он, — вы не обманули моих надежд; моей рукою двигал дух, и в орлином размахе ваших бакенбард сказывается широта вашей души. Мой друг Дамон, мой Орест не уступает мне ни по гению, ни по глубокомыслию; он сделает для остального вашего стана то, что я сделал для вашей головы. Я подчеркиваю, сударь, он костюмотворец, вот настоящее обозначение его призвания, для которого слишком низменно и буднично звание *портной*. Он поглощен идеальным, его фантазия — истинный кладезь форм и образов, и в его лавке чего только нет, товар на любые вкусы. Вам явится там наимоднейшее в неисчерпаемых своих нюансах, то нестерпимо,

непревзойденно блестящее, то самоуглубленно-высокомерное, то бесхитростно суеязящееся, то саркастическое, едкое, брюзгливое, угрюмое, развязно-прихотливое, жеманное, залихватское. Первый сюртук юнца, заказанный помимо придирчивой маменьки и гувернера, костюм господина, которому за сорок, чьи седины нуждаются в пудре, притязание престарелого жизнелюба, светский лоск ученого, солидность богатого купца, чопорность зажиточного бюргера — все это у вас перед глазами в лавке моего Дамона; несколько секунд — и вы насладитесь мастерством моего друга.

Он запрыгал прочь и вскоре привел ко мне высокого упитанного мужчину, одетого с иголочки; словом, это был суший антипод моего малютки по своему внешнему облику и по всему своему складу, однако оказалось, что это и есть его Дамон.

Дамону, очевидно, служили меркой его глаза, которые скользнули по мне с головы до ног, после чего он распаковал обновки, принесенные приказчиком, и они вполне удовлетворили меня, как будто он заранее знал, что я пожелаю приобрести. Потребовалось время для того, чтобы я убедился в тонком чутье костюмоторца, как выпренне титуловал его крошка; Дамон и вправду одел меня так, что я больше не бросался в глаза, а если и привлекал внимание, то достаточно лестное, помимо моего сословия и профессии, которые как-то переставали интересовать досужих соглядатаев. И действительно, сложная задача — подобрать себе, так сказать, обобщенный костюм, не только не вызывающий домыслов о том, какая именно у тебя профессия, а, напротив, исключая возможность такого любопытства. Костюм свидетельствует о всемирном гражданстве скорее отвержением, нежели предпочтением тех или иных частных и приблизительно сводится к тому же, что и хорошее воспитание, скорее отучающее, чем приучающее к тем или иным действиям.

Малыш вновь рассыпался в заковыристых гротескных оборотах, и поскольку другие, судя по всему, были менее благосклонны к его словесным излишествам, чем я, он был рад-радехонек извлечь свою свечу из-под спуда. Дамон, человек положительный и, как мне показалось, благоразумный, схватил наконец его за плечо и сказал:

— Шёнфельд, опять тебя заносит, ты же мелешь невесть что; бьюсь об заклад, у господина уши заболели от твоей бессмыслицы.

Белькампо повесил было нос, подобрал свою пыльную шляпу и закричал, выпрыгивая за дверь:

— Так третируют меня даже лучшие мои друзья!

Прощаясь, Дамон сказал мне:

— Шёнфельд — зверек редкостный. Вот уж кто дочитался до чертиков. При этом он добряк и свое дело знает, поэтому я с ним все-таки лажу, потому как если человек хоть в чем-нибудь смыслит, пусть иной раз он и хватит через край, с него взятки гладки.

Когда моя комната опустела, я принялся перед большим зеркалом выработать себе походку. Малыш-парикмахер дельно предостерег меня. Монаха всегда выдает походка, косолапая и притом спотыкливо-поспешная, чему причиной долгополое облачение, мешающее шагнуть, и привычка к быстрым движениям, образующаяся от церковных служб. Отсюда же выпячивание груди как реакция на поклоны и застарелая неестественность рук (монах никогда не размахивает ими; они у него либо сложены, либо спрятаны в длинных рукавах), так что наметанный глаз всегда узнает монаха. Я силился все это преодолеть, так как малейший отпечаток монашеского прошлого меня не устраивал. Чувства мои находили успокоение лишь тогда, когда вся моя жизнь представлялась мне исчерпанной и обесцененной, как будто для меня начиналось новое существование и мой дух вживался в новый образ, постепенно вытеснявший даже прежние воспоминания до полного их исчезновения.

Уличная суতোлка, деловитый шум ремесленной и другой предприимчивости радовали меня своей новизной, закрепляя настроение, вызванное курьезным маленьким цирюльником. В новом приличном костюме я отважился сесть с другими постояльцами за обеденный стол, и моей робости как не бывало: никто на меня не косился, а мой ближайший сосед даже не смотрел на меня. Заполняя регистрационный лист, я записался под именем Леонард, памятуя

о приоре, которому я был обязан своей нынешней свободой; я написал также, что я частное лицо и путешествую ради собственного удовольствия. В городе подобные путешественники встречались то и дело; должно быть, потому и ко мне не приставали с расспросами.

Особенное удовольствие доставляло мне блуждание по улицам; мне нравилось останавливаться перед богатыми магазинами: картины и гравюры доставляли мне истинное наслаждение. Вечерами я бывал на гуляньях и тогда в суетном оживлении нередко тяготился моим одиночеством: чувство весьма горькое.

Казалось бы, при моих обстоятельствах я должен был скорее радоваться тому, что я никому здесь не знаком и ни одна душа не подозревает, кто я такой и какая странная, примечательная игра случая забросила меня сюда со всеми тайнами, заключенными в моем существе, а меня пробирала дрожь при мысли, что я напоминаю дух покойника, скитающийся по земле, где вымерла всякая родственная или дружественная ему жизнь. Горькое сожаление мое усиливалось, когда я думал о моем недавнем прошлом: каждый дружелюбно и даже благоговейно приветствовал знаменитого проповедника, и кто только не жаждал его наставлений, ловя малейшее мое слово.

Но тот проповедник был монах Медардус; он умер и погребен где-то в бездне среди гор; у меня нет с ним ничего общего, я-то жив и только теперь вхожу во вкус новой жизни, сулящей мне неизведанные улады.

И когда во сне повторялось пережитое мною в замке, мнилось, будто не я участвовал в тамошних происшествиях, а другой, и капуцином был тот другой, а не я. Только мысль об Аврелии связывала меня прежнего со мной нынешним, но какую невыносимую боль причиняла мне эта мысль, убивая всякий намек на отраду, силой выдергивая меня из красочных кругов, на которые не скупилась жизнь, прельщающая меня.

Я зачастил туда, где мог встретить хотя бы бражников или игроков; так я облюбовал отель, который славился вином: по вечерам там собиралось многолюдное общество.

За столом в особой комнате поодаль от общего зала я видел всегда одних и тех же собеседников, переговаривавшихся оживленно и остроумно. У них был свой замкнутый круг, но мне представился случай с ними сблизиться, когда я, сидя в моем уголке, тихо и скромно попивал вино и внезапно подал им реплику, заинтересовав их литературной аллюзией, которую они сами тщетно пытались вспомнить; я удостоился места за их столом, предоставленного мне тем охотнее, что они оценили мое умение поддерживать разговор, а также мою образованность, непрерывно возраставшую, ибо я, не теряя времени, восполнял пробелы в моих познаниях.

Я приобрел знакомство, несомненно благотворное для меня, так как, постепенно вовлекаясь в мирскую жизнь, я усваивал непринужденность и жизнерадостность; я, так сказать, обтесывался, избавляясь от прежних шероховатостей.

Вечер за вечером в нашем обществе говорили о приезде живописца, выставившем в городе свои картины. Все, кроме меня, уже их видели и так превозносили его мастерство, что я тоже решил посетить выставку. Когда я вошел в зал, художник отсутствовал, и обязанности чичероне принял на себя старичок, назвавший других мастеров, чьи картины живописец выставил вместе со своими.

Картины действительно были хороши, среди них преобладали оригиналы, принадлежавшие кисти прославленных мастеров, и восторг мой при виде их был неподделен.

Впрочем, по словам старичка, среди картин встречались и копии, бегло писанные с больших фресок, и вот эти-то копии смутно напомнили мне мое младенчество.

Все отчетливее вспыхивали во мне живые волнующие краски. Конечно же, это были копии, но оригиналы-то принадлежали Святой Липе. Глядя на Святое Семейство, я распознал в чертах Иосифа лик того странного Паломника, у кого на руках сидел чудомладенец, первый товарищ моих детских игр. Но глубже всего я был потрясен и даже не мог сдержать громкого возгласа, когда передо мной возник портрет во весь рост и я узнал княжну, мою приемную мать. Ее царственная красота была запечатлена с высочайшей степенью сходства, которой отличаются портреты Ван Дейка; она была в полном облачении,

как будто готовилась возглавить шествие монахинь в день святого Бернарда. Художника вдохновил именно тот момент, когда она, помолившись, выходит из кельи, а монахини ждут ее, и богомольцы застыли в благоговейном ожидании в церкви, которая тоже видна на картине вдаль, вот истинное искусство перспективы! При всей царственности во взоре ее сияло лишь чувство, всецело приверженное Небесному, и, казалось, она молится за исступленного изверга-святотатца, силою порвавшего с ее материнским сердцем, и кто же был этот изверг, если не я! Грудь мою снова заполнили чувствования, давно не изведенные: нечто несказанное влекло меня, и я снова брал урок у доброго сельского пастыря близ цистерцианского монастыря, смысленный, бойкий, расторопный отрок, восторженно предвкушающий день святого Бернарда. Я видел ее!

— Ты по-прежнему верующий, по-прежнему хороший, Франциск? — спрашивала она, и полнозвучие ее голоса было смягчено любовью, но тем оно было слышнее и трогательнее.

«Ты по-прежнему верующий, по-прежнему хороший?» Ах, как я мог ответить ей?

Я не знал меры в святотатствах; сперва я нарушил обет, потом совершил убийство!

Горе и раскаянье сокрушили меня, и, как подкошенный, упал я на колени, заливаясь слезами.

Старичок, испуганно подскочив ко мне, неотступно спрашивал:

— Что с вами, что с вами, сударь?

— Портрет настоятельницы напомнил мне мою мать... Она умерла такой страшной смертью, — ответила вместо меня какая-то пустота, а я встал, стараясь хоть сколько-нибудь овладеть собой.

— Пойдемте, сударь, — сказал старичок, — не предавайтесь тягостным воспоминаниям; что было, то прошло. Тут есть еще один портрет, мой господин считает его лучшим. Картина писана с натуры и закончена давеча. Мы закрыли ее от солнца, чтобы не пострадали краски, они еще не просохли.

Старик отвел меня на должное расстояние, чтобы правильно падал свет, потом быстро отдернул занавесь.

То была Аврелия!

На меня напал ужас, и я едва мог скрыть его. Однако я угадал: близок супостат, он снова хочет уничтожить меня, хочет силой ввергнуть меня в бурный поток, откуда я едва выкарабкался, и отвага вернулась ко мне, и я ополчился против страшилища, надвигавшегося на меня из таинственной тьмы.

Взоры мои так и алкали Аврелии, чьи прелести сияли на картине, где пламенела и трепетала жизнь.

Детски девственный, кроткий небесный взор, казалось, уличает свирепого убийцу-брата, однако мое раскаянье исчезло в едком бесовском сарказме: разрастаясь во мне, он ядовитыми колючками отгонял меня от приветливой жизни.

Меня терзало одно: в ту роковую ночь в замке я так и не овладел Аврелией. Гермогена принесло некстати, так поделом ему, он заслужил смерть!

Аврелия жива, значит, небеспочвенна надежда овладеть ею!

Конечно же, этого не миновать, она во власти рока, а разве его власть — не моя власть?

Так разжигал я себя для нового святотатства, любясь картиной. Во взгляде старика я увидел удивление. Он сорил словами, разглагольствуя о рисунке, тоне, колорите и не знаю о чем еще. Одна Аврелия занимала меня; я уверился в том, что вождевленное злодеяние еще не ушло от меня, а только отсрочено, и я кинулся прочь, даже не осведомившись о живописце, хотя следовало бы разведать историю картин, которые связным циклом знаменовали всю мою жизнь.

Я решил ни перед чем не останавливаться и любой ценой завладеть Аврелией; я смотрел на превратности жизни с такой высоты, что, казалось, нечего мне опасаться и нечего терять. Я так и эдак прикидывал, как бы мне подобраться к моей добыче; особенно рассчитывал я на заезжего живописца, в нем я усматривал кладезь драгоценных сведений и указаний, в которых нуждался на подступах к неизбежному. Достаточно сказать, что я

всерьез подумывал, не вернуться ли мне в замок запросто, как будто я изменился до неузнаваемости, и подобное предприятие даже не внушало мне особых опасений.

Вечером я пошел к моим новым знакомым, так как искал общества, чтобы совладать с моим разбушевавшимся духом и обозначить хоть какие-нибудь пределы для горячечно-неумной фантазии.

Мои собеседники много говорили о картинах приезжего художника и особенно восхищались лицами на его портретах, выписанными с редкой силой; у меня не было причин не поддержать эти похвалы, более того, я сам блеснул перед ними, превознося несказанное обаяние, сияющее на ангельском, небесном лице Аврелии, и никто не заметил при этом язвительной иронии, снедавшей меня пламенем и нашедшей таким образом выход. Один из присутствующих сказал, что живописец все еще в городе, так как продолжает работать над некоторыми портретами, что мастер он интереснейший, хотя далеко не молод, и завтра, быть может, он последует приглашению посетить нас.

Неописуемая, непостижимая для меня самого буря предчувствий бушевала во мне, когда на следующий вечер позже обычного я пришел в общество: приезжий сидел за столом спиной ко мне. Как только я сел, как только увидел его, передо мной застыли черты страшного пришельца, который тогда в день святого Антония стоял, опершись на колонну, и нагнал на меня такую боязнь и ужас.

Он не сводил с меня осуждающих глаз, но портрет Аврелии так раззадорил меня, что мне хватило духу выдержать его взгляд. Итак, супостат материализовался, и предстояла битва с ним не на жизнь, а на смерть.

Я решил подождать, пока он нападет, а потом пустить в ход оружие, достаточно мощное для того, чтобы строить на нем свою тактику. Казалось, приезжему не до меня, он даже отвернулся и продолжал распространяться на художественные темы, как будто мой приход не прервал его. Речь зашла о его картинах, и портрет Аврелии удостоился особенных похвал. Кто-то предположил, что картина только на первый взгляд представляется портретом, вообще же это только этюд, обещающий в будущем композицию с какой-нибудь святой.

Обратились ко мне, так как я накануне отличился, найдя слова, прекрасные, как сама картина, и мой ответ застал врасплох меня самого, глася, что неизвестная на портрете — вылитая святая Розалия. Казалось, до живописца не дошли мои слова и он отзывается вовсе не на них:

— Действительно, портрет написан с натуры, и на нем представлена настоящая святая, воинствующая в своем алкании небесного. Я писал ее, когда, охваченная ужасающим горем, она искала в религии утешения и ждала подмоги от заоблачного престола, где царствует предвечная воля, и выражение подобного упования, которое бывает свойственно лишь душе, возносящейся превыше земного, пытался я придать ее образу.

Общество развлеклось другими разговорами; заказали вино еще лучше обычного, чтобы почтить гостя; возлияния также были обильнее, что не могло не поднять настроения. Каждый изощрялся в шутках или в анекдотах, и хотя приезжий, по-видимому, смеялся только внутренне и разве что в глазах его отражался этот внутренний смех, он все-таки искусно подбрасывал время от времени одно-два забористых словечка, повышающих общий энтузиазм.

Если меня и пробирала безотчетная жуть, как только приезжий бросал на меня очередной взгляд, я постепенно стряхивал с себя ужас, охвативший меня, когда я его узнал. Я рассказывал о потешном Белькампо, знакомом всему городу, и веселил всех, резкими штрихами обрисовывая его причуды, так что мой визави, добродушный толстый купец, смеялся до слез и уверял, что не припомнит более удачного вечера. Когда смех наконец пошел на убыль, приезжий внезапно спросил:

— А дьявола вы уже видели, господа?

Общество сочло вопрос прологом к очередной побасенке, и послышались уверения в том, что пока не имели чести; тогда приезжий продолжал:

— А вот я если бы малость не опоздал, то имел бы такую честь, и не где-нибудь, а в горном замке барона Ф.

Я содрогнулся, другие же заранее хохотали:

— Дальше, пожалуйста, дальше!

— Вероятно, вы все, — продолжал приезжий, — если только вы бывали в горах, помните дикую мрачную местность, где, выйдя из глухой еловой чащобы, путник попадает на кручу и перед ним разверзается глубокая черная пропасть. Это так называемое Чертово Урочище, и там же торчит скала, образующая так называемый Чертов Трон. Говорят, будто граф Викторин сидел как раз на этой скале, обмозговывая ковы, а дьявол, естественно, тут как тут, и Викторины ковы ему так понравились, что он вздумал взять их на себя, а графа спихнул в пропасть. Дьявол обернулся капуцином и нагрязнул в замок барона, побаловался с баронессой и спровадил ее в преисподнюю, к тому же он прикончил младшего барона, сумасшедшего, нарушившего дьявола инкогнито и прямо сказавшего: это дьявол! — но при этом спаслась христианская душа, на которую всерьез рассчитывал коварный дьявол. Потом капуцин сгинул, никто не понимает, как, правда, поговаривают, что его спугнул Викторин, когда, окровавленный, встал из могилы. Дело это темное, но кое в чем я могу вас уверить: баронесса была отравлена, Гермоген подло зарезан, барон умер от горя, Аврелия, эта самая праведница и святая, которую я писал как раз тогда, когда произошел этот ужас, осталась одна-одинешенька на белом свете, вот сиротка и укрылась в монастыре цистерцианок, настоятельница которого была не чужая ее отцу. Портрет этой благородной дамы вы изволили видеть у меня в галерее. Впрочем, этот господин (он указал на меня) даст мне сто очков вперед по части подробностей, он-то гостил в замке, когда там такое творилось.

Почувствовав себя мишенью всеобщего изумленного внимания, я вскочил, возмущенный, меня взорвало:

— Послушайте, сударь, какое мне дело до вашей глупой дьявольщины и убийственных историй! За кого вы меня принимаете, да, за кого? Отстаньте от меня, прошу вас!

При моем внутреннем смятении мне было нелегко хотя бы на словах выказать хладнокровие; действие двусмысленных инсинуаций и мое раздраженное замешательство, разумеется, бросались в глаза. Настроение заметно упало, и гости, очевидно задумавшись над тем, что я, чужак, исподволь к ним присоседился, косились на меня с подозрением, если не со злобой.

А приезжий живописец уже стоял напротив и сверлил меня своими неотступными глазами живого мертвеца, как тогда, в церкви капуцинов. Он помалкивал, он остолбенел и застыл, но от одного его загробного вида шевелились мои волосы, холодные капли покрыли мой лоб, и приступ ужаса потряс все мои фибры.

— Сгинь! — завопил я вне себя, — сам ты — сатана, сам ты убийца-святотатец, но ко мне ты не подступишься!

Общество поднялось со своих мест.

— Что это? Что это? — слышались голоса, публика валом валила из зала, где игроки оставили игру; мой голос нагнал жуть на всех.

— Пьяный, сумасшедший! Выкиньте его! Выкиньте! — надрывались некоторые. Но приезжий художник по-прежнему не двигался, уставившись в меня.

Обезумев от ярости и отчаянья, выхватил я из кармана нож, которым зарезал Гермогена и с которым не расставался; я бросился на живописца, но кто-то ударил меня, и я рухнул на пол, а художник издевательски захохотал на все заведение:

— Брат Медардус, брат Медардус, ты сплеховал, проваливай и отчайся в сокрушении и позоре!

Гости уже пытались меня схватить, но я опомнился и, как разъяренный бык, ворвался в толпу, повалив некоторых на пол; я прорывался к дверям.

Я уже был в коридоре, когда сбоку открылась дверка; кто-то потянул меня в темноту, и я не упирался, я уже слышал топот преследователей. Когда ватага пробежала мимо, меня

проводили по ступенькам во двор, а потом задворками вывели на улицу. Там ярко горел фонарь, и в моем спасителе я узнал потешного Белькампо.

— У вашей особы, — начал он, — кажется, произошел инцидент с приезжим живописцем; я наведалься в соседние апартаменты выпить стаканчик, услышал шум и поспешил вам на помощь, поскольку я ориентируюсь в доме и поскольку в инциденте виноват я.

— Возможно ли? — не сдержал я изумления.

— Кто владеет моментом, кто противостоит наитиям высшего духа! — продолжал крошка с пафосом. — Пока я занимался вашей шевелюрой, дражайший мой, во мне возгорались *comme a l'ordinaire*⁴ грандиознейшие идеи, неистовый взрыв безудержной фантазии отвлек меня, и я не только забыл пригласить и уложить мягким завитком прядь раздражительности, но позволил торчать над вашим лбом двадцати семи волоскам боязни и ужаса; они-то и оцетинились, когда на вас уставился живописец — он же, в сущности, фантом, — а потом, заныв, припали к пряди раздражительности, и она наэлектризовалась, то есть зашипела, затрещала и рассыпалась. Я же видел, как вы вспыхнули, дражайший мой; вы даже вынули ножик, его явно корродировала высохшая кровь, но ведь это тщетное поползновение отправить в Эреб его обитателя, ибо этот живописец не то сам Агасфер, Вечный Жид, не то Бертран де Борн, не то Мефистофель, не то Бенвенуто Челлини, не то святой Петр, словом, жалкий фантом, и ничем его не отвадишь, кроме как раскаленными щипцами для завивки, которые могут иначе выгнуть или выгнать идею, а что он такое, как не голая идея; могла бы помочь также электризирующая укладка мыслей; этот вампир ведь сосет их. Обратите внимание, дражайший, мне, художнику и профессиональному фантасту, подобные вещи — пшик, сущая помада, как говорится, но заметьте, это выражение исходит из моего художества, и в нем больше смысла, чем кое-кто считает, ибо только в помаде натуральное гвоздичное масло.

От этих бредней карапуза, бежавшего рядом со мной по улицам, мне временами делалось не по себе, но когда я замечал его причудливые прыжки и его потешное личико, меня сотрясала конвульсивная судорога смеха. Наконец мы были в моей комнате. Белькампо помог мне собрать мой багаж, а я сунул ему в руку несколько дукатов; он высоко подпрыгнул от радости и громко закричал:

— Ура, теперь у меня благородное золото, чистоблещущее золото, насыщенное кровью сердца, блестящее, красноручное! Это экспромт, и преудачный экспромт, сударь; конец — делу венец.

Подобный эпилог был, вероятно, вызван тем, что меня озадачили его возгласы; его так и подмывало завить мне, как подобает, прядь раздражительности, подстричь волоски ужаса и взять на память кудерь приязни. Я не отказал ему в этом, и он осуществил свой замысел, уморительно позируя и гримасничая.

Наконец, схватив нож со стола, куда я положил его, переодеваясь, он встал в позу фехтовальщика и принялся разить воздух.

— Я казню вашего неприятеля, — кричал он, — а поскольку он голая идея, только идея может его казнить; вот его и прикончит моя идея, экспрессивно подкрепленная физически. *Apage, Satan, apage, apage, Ahasverus, allez-vous-en!*⁵ Вот и сгинул интриган, — сказал он, положив нож на место, глубоко вздохнув и вытерев пот со лба, как после тяжелой работы. Я хотел спрятать нож и по привычке сунул было его в рукав, как будто все еще носил монашескую рясу, что не ускользнуло от его внимания, побудив малыша хитренько улыбнуться. Когда перед домом затрубил почтальон, Белькампо вдруг повел себя совсем иначе, вытащил маленький носовой платок, будто бы для того, чтобы вытереть себе слезы,

⁴ как обычно (фр.).

⁵ Прочь, сатана, прочь, прочь, Агасфер, убирайтесь! (лат. и фр.).

принялся благоговейно бить поклоны, поцеловал мне руку и пулу:

— Две мессы за упокой души моей бабушки, умершей от несварения желудка, четыре мессы за упокой души моего батюшки: его доконал затянувшийся пост, преподобный отец. И за меня каждую неделю, когда я преставлюсь. А пока отпущение моих премногих грехов, прошу вас! Ах, преподобный отец, во мне торчит отпетый грешный ферт, он говорит: «Петер Шёнфельд, не обезьяна же ты, пойми же, тебя нет, ты, собственно, — это я, Белькампо, я гениальная идея, а если ты не веришь мне, я тебя заколю моими отточенными, заостренными мыслями». Этот мой заклятый враг, по имени Белькампо, преподобный отец, привержен всем порокам; между прочим, он часто оспаривает очевидное, напивается, дерется, растлеивает прекрасные, девственные мысли; этот Белькампо совращает и морочит меня, Петера Шёнфельда, так что я непристойно скачу и готов посрамить цвет невинности, когда я распеваю *in dulci júbilo*⁶ в белых шелковых чулках, а сам сижу в дерьме. Отпустите же грехи обоим, и Пьетро Белькампо, и Петеру Шёнфельду.

Он упал передо мной на колени и притворно зарыдал. Его дурачества, наконец, утомили меня.

— Образумьтесь же, — воскликнул я; кельнер вошел, чтобы взять мой багаж, Белькампо встряхнулся и, балагурия с новообретенным юмором, пособил кельнеру доставить мне все то, что я наспех требовал.

— Что с ним связываться, он же дурачок, — крикнул кельнер, закрывая дверь кареты. Белькампо размахивал шляпой и кричал: «Ваш до гроба!» — на что я, выразительно глянув на него, поднес палец к губам.

Когда рассвело, город лежал уже далеко позади, и вместе с ним скрылся зловещий призрак, подавлявший меня непроницаемой тайной. Когда станционный смотритель спрашивал: «Куда?» — на меня снова и снова надвигалась пустота; я был изгой, расторгший все жизненные узы, и носился взад-вперед, подверженный житейскому треволнению. Но разве некая неодолимая сила оторвала меня от всего обжитого и приязненного не для того, чтобы дух, гнездящийся во мне, окрылился и воспарил? Не задерживаясь нигде, я пересекал живописную землю и нигде не находил приюта; меня тянуло на юг, и я не мог противодействовать этой непрерывной тяге; в сущности, даже не заботясь об этом, я почти неукоснительно следовал маршруту, предначертанному мне Леонардусом, как будто продолжал действовать его толчок, ввергший меня в мир, и некая магия заставляла меня двигаться лишь в прямом направлении.

Во мраке ночи ехал я густым лесом, который простирался до следующей станции, как предупредил меня смотритель, очень советовавший мне переночевать у него, но я не принял его совета, торопясь к месту назначения, то есть бог весть куда. Только я отбыл, вдали засверкали молнии, сгустились черные тучи, нагромождаемые и гонимые бурей; гром раскатывался тысячеголосым зыком, и багровые молнии скрещивались на окоеме по всему кругозору; высокие ели трещали, содрогаясь до самого корня, проливной дождь более походил на водопад. Что ни миг, поваленное дерево грозило нас придавить; лошади упирались и дыбились, оробев от мечущихся молний, вскоре езда стала положительно невозможной; карету колыхнуло так, что заднее колесо сломалось. Не оставалось ничего другого, как стоять и ждать, когда гроза минует и месяц прорвется сквозь тучи. Только теперь почтарь сообразил, что потерял в темноте дорогу и не иначе как свернул на лесную просеку; теперь уже не было другого пути, кроме этого; приходилось, худо ли, хорошо ли, тащиться дальше в расчете на то, что мы с рассветом доберемся до деревни. Карету подперли суком и кое-как, шаг за шагом двинулись. Я шел впереди и первым заметил вдалеке слабое мерцание, послышался мне и собачий лай; я не ошибся: через несколько минут собаки надрывались вовсю. Перед нами был основательный дом, он стоял посреди широкого двора за оградой. Почтарь постучался, собаки словно с цепи сорвались, дом же как вымер; тогда

⁶ сладостно ликуя (ит.).

почтарь затрубил, окно на верхнем этаже, где я видел свет, открылось, и низкий грубый голос крикнул:

— Христиан! Христиан!

— Слушаю, господин, — донеслось снизу.

— Там дубасят в ворота и дудят, — продолжал голос сверху, — и на псов словно черт сел. Возьми-ка фонарь да ружьишко за номером три и глянь, что там за притча.

Вскоре мы услышали, как Христиан утихомиривает собак, а потом он и сам вышел к нам с фонарем. Почтарь признался, что теперь нет сомнений: въезжая в лес, он свернул, вместо того чтобы ехать напрямик; так мы и уперлись в дом лесничего, а до него примерно час езды вправо от последней станции.

Мы пожаловались Христиану на дорожное невезение; он распахнул ворота и помог водворить карету. Умиротворенные собаки виляли хвостами, обнюхивая нас, а хозяин, не отходя от окна, все еще кричал:

— Кто там? Кто там? Караван там пришел, что ли? — Но ни от нас, ни от Христиана не мог добиться ответа. Наконец Христиан, убрав лошадей и карету, открыл дом, и я вошел. Меня встретил высокий дородный загорелый мужчина в шляпе с зеленым пером, в одной рубашке и в домашних туфлях; в руке он держал охотничий нож без ножен. — Из каких мест? — сурово спросил он меня, — что вы будоражите людей по ночам? Здесь не гостиница и не почтовая станция. Здесь живет главный лесничий, то есть я. Христиан — суший осел, вот он сдуру и впустил вас.

Я слегка оробел, но рассказал ему, как нам не повезло, так что заехали мы к нему не по своей прихоти, и он уже дружелюбнее сказал:

— Что верно, то верно, непогода была лихая, но ваш почтарь — олух: поехал невесть куда и кареты не уберег. А такому молодцу следовало бы знать лес так, чтобы ездить хоть с завязанными глазами; лес для него должен быть родным домом, как для нашего брата.

Он проводил меня наверх, отложив охотничий нож, снял шляпу, накиннул сюртук, извинился за нелюбезный прием, объяснив, что живет в лесу на отлете и приходится держать ухо востро, так как в лесу рыщет всякая сволочь и так называемые вольные стрелки угрожают его жизни, но он им тоже спуска не дает.

— Руки коротки у этих негодников, — продолжал он, — а меня Господь всегда оборонит, ибо я блюду мою должность честь по чести, веря и уповая на Него, да и мое славное ружьецо всегда даст им отпор.

Поистине привычка — вторая натура, и почти машинально я вставил душеспасительное поучение о том, какая сила в уповании на Господа, чем окончательно расположил к себе лесничего. Не слушая моих возражений, он разбудил жену, пожилую, но жизнерадостную и прилежную матрону, которая прямо спросонья радушно приветствовала гостя и, повинувшись мужу, сразу же принялась готовить ужин. Лесничий отправил почтаря в наказание прямо ночью со сломанной каретой на станцию, откуда тот выехал, а меня обещал подвезти на следующую станцию, когда мне заблагорассудится. Я согласился тем охотнее, что не прочь был хоть немного отдохнуть. Я сказал поэтому лесничему, что хотел бы погостить у него до обеда, так как непрерывная многодневная езда утомила меня.

— С вашего позволения, сударь, — ответил лесничий, — я бы предложил вам погостить у нас весь завтрашний день, а послезавтра мой старший сын сам отвезет вас на станцию; ему это будет по пути, я намерен послать его в княжескую резиденцию.

Это меня вполне устраивало, и я похвалил уединение, особенно для меня привлекательное.

— Что вы, сударь, — возразил лесничий, — уединеньем здесь и не пахнет. Вы, должно быть, прирожденный горожанин, а для горожанина каждый дом в лесу — уединенный, а все дело в том, кто в этом доме живет. И впрямь, пока в старом охотничьем замке жил старый господин, брюзга и нелюдим, не говоря худого слова, сидевший у себя в четырех стенах, не любивший ни леса, ни охоты, то было, пожалуй, уединение, но он помер, и наш милостивый князь предоставил замок лесничему, и теперь-то где и оживленно, как не здесь. Да, видать,

вы, сударь, горожанин и вам не знаком ни лес, ни охота; и откуда вам знать, как весело живет охотнику. Я причисляю моих егерей к моим чадам и домочадцам; вы, может быть, посмеетесь, но мои умные, смышленные псы — тоже члены нашей семьи; они так и ловят каждое мое слово, стоит мне глазом моргнуть, они уже повинуются, такие понятливые, а уж верные — дальше некуда; каждая моя собака умрет за меня, право слово! Посмотрите-ка, как на меня мой Леший глядит; думаете, ему невдомек, что речь идет о нем? Да, сударь, в лесу не соскучишься; с вечера хлопоты и приготовления, а чуть свет вскакиваешь с перины — и на воздух, я при этом люблю трубить в рог, знаете, какие у нас есть веселенькие мотивчики. Тут остальные продирают и протирают глаза, псы лают, заливаются, прямо-таки ликуют от охотничьего азарта. Мои ребята быстренько одеваются, ягдташ на бок, ружье на плечо — и в клеть, где моя старуха стряпает охотничий завтрак, и начинается торжество, настоящий праздник. Мы знаем места, где держится дичь, и располагаемся поодиночке, подальше друг от друга; собаки крадутся, норовя взять след, нюхают, фыркают, поглядывают на охотника; глаза у них умные, человеческие, а охотник стоит, еле дышит, курок взведен, а сам как вкопанный. И вот дичь выметается опрометью из чащи, трещат выстрелы, собаки бросаются за добычей, ах, сударь, как тогда бьется сердце, и сам себя не узнаешь. На охоте никогда ничего не повторяется, всегда бывает что-то особенное, чего не было до сих пор. Опять же всякой дичи свое время, сперва одно, потом другое, и так оно славно, что не надоедает никому и никогда. При этом, сударь, сам по себе лес так веселит и оживляет, что какое там одиночество! Я знаю в лесу каждую стежку, каждое дерево, и поистине мне сдается, что каждое дерево росло под моим присмотром и вытягивает свои светлые, чуткие ветви, потому что узнает меня и хочет обнять, я же ухаживал за ним и лелеял его, и когда оно шумит и шепчет, я, право же, думаю, что говорит оно со мною своим древесным голосом, что они поистине славят Господа, что они молятся, а у нас для такой молитвы нет слов.

Словом, истый праведный охотник живет в свое удовольствие, потому что еще не вполне утратил добрую старинную вольность, при которой человек жил на природе, не ведая умничанья и жеманства; это же сущие бичи для тех, кто томится в теперешних жилых застенках, где человеку недоступны дивные блага, дарованные ему Богом для того, чтобы наставлять и забавлять его, как наших свободных предков, живших с природой в любви и согласии, о чем можно прочесть в старинных историях.

Я слушал старого лесничего и не мог не поверить в его искренность; очевидно, он высказывал то, чем дышала его грудь, и я действительно позавидовал его счастливой жизни и его глубочайшему духовному миру, от которого я был так далек.

В другом крыле этого, как я убедился, весьма просторного здания старик указал мне чистенький покойчик; там я нашел мой багаж, и, прощаясь со мной, хозяин заверил, что рано поутру никто не разбудит меня, так как остальных домочадцев здесь не слышно и я смогу почитать сколько пожелаю, а завтрак мне подадут по моему зову; с ним же я встречусь только за обедом, так как он со своими егерями спозаранку отправляется в лес и не вернется раньше полудня. Я так и повалился на постель, быстро погрузившись от усталости в глубокий сон, омраченный, однако, мучительной, ужасной грезой. Станным образом греза моя начиналась отрадным сознанием сна, я говорил себе: «Это же великолепно, я сразу заснул, и как сладко мне спится, сон освежит меня, усталого, только бы не открывать глаз». Тем не менее получалось так, что без этого не обойтись: не прерывая моего сна, открывалась дверь, и входил некто темный, и в ужасе я узнавал самого себя в монашеском облачении, с тонзурой. Тень приближалась и приближалась к моему ложу, я не мог пошевелиться, не мог выдать из себя ни звука: на меня напал столбняк. Некто садился на мою постель, издевательски посмеиваясь.

— Тебе придется пойти со мной, — говорил некто, — мы полезем на крышу под самый флюгер; он теперь играет величальную невесте, у филина свадьба. А мы с тобой поборемся; кто спихнет супротивника, тот король и может пить кровь.

Я чувствовал, как некто хватает меня и волочит вверх; тогда мне придало силы отчаянье.

— Ты не я, ты дьявол, — кричал я и словно когтями норовил вцепиться ему в лицо, но мои пальцы сверлили пустоту, а некто лишь пронзительно смеялся снова и снова. В этот миг я проснулся, как будто некто вдруг встряхнул меня. Однако в комнате все еще смеялись. Я так и вскинулся, утро проникало в окно светлыми лучами, и я увидел: у стола спиной ко мне стоит он, одетый капуцином.

Я застыл от ужаса, жуткая греза вторгалась в жизнь.

Капуцин перебирал вещи, лежавшие на столе. Тут он оглянулся, и мужество вернулось ко мне, когда я увидел чужое лицо с черной растрепанной бородой; в глазах его смеялось безумие, лишенное мысли: в чертах его замечалось отдаленное сходство с Гермогеном.

Я предпочел поглядеть, что неизвестный будет делать дальше, и приготовился остановить его только в том случае, если он замышляет худое. Мой нож лежал около меня, так что я был достаточно вооружен, да и моя телесная сила позволила бы мне совладать с ним, не зовя на помощь. Казалось, он играет моими вещами, как дитя; по преимуществу, его забавлял красный бумажник. Он поворачивал его так и эдак перед окном, выделявая странные коленца. Наконец ему попалась фляга с остатками таинственного вина; он открыл ее, понюхал, весь затрепетал, и у него вырвался крик, на который комната ответила жутким глухим отзвуком. В доме звонко пробило три часа, и он завыл, как будто на него напало что-то ужасное, но сразу же опять разразился пронзительным смехом (я уже слышал этот смех во сне). Он завертелся с дикими прыжками, прильнул к бутылке, отбросил ее и выбежал в дверь. Я погнался было за ним, но уже не увидел его; только на дальней лестнице слышался топот, потом как будто бы с глухим грохотом захлопнулась дверь. Я воспользовался засовом, чтобы предотвратить второй визит, и снова бросился на постель. Усталость не могла не взять своего, и я вскоре снова заснул. Сон освежил и подкрепил меня, и я проснулся, когда в окно моего покоя уже ярко светило солнце.

Лесничий со своими сыновьями и егерями был в лесу, как и предупредил меня; цветущая приветливая девушка, его младшая дочь, принесла мне завтрак; старшая дочь с матерью были заняты на кухне. Девушка щебетала о том, как весело и мирно живут они все вместе, и только приезд князя на охоту влечет за собой хлопоты и сопряжен с некоторым беспокойством, так как он приезжает не один и случается, что вся охота ночует в доме. Промелькнули несколько часов, наступил полдень, зазвучали рога, послышалась веселая переключка, и вернулся лесничий со своими четырьмя сыновьями, славными цветущими юношами (младшему на вид было лет пятнадцать); три егеря были тоже с ними.

Лесничий осведомился, как мне спалось и не разбудил ли меня шум раньше времени; я предпочел не рассказывать о том, что мне поспричилось, ибо зловещий монах слишком вписывался в мою ночную грезу и я едва отличал сон от яви.

Стол был накрыт, суп дымился, старик снял было свою шапочку, чтобы прочесть молитву, как вдруг открылась дверь, и капуцин, которого я видел ночью, вошел собственной персоной. Безумия больше не замечалось на его лице, но вид у него был кислый и брюзгливый.

— Здорово, преподобный отче, — приветствовал его старик, — произнесите-ка *Gratias*⁷ и разделите нашу трапезу.

[1] *Здесь* : благодарственная молитва (лат.).

Монах огляделся с гневом и страшно закричал:

— Раздери тебя сатана с твоим преподобным отцом и с твоей проклятущей молитвой! Никак, ты заманил меня сюда, чтобы я был тринадцатым, то есть жертвой захожего убийцы с твоего ведома? Не ты ли напялил на меня эту рясу, как будто я не граф, твой господин и повелитель? Но берегись, проклятый, моего гнева!

⁷ *Здесь*: благодарственная молитва (лат.).

С этими словами монах схватил со стола тяжеленный кувшин, метнул его в старика и разможил бы ему череп, если бы тот не увернулся ловким движением. Кувшин ударился в стену и разбился на тысячу черепков. В то же мгновение бесноватого схватили егеря и держали его крепко.

— Что! — крикнул лесничий, — ты еще кощунствуешь, пропащий ты человек! Ты смеешь бесчинствовать в обществе христиан; ты чуть было не убил меня, а когда бы не я, кем бы ты был, если не скотом, да еще обреченным на вечную погибель? Прочь его, заприте его на башке!

Монах упал на колени; он завыл в голос, умоляя смилостивиться над ним, но старик сказал:

— В башне тебе самое место, и я не выпущу тебя оттуда, пока не буду знать, что ты отрекся от сатаны, который тебя морочит; так и знай, не выпущу, хоть бы ты там помер!

Монах надрывался, как будто его действительно отправляли на лютую казнь, но егеря выполнили распоряжение и сообщили, вернувшись, что монах утихомирился, как только его водворили в башню. Христиан, попечению которого он был вверен, рассказал между прочим, что монах всю ночь метался по коридорам, а на рассвете кричал: «Дай мне еще твоего вина, и я буду твоим, совсем твоим; еще вина, еще вина!» И Христиан, действительно, нашел, что монах пошатывается, как пьяный, хотя просто непостижимо, где он мог найти что-нибудь такое крепкое и хмельное.

Тут уж я счел нужным поведать о происшедшем, упомянул я и флягу, которую осушил мой ночной гость.

— Ах, как худо, — сказал лесничий, — однако вы не робкого десятка, настоящий христианин, другой бы окочурился со страху.

Я спросил его, нельзя ли узнать, что за история вышла с этим сумасшедшим монахом.

— Ах, — ответил старик, — история длинная и запутанная; за обедом рассказывать ее негоже. Худо уже то, что этот поганец накуролесил тут и едва не помешал нам весело и радостно потрапезовать чем Бог послал, так вернемся-ка лучше за стол.

С этими словами он снял свою шапочку, благоговейно и богобоязненно прочитал молитву, и, весело переговариваясь, мы отведали деревенских, основательных и вкусных блюд. В честь гостя старик велел подать хорошего вина и, как водится издревле, выпил за мое здоровье из красивого кубка. Со стола убрали, егеря сняли со стены охотничьи рога, и зазвучал удалой мотив. Девушки подхватили припев, а заключительную строфу запели хором вместе с ними и сыновья лесничего.

Сердце мое не испытывало ни малейшего стеснения; чудо как хорошо было мне в кругу этой простой, богобоязненной семьи; давно уже я не отдыхал так душою. Было пропето немало душевных благозвучных песен, когда старик поднялся и провозгласил здравицу всем добрым людям, почитающим благородный охотничий промысел. Потом он осушил свой стакан, и мы не отстали от него; так завершилась веселая трапеза, за которой гостя величали песней и вином.

Старик сказал мне: «Теперь, сударь, я полчаса сосну, а потом мы с вами пойдем в лес, и я уж расскажу вам о монахе, откуда он взялся в моем доме и вообще все, что знаю о нем. Бог даст, смеркнется, и мы с вами проведем вечерок там, где, по словам Франца, держатся куропатки. Вам тоже дадим хорошее ружье, чтобы и вы попытали счастья.

Я заинтересовался, так как семинаристом стрелял кое-когда по мишеням, но никогда по дичи; я не возражал, и лесничий, донельзя обрадованный, даже отложил свой послеобеденный сон, чтобы от чистого сердца показать мне, как вообще стреляют.

Я получил ружье и ягдташ, и мы с лесничим шли по лесу, когда он мне начал рассказывать о страшном монахе в таком роде:

— Нынешней осенью стукнет как раз двухлетие тому, как моим парням вечерами в лесу частенько стало слышаться нечеловеческое завывание, но хоть оно и было нечеловеческое, все же Франц (он ходил тогда у меня в новеньких) полагал, что, кроме человека, так выть некому. Так уж вышло, что Франца особенно донимала эта воющая

нежить; бывало, сидит он в засаде, а тот воет поблизости и распугивает зверье, а как-то раз Франц прицелился в зверя, и вдруг откуда ни возьмись из кустарника выпрыгивает всклокоченная невидаль, и малый, что греха таить, промазал. У Франца же с малолетства голова забита всякими росказнями о лесной нечисти, тут уж его отец, старый егерь, постарался, и Франц чуть было не принял образину за самого сатану, дескать, не вздумал ли нечистый отравить ему промысел или обморочить его. Другие парни, включая моих сыновей, тоже напарывались на это пугало и тоже стали подпевать Францу, так что меня самого проняло, то есть прямо-таки разобрало самому напасть на след этой диковины, тем более что я подозревал, не пошаливают ли это вольные стрелки, не норовят ли обдурить моих охотников, отвадить их от угодий, где есть что взять.

Вот я и наказал моим сыновьям и подручным остановить это исчадие, когда оно шагает на их тропе, а буде оно не послушается и не подаст голосу, пальнуть в него по охотничьему уложению.

И опять-таки Франца угораздило после этого первым заприметить наше пугало на охоте. Франц окликнул его, прицелился, тот в кусты, Франц хотел бабахнуть, ан осечка, и парень совсем струхнул, опрометью бросился к другим, что стояли поодаль; он забрал себе в голову, что сатана шкочит ему, прогоняет зверье и ружье ему заворожил; с тех пор как за ним увязалось это пугало, Франц не подстрелил ни одного зверя, хотя стрелок он изрядный. Тут пошли слухи о лесной нечисти; поговаривали уже в деревне, будто сатана подстерег Франца в лесу и соблазнял его адскими пулями; мололи кто во что горазд.

Мне ничего другого не оставалось, как пресечь это безобразие и затравить страшилище, но оно, как на грех, избегало меня, хоть я и зачастил в урочище, где оно мозолило глаза другим. Долгонько мне не везло, но выдался однажды в ноябре сумрачный такой вечер, когда я сам подстерегал зверя как раз там, где Франца впервые застигла невидаль; чу! в кустах шорох; я изготовился, поджидая зверя, а из кустов прет эта погань: глаза красные, черные космы, лохмотья какие-то. Страшилище воззрилось на меня и взвыло так, что не приведи Господи.

Не знаю, какой смельчак тут не дрогнул бы; мне же, признаться, почудилось, что и впрямь передо мной сам сатана, и, по правде говоря, меня прошиб холодный пот. Однако я не растерялся, вслух прочитал молитву, и она подкрепила меня, так что я и совсем оправился. Пока я молился и призывал Иисуса Христа, страшилище завывало все неистовей, а потом извергло неслыханные кощунства. Тут я крикнул: «Ты проклятый, оголтелый висельник, прекрати кощунствовать и сдавайся, или я тебя пристрелю!» Человечишка завизжал, повалился на землю и взмолился о пощаде. Подошли мои парни, мы схватили его, отвели домой, где я велел запереть его в угловую башню, а поутру хотел известить о его поимке наши власти. Его доставили в башню, а он так и обмер. Когда я проведал его поутру, он сидел на соломенном тюфяке и навзрыд плакал. Он бросился мне в ноги, умоляя смилостивиться над ним; дескать, он уже много недель околачивался в лесу, где не ел ничего, кроме диких зелий и плодов; он бедный капуцин из дальнего монастыря; его там держали в заключении как бесноватого, вот он и улизнул. Ему действительно худо пришлось, и я пожалел его, прислал ему кушанья и вина, чтобы он подкрепился, и это явно пошло ему впрок.

Он умолял пустить его в дом хоть на несколько дней и заказать ему новое облачение, чтобы он мог вернуться к себе в монастырь. Я исполнил его желание, и он вроде опамятовался; накатывало на него реже, и буйствовал он меньше. Но все-таки временами он по-прежнему неистовствовал, и я заметил, что в ответ на мои угрозы (а грозил я ему даже смертью, чтобы его урезонить) он впадает в самоуничтожение, доходит до самоистязания, заклинает Бога и святых вызволить его из ада. В таком состоянии он, кажется, мнил себя святым Антонием, а в неистовстве бредил: он, мол, граф, могущественный господин, вот нагрянут его слуги, и он велит всех нас предать смерти. Потом наступало просветленье, и он опять умолял ради Бога не гнать его, ибо только под моим кровом ему легчает. Впрочем, однажды он все-таки сорвался с цепи, и было это, как на грех, в присутствии князя,

приехавшего на охоту и заночевавшего у меня. Увидев князя в окружении блестящих придворных, монах стал на себя не похож. Он отмалчивался, чуть что — весь оцетинивался, уносил ноги, как только мы становились на молитву; его прямо-таки корчило от слова Божьего, и при этом он так похотливо поглядывал на мою дочь Анну, что я решил: пора с ним расставаться, а то долго ли до беды. Поутру я собирался сбить его с рук подобру-поздорову, однако ночью меня разбудил пронзительный крик в коридоре; я вскочил с постели и с зажженной свечой кинулся в покой, где спали мои дочери. Монах был заперт в башне, как всегда ночью, однако выбрался оттуда, распалившись по-скотски, ломился к моим дочерям и так пнул дверь ногой, что филенки не выдержали. К счастью, в это время невыносимая жажда выгнала Франца из комнаты, где спали парни, и он только свернул на кухню, чтобы зачерпнуть воды, как услышал: в коридоре бесчинствует монах. Франц примчался и схватил его сзади, когда монах уже высадил дверь; но парнишке не под силу было совладать с бесноватым, вот они и сцепились на пороге под крик разбуженных девиц; я прибежал вовремя: монах повалил парня и чуть было не придушил его. Не долго думая, я набросился на монаха, вырвал у него Франца, но вдруг откуда ни возьмись в кулаке у монаха сверкнул нож, и он бы пырнул меня, если бы Франц, очухавшись кое-как, не удержал его руку, и я, человек сильный, вскоре так прижал его к стене, что у него дыханье сперло. Тут проснулись и прибежали другие парни; мы скрутили монаха, отволокли его в башню. Я сходил за арапником и крепко огрел его не один раз, чтобы отучить от подобных выходов; он жалобно визжал, вопил, а я приговаривал: «Ты — разбойник, не так еще надо бы тебе всыпать за твое паскудство; ты посягнул на моих дочерей и меня едва не уколошил; чего ты заслуживаешь, кроме смерти?»

Он завывал от страха и ужаса, очень уж он боялся смерти. На другое утро спровадить его было немислимо; он лежал пластом, прямо как мертвый, я и то его пожалел. Я перевел его в покой получше, велел постелить ему сносную постель, и сама моя старуха ходила за ним, варила ему жирные супы, находила для него снадобья в домашней аптечке. У моей старухи есть такое доброе обыкновение: когда она сидит одна, то непременно запоет что-нибудь духовное, а если у ней сердце радуется, то сна любит, чтобы ей подпевала своим звонким голосом Анна.

Так они делали и у постели больного.

И тогда он начинал вздыхать и смотрел на мою старуху и на Анну с таким сокрушением, и слезы текли по его щекам. Иногда он двигал рукою и пальцами, словно хотел перекреститься, но рука его не слушалась, она бессильно падала, и тогда он издавал тихие звуки, как будто пытался подпевать. Наконец ему вроде полегчало, и он стал креститься по-монашески и молился тихонько. Однажды ни с того ни с сего запел он вдруг по-латыни, и мою старуху, и Анну, хоть они не понимали ни слова, до глубины души пронимали святые лады; обе не могли нахвалиться таким благолепием. Монах поправлялся; он уже вставал, ходил по дому, однако и облик его, и сам он разительно переменялись. Глаза его посветлели, а ведь в них еще недавно вспыхивал злобный огонь, ступал он плавно, истово, по-монашески, руки при этом складывал, и никаких следов сумасшествия. Не вкушал он ничего, кроме овощей, хлеба и соды, лишь изредка в последнее время принимал мои приглашения сесть со мной за стол, отведать нашей снеди, выпить глоточек вина. Тогда читал он молитву и восхищал нас своими речами, в которых отличался как мало кто. Часто уходил он один в лес, где я его однажды встретил и без всякой задней мысли спросил, не пора ли ему восвосяи, то есть в монастырь. Видно, я задел его за живое, он схватил меня за руку и сказал:

— Друг мой, благодарю тебя, ты спас мою душу, отвел от меня вечную погибель, я боюсь разлуки с тобой, не прогоняй меня, пожалуйста. Пожалей меня, я был прельщен сатаною, и не миновать бы мне погибели, когда бы не святой, которому я молился в часы боязни; этот святой подвиг меня в моем безумии забрести в этот лес. Вы меня застали, — продолжал монах, помолчав, — во всей гнусности моего безобразия; вам и в голову не могло бы прийти даже теперь, что я был юноша, щедро взысканный природой, а в монастырь

привела меня иступленная жажда уединения и проникновенных познаний. Братия любила меня как никого другого, и я вкушал отраду, которую дарует нам лишь монастырское житие. По всем статьям я был примерным иноком, не говоря уже о моей набожности, и я бы далеко пошел, меня уже прочили в настоятели. Тут один из братьев возвратился в монастырь из дальнего путешествия и доставил разные реликвии, он уж знал, где их взять. Среди этих реликвий была некая закупоренная бутылка; по преданию, святой Антоний отнял ее у дьявола, а дьявол хранил в ней совращающий эликсир. И сию реликвию мы блюли тщательно, хотя, по мне, она возмущала дух благочестия, без коего что за реликвия, да и вообще было в ней что-то богопротивное. Вот и вспала мне на душу неопишуемая похоть отведать запретного, таящегося в бутылке, и я ухитрился стащить ее, а когда откупорил, то почувал сладость, разлакомился и выпил хмельной напиток до последней капли. Как после того извратилась вся моя чувственность, как жадно возалкал я мирских усад, как совращающий образ порока представился мне лучшим цветом жизни, об этом и говорить зазорно, короче, дальнейшая жизнь моя — череда срамнейших преступлений, и хотя хитрость моя была дьявольская, я попался, и приор осудил меня на вечное заключение. И когда я провел несколько недель в затхлой, сырой тюрьме, когда я проклял себя и свою судьбу, когда мои кошунства обратились против Бога и святых, тогда вспыхнуло красное пламя, вошел ко мне сатана и сказал, что освободит меня, если душа моя отпадет от Всевышнего, а сам я признаю своим властителем его, сатану. Я взвыл, бросился на колени и крикнул: «Нет Бога, которому я служил бы, ты мой господин, и нет в жизни другого наслаждения, кроме твоих излучений». Тут засвистели в воздухе вихри, стены задрожали, как от землетрясения, пронзительный звук раздался в моей тюрьме, железные прутья окна раскрошились, и сам я, извергнутый натиском невидимого, очутился на монастырском дворе. Луна проглядывала сквозь облака, и в ее лучах светился образ святого Антония, высившийся у водомета как раз посреди двора. И тут мое сердце разорвал страх, для которого нет слов, и я повергся, сокрушенный, перед святым, я отрекся от лукавого и взмолился о милосердии; тут надвинулись черные тучи, снова засвистела буря, я впал в беспамятство и сам не знаю, как оказался в лесу, где я метался, буйствуя от голода и отчаянья, пока вы не спасли меня.

Вот история монаха, и она глубоко поразила меня, так что и через много лет я, пожалуй, не премину повторить ее, как нынче, слово в слово. А монах покуда был такой набожный, такой благодный, что мы даже привязались к нему, и тем непостижимее, как это снова на него накатило наемдни в ночь.

— А не известно ли вам, — прервал я его, — из какого монастыря улизнул этот несчастный?

— Он об этом ни гугу, — ответил лесничий, — а мне неохота допытываться, так как у меня почти что и сомнений нет: это бедняга, о котором недавно толковали при дворе, не догадываясь даже, что до него рукой подать, а я держу язык за зубами, а ну как монаху не поздоровится, если о нем узнают при дворе.

— Но со мной-то вы можете быть откровеннее, — вставил я, — я человек посторонний и могу поручиться и поклясться, что ни о чем не проговорюсь.

— Ну, так слушайте, — продолжал лесничий, — сестра нашей княгини — настоятельница цистерцианского монастыря в ***. Она приняла участие в сыне одной бедной женщины, чей супруг будто бы не чужой нашему двору, но тут какая-то тайна, так вот, настоятельница покровительствовала тому мальцу. По внутреннему влечению к монашеской жизни он стал капуцином, а потом прославился как проповедник. Настоятельница часто писала своей сестре о своем питомце, а с недавнего времени скорбела, утратив его из виду. Он, по слухам, тяжко согрешил, посягнув на какую-то там реликвию, за что и был удален из монастыря, славу которого составлял долгое время. А прослышал я об этом, когда княжеский лейб-медик беседовал при мне с одним господином, тоже придворным. Они говорили и многое другое, весьма любопытное, но я не все уразумел, да и позабыл остальное, да и слышал-то я все эти толки краем уха. И если монах переиначивает произошедшее, мол, сатана вызволил его из монастырского заключения, так это, я полагаю,

бредни, следы сумасшествия, а монах — не кто другой, как брат Медардус, которого настоятельница определила в монахи, а дьявол подвиг его на всяческие грехи, за что Суд Божий низвел его до бешеного скота.

Когда лесничий назвал имя «Медардус», я содрогнулся от внутреннего ужаса, да и вся повесть его изъязвила меня до глубины души смертельными уколами. Я был слишком убежден, что монах поведал сущую правду и его снова повергло в богохульное мерзкое сумасшествие адское пойло, которым он уже сладострастно лакомился. Но разве сам я не опустился до ничтожного игральщика, которым тешится злобная таинственная власть, в чьих тенетах я мнил себя свободным, а сам двигался в клетке, откуда меня никогда не выпустят.

Я вспомнил, как предостерегал меня богобоязненный Кирилл, вспомнил графа и забубённую головушку, его управляющего, все вспомнил.

Теперь я постиг, отчего все во мне возмутилось вдруг, извращая мою чувственность; я испытывал стыд за мои мерзости, и этот стыд сошел было для меня за подлинное сокрушение и праведное самоуничужение, которое я почувствовал бы, покайся я воистину. Я погрузился в глубокую задумчивость и едва слушал старика, опять говорившего об охоте и описывавшего козни злых вольных стрелков. Между тем смеркалось, а мы уже стояли у кустов, где прятались куропатки; лесничий отвел мне место, предупредил, что не следует ни говорить, ни двигаться, а взвести курок и чутко прислушиваться. Охотники бесшумно прокрались на свои места, а я стоял один в надвигающемся сумраке.

И в темном лесу меня посетили видения из моей прежней жизни. Я узрел мою мать, узрел настоятельница, почувствовал на себе их осуждающие взоры. Евфимия шарахнулась ко мне, утрашая смертельной бледностью, вперяя в меня свои сверкающие черные зеницы. Она угрожающе воздела руки; с них капала кровь, эта кровь пролилась из смертельной раны Гермогена, я вскрикнул. Тут надо мной что-то просвистело, пролетая, я пальнул, не целясь, в воздух, и две куропатки шлепнулись на землю. «Браво!» — крикнул егерь, стоявший поодаль; он срезал третью.

Выстрелы щелкали теперь вокруг повсюду, потом охотники сошлись, показывая свои трофеи. Мой сосед егерь рассказывал, многозначительно косясь на меня, что я громко вскрикнул, когда пернатые порхнули у меня над головой, подал голос прямо как с перепугу и напропалую выстрелил, а двух куропаток все-таки добыл, хотя в темноте моему соседу, право слово, показалось, что я и ружье-то в другую сторону направил, а в куропаток все-таки попал. Старый лесничий от души рассмеялся и начал подтрунивать: меня, мол, всполошили лесные куры, и я даже начал от них отстреливаться.

— Кстати, сударь, — продолжал он, — хочу думать, что вы честный, праведный ловчий, а не вольный стрелок, у которого лукавый на побегушках, так что он может стрелять как угодно и все равно не промажет.

Эта явно беззлобная шутка старика задела меня за живое, и даже моя охотничья удача при моем тогдашнем смятении подавила меня. Больше, чем когда-либо, мое существо двоилось, как будто я двойник самого себя, и внутренний ужас разрушал то, что от меня осталось.

Когда мы вернулись домой, Христиан доложил нам, что монах сидит в башне тихохонько, не говорит ни слова и не прикасается к пище.

— Нет уж, хватит с меня этого монаха, — сказал лесничий, — похоже, что он неизлечим, а на грех мастера нет, вдруг он опять взбеленится и учинит в доме какую-нибудь ужасную пакость; нет, завтра поутру ранешенько в город его под присмотром Христиана и Франца; препроводительное письмо я уже давно составил, и пускай поместят его в специальное заведение.

Когда я уединился в моем покое, у меня перед глазами возник Гермоген, но стоило мне приглядеться к нему, он обернулся бесноватым монахом. Оба они соединились в моей душе и образовали некое знаменье, как будто высшая сила предостерегала меня: еще один шаг — и бездна. Я наткнулся на флягу, она все еще валялась на полу; монах осушил ее до последней капли, так что мне не грозило больше искушение хлебнуть еще, но из фляги все еще

одуряюще пахло, и я выбросил ее через окно за ограду, чтобы совершенно уничтожить влияние проклятого эликсира.

Спокойствие постепенно возвращалось ко мне, и меня даже подзадорила мысль, что я не чета тому хилому монаху; он хлебнул подобного напитка и спятил, а мой дух невредим. Я чувствовал, как мимоходом касается меня ужасная судьба; мне думалось, что старик лесничий неспроста видит в монахе несчастного Медардуса, то есть меня; это увещеванье высшей святой власти, не попускающей меня впасть в отчаянье без упования.

Не одно ли безумье, повсюду пересекающее мой путь, пронизало мою душу, все упорнее предостерегая от злого духа, зримо представшего мне, как я полагал, в призрачном образе зловещего живописца?

Теперь меня так и тянуло в княжескую резиденцию. Сестра моей приемной матери, точная копия настоятельницы, как я думал, судя по портрету, частенько попадавшемуся мне на глаза, должна была руководствовать заблудшего к праведной, безвинной жизни, некогда расцветавшей для меня, а в моем нынешнем просветлении для этого достаточно было взглянуть на нее, что оживило бы мои воспоминания. Сближение же с нею я предоставлял воле случая.

Едва развиднелось, я услышал во дворе голос лесничего; отъезжать мне с его сыном следовало рано, я бросился одеваться. Когда я спустился, у крыльца уже стояла подвода, устланная соломой, и ничто не препятствовало отъезду. Сходили за монахом; он был бледен, подавлен и не сопротивлялся. Он пропустил мимо ушей вопросы, не проглотил ни куска и едва ли обращал внимание на присутствующих. Его посадили на подводу и связали веревками, так как его состояние настораживало и никто не был уверен, что он вдруг не взбунтуется. Когда ему скручивали руки, по его лицу пробежала судорога и он тихонько охнул. Мое сердце заныло от жалости, я чувствовал, что мы с ним побратались и моим спасеньем я, быть может, обязан его злоключенью. Христиан и молодой егерь сели подле него. Только удаляясь, он заметил меня, и как будто вдруг его охватило глубокое изумление; подвода двигалась (мы провожали ее пешком), а он все поворачивал голову, не сводя с меня взгляда.

— Посмотрите-ка, — сказал лесничий, — как он вытаращился на вас; сдается мне, ваше присутствие тогда за столом застало его врасплох, и он снова взбесился; и прежде, знаете ли, когда он был паинькой, чужие нагоняли на него страху, и он все ждал, что чужой убьет его. Если уж он чего и боялся, так это смерти. Бывало, пригрозишь пристрелить его, и он сразу угомонится.

Я воспрянул духом, как только монах, этот искаженный жуткий образ моего «я», перестал мозолить мне глаза. Я уже предвкушал благотворное влияние княжеской резиденции, надеялся, что там освободят меня от рокового ига и я с новыми силами отрину злую власть, тяготевшую над моей жизнью. Как только был съеден завтрак, подъехала чистенькая дорожная бричка лесничего, запряженная резвыми лошадами.

Не без долгих уговоров убедил я радушную хозяйку принять немного денег; ее красавицам дочерям я с такими же церемониями преподнес несколько пустячков, которыми обычно торгуют коробейники; к счастью, мне было что подарить. Вся семья прощалась со мной так сердечно, как будто я успел стать своим в доме, старик все подшучивал над моим охотничьим везеньем. Я отъезжал, веселый и беззаботный.

Раздел четвертый. ПРИДВОРНАЯ ЖИЗНЬ

Княжеская резиденция являла собой разительный контраст купеческому городу, где я только что побывал. Не столь обширная, она была соразмернее и стройнее в своем зодчестве, но менее густо заселена. Некоторые улицы, настоящие аллеи по своему виду, принадлежали скорее княжескому парку, чем собственно городу; прохожие ступали чинно и степенно, грохот экипажа редко нарушал тишину. Даже одежда и осанка обывателей, не исключая

городских низов, отличались некоторой изысканностью и претензией на хороший тон.

Княжеский дворец отнюдь не поражал размерами и не претендовал на монументальность, однако по своему убранству и пропорциям был едва ли не красивейшим зданием, которое я дотопе видел; дворец был окружен прелестным парком, чьи красоты благожелательный властитель любезно предоставлял для обозрения своим подданным.

В гостинице, где я нашел пристанище, мне сказали, что князь и княгиня изволят посещать парк вечерами, и многие обыватели никогда не манкируют возможностью узреть великодушного венценосца. Я не пропустил урочного часа и видел, как выходят из дворца князь с супругой в сопровождении нескольких придворных.

Ах! но всех и вся затмила в моих глазах княгиня своим сходством с моей приемной матерью! Та же благородная гармония в каждом движении, тот же одухотворенный взор, ясное чело, небесная улыбка.

Разве что фигура ее отличалась большей округлостью, да и выглядела она моложавее, чем настоятельница. Княгиня любезно обращалась к некоторым особам, наведавшимся в ту же аллею, а князь, казалось, был поглощен интересным волнующим разговором с господином степенной и строгой наружности.

Князь и княгиня не выделялись на общем фоне ни костюмом, ни манерами. Видно было, что тон в городе задает княжеский двор и отсюда общее благочиние, известная невозмутимость и безыскусная выдержанность. К счастью, рядом со мной оказался рассудительный господин, не только рассеивавший всевозможные мои недоумения, но и то и дело вставлявший в разговор меткое словцо. Когда княжеская чета удалилась, он предложил мне экскурсию по парку, чтобы я как человек новый мог насладиться его красотами, встречавшимися здесь в изобилии; я не мог пожелать ничего лучшего и, действительно, повсюду находил дух грации и упорядоченности, хотя постройки, попадающиеся в парке там и сям, не самым выгодным образом выдавали античные пристрастия зодчего, ибо подобная предрасположенность являет свои преимущества лишь в монументальном стиле, теряясь иначе в деталях. Не смешны ли античные колонны, когда человек сколько-нибудь высокого роста может потрогать их капители? В другом уголке парка расхолаживала противоположная крайность: готика, низведенная до миниатюрности. Переимчивая приверженность готическим формам, по-моему, едва ли не более сомнительна, чем подражание античности. Ибо даже если маленькие капеллы действительно располагают зодчего, стесненного в тратах и, следовательно, в объемах здания, к стилю готическому, стрельчатые своды, затейливые столпы со всеми вычурами, перенимаемыми в той или иной церкви, все равно не удаются, поскольку истинных высот в этом стиле достигает лишь тот зодчий, которого глубоко одушевляет сама стихия, жившая в старых мастерах и позволявшая им сочетать причудливо разрозненное и, казалось бы, несовместимое в знаменательном великолепии осмысленного целого. Одним словом, лишь романтический дух, а что может быть редкостней, должен владеть зодчим, приверженным готике, ибо здесь исключена выучка, обусловленная античными формами. Я не скрыл моих соображений от моего собеседника, и он согласился со мною во всем, полагая, впрочем, что вышперечисленные малости извинительны, так как чрезмерное единообразие парка утомляло бы, не говоря уже о том, что постройки нужны как убежища от непредвиденного ненастья и, следовательно, известные просчеты неизбежны. На мой же взгляд, обыкновеннейшие павильончики, соломенные навесы на древесных стволах и в декоративных кустарниках лучше соответствовали бы подобному назначению, да еще очаровывали бы при этом, а уж если все-таки плотничать и вообще созидать, изощренный строитель, вынужденный сообразовываться со средствами и возможными масштабами, выбрал бы стиль, ориентированный на классику или на готику, но без педантичного копирования или натужного монументальничанья, не пытаясь превзойти непревзойденное искусство старых мастеров, а предпочитая приятное, то, что улаживает взор и душу.

— Лично я думаю, как вы, — ответил мой собеседник, — но архитектура всех этих зданий и самого парка подсказана самим князем, а этого достаточно, по крайней мере для

нас, постоянно здесь проживающих, чтобы умерить даже справедливые порицания. Князь — лучший из людей, когда-либо родившихся на свет; он всегда придерживался истинно отеческого установления, согласно которому не подданные служат ему, а он служит своим подданным. Свобода выражать все, что вы думаете, низкие подати, а отсюда приемлемая стоимость жизни, совершенное самоустранение полиции, которая без показного пафоса вводит в рамки лишь злостное бесчинство, отнюдь не досаждая ни местному обывателю, ни приезжему оскорбительным служебным рвением; отсутствие наглой военщины, уютная уравновешенность промышленной и деловой предприимчивости — все это вы наверняка оцените, пока будете гостить в наших не слишком просторных пределах. Бьюсь об заклад, никто еще не докучал вам расспросами касательно вашего имени и звания, и не в пример другим городам, хозяин гостиницы не предстал перед вами торжественно в первые же четверть часа с толстым фолиантом под мышкой и не пришлось вам тупым пером и выцветшими чернилами кое-как заполнять розыскной лист на самого себя. Короче говоря, все устройство нашего небольшого государства продиктовано истинной житейской мудростью, и мы обязаны этим нашему славному князю, так как я слышал, что в прежние времена жителей прямо-таки изводили глупые претензии двора, превратившегося в карманное издание соседнего величия. Наш князь благосклонствует искусствам и наукам, и поэтому каждый художник, достигший определенного мастерства, каждый глубокомысленный ученый — для него желанный гость, и степень их осведомленности — единственная родословная, открывающая доступ в интимный княжеский круг. Но именно в художественные и научные интересы князя при всей широте его вкусов и сведений закрался педантизм, навязанный воспитанием и сказывающийся в рабском следовании той или иной форме. Он предусматривал и с боязливой щепетильностью навязывал зодчим каждую деталь будущего здания; он прилежно устанавливает образцы, согласно трудам антиквариев, и малейшие новшества удручают его потом, особенно когда приходится приноравливаться к масштабам, навязанным более скромными возможностями. Под гнетом непререкаемой формы, приглянувшейся князю, страдает и наша сцена, безоговорочно подчиненная установленному со всей его эклектикой. Князь увлекается то тем, то другим; от этого, право же, никому нет обиды. Когда закладывали этот парк, он был страстным строителем и садовником; потом его захватил подъем, с некоторых пор переживаемый музыкой, и его энтузиазм подарил нам превосходную музыкальную капеллу. Затем его привлекла живопись, а в этом искусстве он сам достиг немало. Даже обычные придворные увеселения у нас чередуются. Сперва у нас преобладали балы, теперь в моде фараон, и князь, отнюдь не игрок по натуре, просто упивается странными прихотями случая, но не нужно ничего, кроме какого-нибудь нового впечатления, чтобы ситуация разительно переменилась. Столь капризную смену пристрастий иные осуждают, усматривая в ней поверхностность, тогда как лишь духовная глубина, подобная прозрачному озеру в солнечный день, отражает якобы верно многоцветный образ бытия; но, я полагаю, такие критики недооценивают нашего доброго князя, чей дух, по-своему отзывчивый, движет им так, что он с особенной страстностью предается то тому, то другому побуждению, не забывая при этом и не игнорируя ничего истинно возвышенного. Вы сами свидетель: парк никак не назовешь запущенным; наша капелла и наш театр также не скудеют и совершенствуются, да и картинная галерея не без новых приобретений, насколько позволяют наши средства, ну, а если говорить о калейдоскопе придворных развлечений, кто осудит за них впечатлительного государя, которому в самой жизни нужна беззаботная игра, чтобы отдохнуть от сосредоточенной и нередко напряженной деятельности.

Мы приблизились к живописным очаровательным кушам; деревья были роскошно обрамлены кустарниками, и я откровенно залюбовался ими, а мой проводник сказал:

— Все эти пейзажи, куртины и цветники — творение нашей несравненной княгини. Она настоящая художница и, кроме того, особенно любит естествознание. Вы видите здесь иноземные деревья, экзотическую растительность, но это не декорация и не выставка: все растения так подобраны, что не видно ни малейшего насилия, ничего искусственного, как

будто перед вами отпрыски родной почвы. Княгиня с отвращением отвергла неуклюжих богов и богинь, кое-как сработанных из песчаника, наяд и дриад, царивших здесь прежде. Этих болванов удалили отсюда, и здесь вам встретятся кое-где лишь хорошие копии антиков, которыми князь дорожит, как реликвиями, но княгиня сумела расположить их с благоговейным уважением к сокровенным чувствам князя и с художественной предусмотрительностью, восхищающей и тех, кому неведомы эти затаенные чувствования.

Был уже поздний вечер, когда мы выходили из парка, и мой проводник принял приглашение поужинать со мной в гостинице, представившись наконец: он был директором княжеской картинной галереи.

Воспользовавшись интимностью, возникшей за ужином, я признался ему, что горю желанием лично познакомиться с княжеской четой, и он заверил меня, что нет ничего легче: каждый образованный, мыслящий путешественник может быть вхож в придворный круг. Мне следовало только навестить гофмаршала, а уж тот, наверное, благосклонно откликнется на мою просьбу представить меня государю. Этот политичный путь ко двору не устраивал меня уже потому, что гофмаршал наверняка полюбопытствовал бы, откуда я родом, каково мое сословие и звание, а такие вопросы были для меня затруднительны, так что я решил ввериться воле случая, который с большей легкостью устраняет препятствия, и я не прогадал. Однажды утром я гулял в парке, еще безлюдном, и увидел князя, тоже гуляющего в простом сюртуке. Я приветствовал его, как будто вижу его в первый раз, он остановился, спросив меня для начала, не приезжий ли я. Я подтвердил это, добавив, что приехал недавно и не собирался задерживаться, но красоты местности, а в особенности уютная уравновешенность, чувствуемая здесь повсюду, так привлекли меня, что я решил не спешить. Руководствуясь в своей жизни лишь научно-художественными интересами, я склонен остаться здесь надолго, потому что все окружающее в высшей степени соответствует и благоприятствует моим исканиям. Князю, по-видимому, мои ответы доставили такое удовольствие, что он даже вызвался быть моим чичероне и показать мне красоты парка. Я поостерегся проговориться о том, что уже бывал здесь, и снова осмотрел все гроты, храмы, готические капеллы, павильоны, терпеливо внимая комментариям по поводу всех достопримечательностей, а князь, надо сказать, был словоохотлив. Он никогда не забывал назвать образец, которому следовали в том или ином случае, подчеркивал, как безукоризненно решена эта задача, и подробно описывал правила, по которым устроен этот парк и которым должны были бы подчиняться все парки. Он спросил, согласен ли я с ним, и я восхитился прелестью пейзажа, изобильной роскошью растительности, но, заговорив о зданиях, я повторил то, что уже слышал от меня директор галереи. Князь в свою очередь учтиво выслушал меня и, по-видимому, кое с чем внутренне согласился, однако пресек все же дальнейшую дискуссию замечанием, будто я прав, насколько может быть прав идеалист, но практический навык и умение осуществлять задуманное вряд ли свойственны мне. Мы заговорили об искусстве, и я блеснул основательными познаниями в живописи, не умолчав о моей вышколенной музыкальности; я даже позволял себе иногда спорить с его высказываниями, весьма неглупыми и меткими, но свидетельствующими о том, что его представления об искусстве, далеко превосходящие обычную осведомленность сильных мира сего в этих вопросах, все же недостаточны для того, чтобы почуять глубину, из которой черпает свое совершенное искусство истинный художник, воспламененный божественной искрой и взыскующий неподдельного. Выслушивая мои ответные выпады и оригинальные концепции, князь, очевидно, счел меня дилетантом, не умудренным художественной практикой. Он принялся растолковывать мне истинные тенденции живописи и музыки, особенности картин и опер.

Я приобрел много сведений о колорите, о драпировках, о балете, о серьезной и комической музыке, об ариях для примадонны, о хорах, о сценичности, о полумраке, об освещении и так далее. Я внимал всему этому, не прерывая князя, наслаждавшегося своими рацеями. Неожиданно он сам переменял материю, как бы невзначай осведомившись:

— А в фараон вы играете?

Услышав отрицательный ответ, князь продолжал:

— Поверьте мне, это великолепная игра; в своей высокой простоте эта игра для глубокомысленных. Вы смотрите на себя как бы со стороны, или, лучше сказать, вы поднимаетесь на пьедестал, откуда вы в состоянии созерцать загадочные сопряжения и узоры, всю ту, вообще говоря, незримую ткань, которой заявляет о себе таинственная инстанция, именуемая случаем. Выигрыш и проигрыш — два винта, на которых держится причудливый двигатель, запущенный нами, но функционирующий по собственной прихоти. Вам не обойтись без этой игры, я сам научу вас.

Я признался, что до сих пор игра не особенно привлекала меня, к тому же я предубежден против нее, как против опасной и даже губительной страсти.

Князь улыбнулся в ответ, пристально присматриваясь ко мне своими живыми ясными глазами:

— Ну, это разговоры, достойные детской, хотя вы можете счесть меня игроком, залучающим вас в свои тенета... А я князь; если вам по душе моя резиденция, живите здесь на здоровье, и добро пожаловать в мой кружок, где между прочим поигрывают в фараон, и пока еще игра никому не повредила, за этим я сам слежу, но, вообще говоря, игра требует значительных ставок, ибо случай косен, пока его не расшевелишь.

Уже удаляясь, князь обернулся ко мне и спросил:

— Однако кто мой собеседник?

Я ответил, что мое имя Леонард, что я подвигаюсь как ученый, нигде не служу, и мое происхождение отнюдь не знатное, так что мне вряд ли подобает воспользоваться оказанной мне милостью и посетить придворный круг.

— Что знатность, что знатность! — вспыхнул князь. — Я же по вас вижу, какой вы сведущий и мыслящий человек. Ученость — вот ваша знатность, она открывает вам доступ в мой круг. Adieu, господин Леонард, до свиданья!

Так я достиг желаемого раньше и легче, чем замышлял. Впервые в жизни я был приглашен ко двору, мне предстояло даже участвовать в придворной жизни, и в моей памяти пронеслись все истории придворных происков, заговоров, интриг, о которых я читал в романах и комедиях, высиживаемых досужими сочинителями. По свидетельству подобных авторов, властитель всегда окружен злоумышленниками всякого рода и пребывает в ослеплении, гофмаршал помешан на своей родословной и непроходимо глуп, первый министр — корыстный, бессовестный интриган, камер-юнкеры — сплошь развратники и осквернители девичьей чести. Каждое лицо фальшиво улыбается, а в сердце ласкательство и предательство. С виду тают от благожелательности и чувствительности, лебезят, сгибаются в три погибели, но каждый ненавидит себе подобного, только и думает о том, как бы подставить ему ножку, чтобы он упал и не поднялся и можно было пролезть вперед, пока тебя не постигнет та же участь. Придворные дамы тщеславны, притом помешаны на своих романах и только и делают, что расставляют свои тенета и силки, которых следует бояться как огня.

Такой образ двора сложился в моей душе, когда я читал о нем в семинарии, а читал я довольно много; я воображал, что при дворе колобродит беспрепятственно дьявол, и хотя Леонардус порядочно порассказал мне о дворах, которые он посещал, и его рассказы приметно расходились с моими представлениями, я все же робел перед всем придворным, что в особенности сказывалось теперь, когда двор открывался мне самому. И все-таки меня неодолимо подталкивало желание сблизиться с княгиней, и внутренний голос невнятным глаголами непрерывно нашептывал мне, что здесь определится моя участь, и в предназначенный час я не без внутреннего стеснения находился в княжеской прихожей.

Я достаточно обтесался в том имперском торговом городе, чтобы совершенно изгладилось в моем поведении все неуклюжее, чопорное, в общем, все монастырское. Будучи от природы гибок и безукоризненно строен, я легко перенял непринужденную подвижность светского человека. Как известно, даже лица красивых молодых монахов омрачены бледностью, а я избавился от нее, мои щеки порозовели, подтверждая, что я

нахожусь в расцвете лет и сил; об этом же говорил блеск моих глаз; мои темно-каштановые локоны скрывали все, что осталось от тонзуры. Ко всему прочему, я носил элегантный черный костюм в новейшем вкусе (я обзавелся им в торговом городе), так что неудивительно: моя наружность расположила ко мне общество, о чем свидетельствовало внимание ко мне, остающееся, впрочем, в рамках высшей утонченности и потому необременительное. Как по моей теории, основанной на романах и комедиях, князь, удостоив меня беседы в парке при словах: «Я князь», — собственно, должен был бы тут же расстегнуть сюртук, чтобы мне в глаза сверкнула большая звезда, знак отличия, так и все господа из княжеского окружения должны были бы щеголять в мундирах с позументами, а на головах у них должны были бы красоваться манерно взбитые букли, и я тем более удивился, встретив простые, в меру элегантные костюмы. Пришлось признать, что я представлял себе придворную жизнь превратно, как ребенок; моя скованность начала пропадать, а совсем уж ободрил меня сам князь, подошедший ко мне со словами: «Вот и господин Леонард!» — и сразу же начавший подшучивать над взыскательностью художественного критика: я, мол, подверг его парк настоящей ревизии.

Распахнулись двустворчатые двери, и в салон вошла княгиня; только две придворные дамы сопровождали ее. Как содрогнулся я внутренне, увидев ее; при свечах ее сходство с моей приемной матерью усугубилось.

Дамы окружили княгиню, ей представили меня, ее ответный взгляд выдал удивление и внутреннее замешательство; она пробормотала несколько слов, которых я не расслышал, потом что-то сказала старой даме, та тоже насторожилась и вперила в меня острый взгляд, что длилось не более мгновения.

Потом общество разделилось; где было больше, где меньше собеседников; разговоры оживлялись, царил свободная непринужденность, хотя придворный этикет давал себя знать, напоминая о присутствии государя, что, впрочем, не вызывало ни малейшего стеснения. Я пытался выделить хоть кого-нибудь, мало-мальски соответствующего моим представлениям о придворной жизни. Гофмаршал был бойкий старый весельчак, камер-юнкеры оказались резвыми юнцами, не внушавшими никаких подозрений. Две придворные дамы походили одна на другую, как две сестры; обе молоденькие, с виду малозначительные, не блещущие ничем, даже своими туалетами. Обществу не давал соскучиться коротыш со вздернутым носом и живыми блестящими глазами, весь в черном, с длинной стальной шпагой на боку; с неопикуемой быстротой он сновал туда-сюда, напоминая юркую змейку; он возникал то здесь, то там, уклонялся от разговоров, но не скупился на сотни едких экспромтов, искрящихся остроумием и как бы воспламеняющих каждого. То был княжеский лейб-медик.

Старая дама, наперсница княгини, неуловимым движением изолировала меня от окружающих, и я сам не заметил, как остался с ней с глазу на глаз в оконной нише. Она не замедлила заговорить со мной и при всем своем такте не сумела скрыть своей цели: ее интересовало, кто я и откуда.

Я ожидал подобных расспросов и, убедившись, что наименьшими опасностями грозит мне в таких случаях скупой незатейливый рассказ, не стал особенно распространяться о своей жизни, сообщив лишь, что сперва изучал теологию, но когда умер мой отец, оставив мне богатое наследство, отправился путешествовать из любопытства и любознательности. Место моего рождения я переместил в польско-пруссские владения и снабдил его таким наименованием, угрожающим целостности языка и зубов, что оно царапнуло ухо старой даме и та не отважилась переспросить.

— Ах, сударь, — сказала старая дама, — от вашей внешности здесь пробуждаются кое-какие грустные воспоминания, да и не умалчиваете ли вы из скромности о том, кто вы в действительности; едва ли студент-теолог держался бы с таким достоинством, как вы.

Было подано мороженое с прохладительными напитками, и общество перешло в зал, где был уже готов стол для игры в фараон. Гофмаршал держал банк, но, как мне потом сказали, уговорился с князем, что присваивает выигрыш, а в случае проигрыша фонды банка пополняет князь. Кавалеры встали вокруг стола, за исключением лейб-медика, никогда не

игравшего и потому составляющего компанию также не играющим дамам. Князь подозвал меня к себе и больше не отпускал, выбирая для меня карты и кратко объясняя ход игры. Ни одна карта князя не выигрывала, и я, следуя его советам, тоже непрерывно проигрывал, а проигрыш был немалый, так как ставки начинались с луидора. Мои финансы и без того иссякали, вынуждая меня все чаще прикидывать, как я поступлю, истратив последнее, тем более роковой могла оказаться для меня игра, грозившая полным разорением. При новой талье я попросил князя предоставить меня всем превратностям игры, так как я, очевидно, в игре несчастлив и приношу несчастье ему. Князь улыбнулся и сказал, что я бы мог еще отыгаться под руководством опытного игрока, однако, если я так самонадеян, он тоже не прочь взглянуть на дальнейшее.

Я вытянул карту напропалую, это была дама. Смешно признаться: я вообразил, что в стертом безжизненном карточном образе узнаю Аврелию. Я воззрился на карту и едва мог скрыть внутреннее смятение; к действительности вернул меня только возглас банкмета, призывавшего делать игру. Не долго думая, я извлек из кармана мои последние пять луидоров и поставил на даму. Дама выиграла, и я ставил на нее вновь и вновь, повышая ставки на сумму выигрыша. Всякий раз, когда я ставил на даму, игроки кричали:

— Нет, это невозможно, теперь дама будет неверна! — однако все их карты неизменно бывали биты.

— Сверхъестественно! Невероятно! — только и слышалось со всех сторон, а я в молчаливом самоуглублении, сосредоточившись всей душой на Аврелии, едва замечал золото, которое банкмет снова и снова придвигал ко мне.

Одним словом, в четырех последних тальях дама непрерывно выигрывала, наполняя мои карманы золотом. Через эту даму Фортуна подарила мне не менее двух тысяч луидоров, мои стесненные обстоятельства миновали, но мне было не по себе от неизъяснимой внутренней тревоги.

Меня настораживало таинственное сходство моего сегодняшнего счастья с недавним счастливым выстрелом, настигшим-таки куропаток. Я все более убеждался, что не я, а посторонняя власть, внедрившаяся в меня, навлекает невероятное, а я сам — лишь безвольное орудие, которым она пользуется ради неведомой цели. Сознание этой двойственности, расщепившей мой внутренний мир, обнадеживало меня, предвещая произрастание моей собственной внутренней силы, способной противостоять врагу и одолеть его. Вечное отражение Аврелии на моем пути было лишь гнусным соблазном, подстрекающим к дурному, и это кощунственное извращение чистейшего милого образа возмущало меня так, что воротило с души.

Весьма мрачно настроенный, пробирался я поутру парком и нечаянно встретил князя, тоже имевшего привычку гулять в этот час.

— Что, господин Леонард, — окликнул он меня, — как вы находите мой фараон? Что вы скажете о причуде случая, простившего вам ваши оплошности да еще подбросившего вам золота? Вам посчастливилось попасть в фавориты к даме, однако не слишком полагайтесь впредь на такой фавор.

Он пустился в подробности насчет фавора в карточной игре, излагал хитроумнейшие правила, как расположить к себе случай, и закончил увещанием, чтобы я ревностно преследовал свое счастье за карточным столом. Я же от всей души заверил его, что не возьму больше карты в руки и решение мое твердо. Князь посмотрел на меня с удивлением.

— Это решение, — продолжал я, — вызвано именно моим вчерашним головокружительным счастьем, так как я убедился в том, что карточная игра не только не безобидна, но прямо-таки пагубна. Я испытывал настоящий ужас, когда карта, безразличная мне, вытянутая вслепую, пробуждала во мне воспоминание, от которого разрывалось мое сердце, и я уже не принадлежал себе, не знаю, что мной двигало, подбрасывая мне счастье в игре с шальными выигрышами, как будто оно коренится во мне самом, как будто, вспоминая ту, чей лик сияет мне жгучими красками с безжизненной карты, я начинаю помывать случаем и прослеживаю его скрытые извивы...

— Я понимаю вас, — прервал меня князь, — у вас была несчастная любовь, и карта вызвала в вашей душе образ вашей утраты, хотя мне, с вашего позволения, это кажется несколько забавным, стоит мне вообразить подвернувшуюся вам даму червей с ее расплывшейся, бледной потешной физиономией. Однако вы, так или иначе, вспомнили вашу возлюбленную, и в игре она была вам более верна и принесла вам больше добра, чем в жизни, может быть, но что в этом ужасного или устрашающего, я не пойму, хоть убейте, по моему, благоволение счастья всегда радует, да и вообще, если вас настораживает фатальное совпадение счастья в игре с вашей милой, так игра-то здесь ни при чем, таково ваше особое расположение духа.

— Не спорю, ваше высочество, — ответил я, — но меня-то тревожит не столько опасность попасть в скверный переплет из-за проигрыша, сколько дерзость, заставляющая в открытой распре покушаться на таинственную силу, а она вдруг выходит из темноты вся в блеске обманчивого марева, залучает невесть куда, издевательски схватывает, и мы разможены. Не столкновение ли с этой силой так прельстительно, что человек в ребяческом самообольщении ввязывается в него и уже не может его прервать, в самой смерти уповая на торжество. Вот отчего, по-моему, происходит безумная страсть игрока и внутреннее потрясение, вызванное отнюдь не просто проигрышем и потому тем более убийственное. Но даже с более житейской точки зрения, пусть игрок еще не подвержен этой страсти, пусть враждебная стихия еще не обуяла его, но и тогда сам по себе проигрыш угрожает ему тысячами превратностей и даже полным разорением, хотя он играет, лишь повинувшись обстоятельствам. С вашего позволения, ваше высочество, я рискнул вчера всей моей дорожной кассой

— Вам ничего не грозило, — тотчас же ответил князь, — я бы возместил вам ваш проигрыш тройной суммой, так как я не хочу, чтобы мои развлечения кого-нибудь разоряли, кстати, это исключено: я знаю всех, кто играет за моим столом, я не спускаю с них глаз.

— Но тем самым, ваше высочество, — возразил я, — вы уничтожаете свободу игры и начинаете регулировать как раз те извивы случая, которые вам так интересно наблюдать за игрой. Да и не ухитрится ли тот или иной игрок, безрассудно приверженный своей страсти, избежать вашего присмотра, чего бы это ему ни стоило, и ввергнуть свою жизнь в напасть, которая разрушит ее? Не сочтите мою прямоту за дерзость, ваше высочество, однако, даже если свободой злоупотребляют, рамки, предписанные для нее, стеснительны и невыносимы, ибо само существо человека противится таким рамкам.

— Вы, кажется, никогда и ни в чем не разделяете моего мнения, господин Леонард, — вспыхнул князь и удалился, едва удостоив меня небрежного «adieu».

Я сам себе не отдавал отчета в том, почему я позволил себе такую прямоту; хотя в торговом городе я часто присутствовал при игре и крупные ставки были мне не внове, игра не настолько занимала мои мысли, чтобы с моих губ невольно срывались такие выстраданные суждения. Особенно меня удручала потеря княжеского расположения, что закрывало мне доступ ко двору, лишая надежды на сближение с княгиней. Однако я заблуждался, так как в тот же вечер получил пригласительный билет на концерт, и князь, приблизившись, по-дружески шутливо обратился ко мне:

— Добрый вечер, господин Леонард, дай Бог, чтобы моя капелла сегодня отличилась и моя музыка не разочаровала вас, как разочаровал мой парк.

Музыка и вправду была недурна, исполнение было четко отработано, удручал, однако, выбор пьес, одна как бы оспаривала другую, и настоящую скуку вызвал у меня один опус, угнетающий своей выверенностью и заданностью. Однако на этот раз я не пустился в откровенности, и хорошо сделал: впоследствии мне сказали, что затяжной опус — композиция самого князя.

Я не преминул посетить придворный круг и даже решил не уклоняться от фараона, чтобы угодить князю; тем более я удивился, не увидев банка. Стояли обычные карточные столы, но игрой были заняты далеко не все. Кавалеры и дамы составили кружок во главе с князем, и начался оживленный остроумный разговор. Кое-кто ухитрился вставлять весьма

занятные пассажи, не пренебрегали и весьма рискованными анекдотами; я призвал на помощь мои таланты, позволил себе даже намеки на некоторые подробности моей собственной жизни, искусно подернув их романтическим флером для вящей занимательности. Мне посчастливилось вызвать в кружке интерес, достаточно лестный для меня, однако князь предпочитал юмористические курьезы, а в этом не имел себе равных лейб-медик, так и сыпавший тысячами экспромтов и острых словечек.

Подобные развлечения привились и углубились до того, что возникло обыкновение читать в обществе написанное прежде, и наши вечера постепенно превратились в хорошо согласованные литературно-эстетические собрания, где князь председательствовал, а каждый находил простор для своих интересов.

Однажды нашим вниманием завладел ученый, глубокомысленно преуспевший в физике; он знакомил нас с новыми, интересными открытиями в своей области, и насколько одна часть общества, достаточно сведущая в науке, была захвачена, настолько же скучала другая его часть, не затронутая научными веяниями. Сам князь, видимо, потерял канву профессорских рассуждений и явно тяготился ими, вежливо ожидая конца. Когда профессор смолк, лейб-медик был доволен, как никто; он расхвалил профессора на все лады, добавив, однако, что высоконучное не только не исключает потешного, но даже предполагает нечто рассчитанное на увеселение и не преследующее других целей. Стыдившиеся своей слабости под гнетом чуждого авторитета приободрились, и по лицу самого князя пробежала улыбка удовлетворения: очевидно, князь лучше чувствовал себя на земле.

— Вашему высочеству ведомо, — начал лейб-медик, обратившись к князю, — что, путешествуя, я никогда не манкирую записями смешных происшествий, разнообразящих жизнь своими стечениями, в особенности же тщательно зарисовываю в моем путевом журнале разных уморительных оригиналов, на которых случалось натолкнуться, и вот из этого-то журнала я и намерен кое-что извлечь для вас, не замахиваясь на высшее и довольствуясь просто развлекательным.

В прошлом году забрел я как-то поздней ночью в большое приглядное село; до города надо было идти часа четыре, вот я и вздумал пристать в гостинице, вполне приличной, да и хозяин, бойкий и расторопный, располагал к себе. Измученный, даже разбитый долгим странствием, я повалился на постель в моей комнате, нуждаясь в спокойном, продолжительном сне, однако в час ночи меня разбудила флейта, на ней играли чуть ли не у меня под боком. Сроду я не слыхивал такой игры. Трудно было представить себе, какие же легкие у этого человека, ибо он прямо-таки уничтожал музыкальные возможности флейты одним и тем же пронзительным звуком, режущим уши, даже не пытаюсь сыграть что-нибудь другое, и невозможно было представить себе более мерзкую какофонию. Я поносил и клял про себя этого отпетого полоумного, отнимавшего у меня сон и вдобавок мучившего мои уши, однако с регулярностью часового механизма он трубил свое, пока не раздался глухой удар, словно что-то швырнули в стену, и тогда все замерло: я мог спать в свое удовольствие.

Утром я услышал, как внизу яростно переругиваются. Я узнал голос хозяина, которому перечил другой мужской голос, надрывающийся:

— Да пропади он пропадом, ваш дом; нелегкая занесла меня на его порог. Дьявол заманил меня в хоромину, где нельзя ни есть, ни пить — все такое тошнотворное, и цены кусаются. Вот вам ваши деньги, и adieu, ноги моей больше не будет в этой поганой пивнушке!

С этими словами выбежал тощий приземистый человек в сюртуке кофейного цвета и в круглом рыжем парике (ни дать ни взять, лисья шерсть); задиристо нахлобученная шляпа еле держалась поверх парика; человек бросился в конюшню, вскоре я увидел, как он выводит во двор не слишком резвого коня, чтобы удалиться тряским галопом.

Естественно, я предположил, что кто-то из проезжающих не поладил с хозяином и убрался подобру-поздорову; каково же было мое удивление, когда в полдень у меня на глазах та же самая кофейно-коричневая фигура в лисье-рыжем парике, удалившаяся утром, ввалилась в общую комнату и плюхнулась за стол, где был накрыт обед. Думаю, что мне еще

никогда не попадались лица смешнее и безобразнее. Вся его осанка отличалась такой нарочитой степенностью, что, глядя на него, просто разбирал смех. Мы обедали вместе, и мне случалось перемолвиться словом с хозяином, тогда как мой сотрапезник, поистине неутомимый едок, упорно помалкивал. Я не сразу смекнул, куда метит злоязычник хозяин, когда тот заговорил о повадках разных народов и осведомился, знаком ли я с ирландцами и знаю ли что-нибудь об их пресловутых выходках. «Кто о них не знает», — ответил я, и у меня в голове промелькнула целая череда подобных выходок.

Я помянул ирландца, которого спросили, зачем он напялил чулок наизнанку, а простофиля ответил: «Чтобы дырку скрыть!» Потом пришла мне на память великолепная выходка ирландца, спавшего в одной постели со злющим шотландцем и высунувшим голую ногу из-под одеяла, что заметил англичанин, зашедший в ту же комнату, мигом отстегнувший от своего сапога шпору и нацепивший ее ирландцу на ногу. Ирландец, не просыпаясь, подобрал ногу и царапнул шпорой шотландца, разбудив его, и тот залепил ирландцу изрядную оплеуху. Тогда между ними произошел следующий вразумительный разговор:

— Черт тебя побери, за что ты треснул меня?

— Ты же меня шпорой ободрал!

— Как это может быть, нешто я в сапогах ложился?

— Сам посмотри!

— Накажи меня Бог, ты прав; не иначе как тутошний служающий сапог снял, а шпора так и торчит на ноге!

Хозяин так и прыснул со смеху, а мой сотрапезник, наевшись до отвала и осушив большущий стакан пива, посмотрел на меня серьезно и сказал:

— Совершенно справедливо, у ирландцев часто бывают такие выходки, но дело тут не в народе; народ они деятельный и смысленый, а все дело в тамошнем поганом ветре; от него дурость нападает, как чох, ибо, сударь, хотя сам я англичанин, но из Ирландии родом и воспитывался там же, так что и я страдаю проклятущими выходками.

Хозяин покатывался со смеху, и я поневоле присоединился к нему: меня позабавило то, что ирландец, толкуя о выходках, сам отмачивал не последнюю из них. Смех ничуть не оскорбил нашего сотрапезника; он вытаращил глаза и, понюхав свой палец, изрек:

— В Англии ирландцы служат забористым перцем, без них общество было бы слишком пресно. Я сам если и подобен Фальстафу, но только в том, что не скуплюсь на шутки, а приобщаю к ним других, что, согласитесь, немаловажно в наше кислое время. Поверите ли, даже в этом пустом голенище, в распивочной хозяйской душе если и проклевывается что-то в этом роде, то с моей легкой руки. Но этот хозяин — хороший хозяин, он ни за что не притронется к жалкому золотому запасу своих остроумий, а если и тряхнет иногда мошной, то разве что в обществе богачей, когда можно рассчитывать на изрядную лихву; а если он сомневается насчет лихвы, то он показывает лишь корешок своей капитальной книги, как вам только что; этот корешок — якобы расточительный смех, лишь скрывающий истинную наличность шуток. Бог помощь, господи!

С этими словами оригинал шагнул за дверь, и я попросил хозяина рассказать мне, кто он такой.

— Это ирландец, — ответил хозяин, — по фамилии Эвсон, и на этом основании он считает себя англичанином, правда, корни его в Англии, но так или иначе он обосновался здесь недавно, ровно двадцать два года назад. Я сам был молод, приобрел только что эту гостиницу и праздновал свадьбу, а господин Эвсон, тогда еще желторотый, но уже в лисье-рыжем парике и в кофейно-коричневом сюртуке того же покроя, заглянул сюда, возвращаясь на родину; должно быть, его привлекла танцевальная музыка. Он клялся, что только на кораблях танцуют как следует, и он-де там заделался танцором сызмальства, вот он и вздумал сплясать нам хорнпайп, варварски насвистывая при этом сквозь зубы, и до того доплясался, что вывихнул себе ногу, свалился и остался выздоравливать. С тех пор он так и застрял у меня. Знали бы вы, как он досаждал мне своими причудами; день за днем сколько

уж лет он ругается со мной, все ему у нас не так да не эдак; он винит меня в том, что я обираю его, жалуется, что ему опостылела жизнь без ростбифа и портера; он упаковывается, напяливает все три своих парика, один на другой, прощается со мной и отбывает на своем полудохлом жеребце, но это всего-навсего прогулка; к полудню он въезжает через другие ворота, спокойно садится за стол, как вы видели сегодня, и за троих наедается, хоть кухня у нас, по его мнению, хуже некуда. Каждый год он получает внушительный вексель, так что в средствах он не стеснен; получив его, он трогательно прощается со мной, называет меня своим лучшим другом, проливает слезы, слезы текут и у меня по щекам, но только потому, что я с трудом сдерживаю смех. Потом он составляет духовную, как делается при смерти, говорит, что завещал все свое состояние моей старшей дочери, не торопясь уезжает и тащится в город. На третий, в крайнем случае на четвертый день он тут как тут; у него два новых кофейно-коричневых сюртука, три лисье-рыжих парика, один огнистее другого, шесть рубашек, новая серая шляпа и остальное, что требуется ему по части одежды; моя старшая дочь — его любимица, ей он привозит кулек сладостей, как будто она под стол пешком ходит, а ей уже восемнадцать лет. Потом он забывает и про город и про отъезд восвояси. Свои счета он погашает каждый вечер, завтрак оплачивает каждое утро, сердито бросив мне деньги, как будто уезжает навсегда. А вообще человека добрее, чем он, поискать; он и детей моих балует, задаривает, и бедняков не оставляет своими щедротами, только на священника он дуется, и то потому, что ему школьный учитель насплетничал: господин Эвсон бросил в кружку золотой, а священник разменял его на медяки. С тех пор Эвсон избегает священника и не ходит в церковь, за что священник ослабил его атеистом. Я уже говорил, как он досаждал мне; нрав у него сварливый, а какие он выкидывает коленца! Вот прямо-таки вчера возвращаюсь я домой и слышу: кричат — надрываются, узнаю Эвсона по голосу. Оказывается, он сцепился с моей служанкой. Он уже сбросил свой парик (он всегда так делает, когда разъярится), стоял с голой головой, без сюртука, в подтяжках перед служанкой, тыкал ей под нос толстую книгу, что-то показывая в ней пальцем, и ругался на чем свет стоит. Служанка же уперла руки в боки и вопила: пускай он других впутывает в свои делишки, лиходея такой, безбожник и так далее. Едва-едва я приструнил их и раскумекал, откуда ветер дует. Господин Эвсон потребовал у служанки облатку, чтобы запечатать письмо; до служанки не дошло, чего он хочет; ей взбрело в голову, будто он спрашивает облатку, которой у нас причащают, и, стало быть, задумал осквернить святое причастие, так как и сам священник предупреждал: он богопротивник. Вот она и отказалась выполнить его пожелание, а господин Эвсон решил, что у него произношение подгуляло и его не понимают; вот он и приволок свой англо-немецкий лексикон и принялся комментировать свою просьбу, ссылаясь на этот фолиант и говоря при этом сплошь по-английски, а крестьянская девка, во-первых, и читать-то не умеет, и английский язык для нее — дьявольская тарабарщина. Не приди я, они, пожалуй, подрались бы, и, боюсь, господину Эвсону не поздоровилось бы.

Я прервал рассказ хозяина о своеобразном постояльце, спросив, не господин ли Эвсон дудел ночью так невыносимо, что я не мог сомкнуть глаз.

— Ах, сударь, — отозвался хозяин, — это одна из привычек господина Эвсона, так он, в конце концов, всех гостей распугает. Тому три года будет, как воротился из города мой сын; парнишка — флейтист что надо; вот он и мусолил свой инструмент, чтобы не разучиться. А господину Эвсону вспало на ум, что он тоже играл на флейте прежде, и он проходу Францу не давал, пока тот не продал ему флейту и ноты, а уж за ценой господин Эвсон не постоял, надо правду сказать.

И господин Эвсон, глухой к музыке как пробка, принялся дудеть по нотам так прилежно, что дальше некуда. Он уже добрался до второго соло первого аллегро; тут-то и напоролся он на пассаж, который оказался ему не по зубам; и этот пассаж он дудит три года подряд по сто раз на дню, доводя до белого каления, запускает в стену сперва флейтой, потом париком. А поскольку флейта все-таки не железная, то он то и дело нуждается в новой флейте, и у него всегда под рукой три или четыре. Стоит винтику сломаться или клапану забарахлить, он выкидывает ее в окошко с криком: «Накажи меня Бог! Только английские

инструменты чего-нибудь стоят!» Все бы ничего, но ему часто приспичивает поиграть ночью, и тогда самый крепкий сон рушится от его иерихонской трубы. Поверите ли, у нас на казенной квартире проживает английский доктор почти столько же времени, сколько Эвсон живет у меня. Доктор этот прозывается Грин, и у них с господином Эвсоном нечто вроде симпатии, оба они оригиналы и юмористы на свой лад. Вот уж подлинно, им вместе тесно, а врозь скучно, но друг без друга им немогуту. Я как раз вспомнил, что господин Эвсон заказал мне пунш на сегодняшний вечер и пригласил на пунш нашего амтмана с доктором Грином. Если вы, сударь, найдете возможным погостить у меня до утра, то вы сможете сегодня вечером полюбоваться трилистником, какого и в комедии не увидишь.

Вы догадываетесь, ваше высочество, что спешить мне было некуда и я воспылил желанием узреть господина Эвсона во всем его блеске. И господин Эвсон вскоре явился собственной персоной, как только свечерело, он со всей учтивостью пригласил меня на пунш, добавив, что ему, право, неудобно потчевать меня никудышным пойлом, которое слывет здесь пуншем; только в Англии пунш — действительно пунш, вот он скоро туда вернется и будет ждать меня там, уж в Англии я смогу убедиться: приготовление этого божественного напитка — его истинное призвание. Я уже знал, чего стоят подобные посулы. Вскоре собрались другие званые гости. Амтман был низенький, кругленький, добродушнейший человек; носик у него был красный, а глазенки удовлетворенно поблескивали; доктор Грин был здоровяк средних лет; по его лицу сразу было видно, что он англичанин; одевался он по моде, но за собой особенно не следил; на носу у него были очки, на голове шляпа.

— Шампанского подайте мне до покраснения глаз! — воскликнул он с пафосом, шагнув к хозяину, вцепившись ему в бока и тормоза его. — Камбиз ты вероломный, где принцессы? здесь кофеем разит, а не напитком богов...

— Отстань, герой, кулак твой слишком крепок, и ребра мне он может размозжить, — возопил хозяин, задыхаясь.

— Заморыш! отпущу тебя не прежде, — продолжал доктор, — чем пунша сладкий дух мне защекочет нос, обворожив мой разум; не прежде, нет, виновный виночерпий!

Тут на доктора набросился Эвсон.

— Презренный Грин, твой грим стереть придется, и не спасут тебя твои гримасы, когда ты не отступишься немедленно.

«Ну, — подумал я, — драки не миновать». Однако доктор отозвался:

— Смешит меня трусливое бессилье. Что ж, буду я спокойно ждать напитка божественного, благородный Эвсон.

Он отпустил хозяина, и тот отскочил в сторону, с миной какого-нибудь Катона сел к столу, вооружился набитой трубкой и воздвиг настоящие фортификации из дыма.

— Хоть в театр не ходи, — сказал мне весельчак амтман, — доктор в руки не берет немецких книг, но однажды ему попался на глаза мой Шекспир, в шлегелевском то есть переводе, и с тех пор он повадился, как сам он выражается, старинные родные мелодии играть на заграничном инструменте. Обратите внимание, даже здешний целовальник изъясняется складно, доктор и его, так сказать, объямбил.

Хозяин принес дымящийся пунш, и хотя Эвсон и Грин клялись, что пить его невозможно, каждый из них опрокидывал один большой стакан за другим. При этом и разговор мы кое-как поддерживали. Грин был не из разговорчивых, лишь время от времени он комично противоречил собеседнику. Например, амтман заговорил о городском театре, и я уверял, что первый любовник играет отлично.

— Где там, — буркнул доктор, — не думаете ли вы, что если бы этот тип играл в шесть раз лучше, он был бы более достоин аплодисментов?

На это нечего было возразить, и я сказал только, что в шесть раз лучше не худо бы играть актеру, жалким образом подвизавшемуся в амплуа благородного отца.

— Где там, — снова буркнул Грин, — этот тип делает все, что может. Разве он виноват, что у него скверные наклонности? Зато в скверном нет ему равных, а на худой конец, и это

похвально.

У амтмана было свое амплуа. Он разжигал обоих, и они отвечали потешными вспышками и выпадами. Амтман помещался между ними как некое провоцирующее начало, и дело шло, пока не подействовал крепкий пунш. Тогда у Эвсона взыграло ретивое, и надтреснутым голосом он затянул национальные мелодии родного края, выбросил парик и сюртук за окно во двор, изошряясь в нелепом танце с такими умопомрачительными гримасами, что можно было надорвать себе живот со смеху. Доктор оставался невозмутим, зато его посещали самые невообразимые видения. Так, он принял пуншевый ковш за контрабас и вздумал царапать его ложкой, аккомпанируя Эвсону; лишь яростные протесты хозяина заставили его отказаться от этого намерения. Амтман заметно сникал; наконец он потащился в угол комнаты, где, плюхнувшись, расплакался. Целовальник указал мне на него глазами, и я спросил амтмана, что значит столь глубокая скорбь. «Ах! Ах! — прорвало его сквозь слезы. — Принц Евгений был великий полководец, и этот героический принц отдал Богу душу. Ах! Ах!» И расплакался еще пуще; слезы так и хлынули у него по щекам. Я попытался утешить его, напомнив, что сия великая утрата произошла в минувшем столетии, но мой собеседник был безутешен. Между тем доктор Грин схватил большие щипцы и, вместо того чтобы снять нагар со свечи, неумоимо пырлял ими в открытое окно. Он замахивался на самое луну, дабы избавить ее от несуществующего нагара, а она сияла себе светлешенько. Эвсон скакал и вопил, словно его допекает по крайней мере тысяча чертей, пока в комнату не вошел слуга с фонарем, невзирая на лунное сиянье, и не гаркнул: «К вашим услугам, господа! Пора и восвояси!» Доктор приблизился к нему и, пыхнув ему в лицо облаками дыма, изрек: «Здорово, друг! Ты Квинз, ты носишь лунный свет, собаку и терновник. Я здорово тебя почистил, ты стервец! Покойной ночи, много выпил я дрянного пойла; покойной ночи, целовальник, пока ты цел; покойной ночи, мой Пилад!»

Эвсон клятвенно предостерегал своих гостей, что они сломают себе шею по дороге, но никто его не слушал; дюжий слуга облапил доктора и амтмана, все еще минорно канючившего о принце Евгении, и они заковыляли по улице на свои казенные квартиры. Кое-как отволокли мы оголтелого Эвсона в его комнату, где он полночи насиловал свою флейту и мои уши, так что сна у меня не было ни в одном глазу, и я только в карете смог отоспаться после давешнего шума и беснованья.

Рассказ лейб-медика неоднократно прерывался смехом, пожалуй более громким, чем допускает придворный этикет. Князь, кажется, искренне веселился.

— Вы несправедливы, — сказал он, — к одной фигуре; убрали ее чуть ли не за кулисы, а ведь это вы сами, ибо, бьюсь об заклад, ваш юмор, подчас небезопасный, подогревал и придурь Эвсона, и пафос доктора, подвигнув их на тысячи перехлестов, так что вы сами были провоцирующим началом, за которое вы выдаете этого плаксу амтмана.

— Напротив, ваше высочество, — возразил лейб-медик, — этот клуб шальных сумасбродов настолько спелся, что голос постороннего только диссонировал бы. Оставаясь при музыкальной терминологии, я бы сказал, что эти трое образовали чистейшее трезвучие, в котором каждый звучал по-своему, но в совершенной гармонии с другими, а целовальник присоединился к ним, как септима.

Заданный тон удерживался в разговоре еще некоторое время, как у нас вошло в обычай, потом княжеская чета удалилась в свои покои, и общество в самом благодушном настроении разошлось.

Я все более обживался в новых для меня условиях. И чем более убаюкивало меня размеренное придворное и столичное благодушие, чем более за мной закреплялось место, которое я занимал не без успеха и не без чести для себя, тем безразличнее делалось мне мое прошлое, и ничто, казалось, уже не предвещало какую-нибудь перемену в моей судьбе. Князь явно благоволил ко мне, и, судя по многим беглым, но отчетливым признакам, я мог предположить, что он дорожит моим присутствием и намерен так или иначе упрочить его. Спору нет, известный предустановленный одинаковый уровень образования и общий ранжир умственных и художественных интересов, учреждаемых двором для всей резиденции, могли

бы отравить пребывание там человеку, чья незаурядная мысль требует полной свободы, однако, когда стеснения и по-своему жесткий распорядок придворной жизни слишком удручали меня, мне весьма пригодились прежняя приверженность уставу, которому надлежало неукоснительно повиноваться хотя бы внешне. Мое монашество не отпускало меня, несмотря ни на что.

Князь осыпал меня знаками внимания, однако княгиня оставалась холодной и неприступной, хотя я не жалел усилий, чтобы снискать ее доверительность. Я нередко с удивлением замечал, что мое присутствие тяготит ее и она только через силу бросает мне две-три дежурных любезности. При этом дамы, приближенные к ней, были снисходительнее; моя внешность не оставляла их равнодушными, и в общении с ними я приобрел светский лоск, именуемый галантностью и заключающийся в том, чтобы болтать с тою же пластической складностью, которая позволяет уместно вписываться в любой круг. Не каждому дано уклоняться в беседе от всего значительного и при этом ублажать женщину тонкостями, неуловимыми для нее самой. Очевидно, что такая галантность высшего полета несовместима с тяжеловесным угодничеством; прелесть ее в том, чтобы в простой занимательности угадывался гимн идолу вашей души, а это достигается вкрадчивым исследованием ее собственной души, когда перед ней она сама и ее услаждает пленительная зеркальность.

Кто бы теперь заподозрил во мне монаха! Некоторой опасностью угрожала мне разве что церковь, где всегда могла себя выдать монастырская выучка со своим специфическим ладом и настроенностью.

Всякий двор — в сущности, монетный двор, чеканящий придворных, как монеты, и общего чекана избежал только лейб-медик, что привлекало меня к нему, а его ко мне, так как ему была известна моя вольнодумная откровенность, задевшая своей дерзкой прямоотой восприимчивую чувствительность князя и освободившая двор от ненавистной игры в фараон.

Неудивительно, что мы частенько сходились потолковать о науке, об искусстве да и просто о житейском, происходящем у нас на глазах. Лейб-медик благоговел перед княгиней, как и я; он подтверждал, что именно княгиня мешает своему супругу впадать временами в тривиальность, к чему он довольно-таки склонен, и она же не дает ему скучать, ненавязчиво развлекая его то той, то другой игрушкой, без которых он удержу не знал бы в своих поверхностных пристрастиях. Разговор дал мне повод посетовать на досадное невезенье: моя скромная особа как будто внушает государыне невыносимую, для меня непостижимую неприязнь. Лейб-медик тотчас встал и вынул из ящика своего письменного стола миниатюрный портрет; его-то и протянул он мне с тем, чтобы я изучил его. Я так и поступил и не мог скрыть изумления, увидев на портрете свои собственные черты. Если бы не прическа и не костюм, дань современной моде, если бы не бакенбарды, шедевр Белькампо, портрет мог бы считаться моим портретом. Я так и сказал лейб-медику.

— Вот вам и объяснение, — сказал он. — Вот почему княгиня в беспокойстве и даже в страхе от вашего приближения; ваша внешность напоминает ей сокрушительный удар, от которого двор не мог оправиться много лет спустя. Прежний лейб-медик, умерший несколько лет назад, поведал мне, своему ученику, что произошло тогда в княжеской семье, и он же передал мне этот портрет, изображающий тогдашнего княжеского фаворита по имени Франческо, согласитесь, истинный шедевр живописи. Его написал один странный художник, он был нездешний, но тогда оказался при дворе и даже играл в трагедии главную роль.

Должен признаться, что портрет возбуждал во мне безотчетные опасения, ускользавшие от моего понимания. Казалось, портрет мог раскрыть тайну, распространявшуюся на меня самого, и я заклинал лейб-медика верить мне то, что я, по моему, имел право знать хотя бы на основании моего случайного сходства с Франческо.

— Немудрено, — сказал лейб-медик, — что ваше любопытство разыгралось до крайности, и я не могу назвать его праздным; хотя мне очень не хотелось бы ворошить

прошлое, к тому же до сих пор подернутое, по крайней мере для меня, покровом тайны, а откидывать этот покров мне хочется еще меньше, тем не менее негоже утаивать от вас то, что я все-таки знаю. Прошло много лет, и главные действующие лица покинули сцену, но воспоминание тут как тут, и воспоминание страшное. Обещаете ли вы никогда и никому не пересказывать то, что я вам сейчас открою?

Я обещал молчать, и лейб-медик приступил к рассказу:

— Когда князь наш сочетался узами брака, сразу же после свадьбы из далекого путешествия вернулся его брат; ему сопутствовал человек, он называл этого человека Франческо, хотя известно было, что тот родом из Германии; был с ними и некий художник. Принц был красавец и одним этим отличался бы от князя, не превосходи он его также изобилием жизни и духовных дарований. Молодая княгиня, тогда еще импульсивная до экстравагантности, что несколько разобщало ее с князем, слишком чопорным и церемонным, была очарована принцем, который, в свою очередь, подпал под обаяние юной красавицы невестки. Избегая греховных помыслов, они неуклонно сближались, и то, что было сильнее их, сочетало свои жертвы в пылкой взаимности.

Один лишь Франческо ни в чем не уступал своему другу, и как принц на княгиню, так и Франческо действовал на ее старшую сестру. Франческо скоро убедился в своем счастье, был достаточно хитер, чтобы не упустить своего, и увлечение княжны вспыхнуло неистовой сжигающей любовью. Князь не позволял себе усомниться в своей супруге и с негодованием отвергал кривотолки, доносившиеся до него, но к брату князь не мог относиться по-прежнему, и это тяготило его; не кто другой, как Франческо, умиротворял его внутреннее смятение, ибо князь восхищался его недюжинным умом и пронизательной осмотрительностью. Князь был не прочь вознести его выше других, но Франческо вполне устраивало то, что он тайный любимец князя и тайный возлюбленный княжны. Двор существовал, насколько это ему удавалось при таких обстоятельствах, и только эти четыре сердца, сплоченные тайными сочетаниями, блаженствовали в своем Эльдорадо любви, построив для себя незримую обитель, куда другие не допускались.

Не иначе как сам князь втайне от окружающих поспособствовал тому, что при дворе появилась итальянская принцесса, встреченная с подчеркнутым почетом; и прежде не исключалась возможность ее брака с принцем, а когда тот посетил двор ее отца, то обнаружил нечто большее, чем простой интерес к принцессе.

Она была неописуемо прекрасна, сама грация, само обаяние; это подтверждает чудный портрет; вы можете полюбоваться им в нашей картинной галерее. Ее блеск рассеял мрачную скуку, в которую был погружен двор; ни княгиня, ни ее сестра не могли с ней сравниться. Появление итальянки странно повлияло на Франческо: его нельзя было узнать; казалось, тайное уныние подтачивает его цветущую жизнь; он стал мрачен и неприступен; сама княжна, его возлюбленная, страдала от его холодности. Принц тоже пал духом; его обуревали волнения, с которыми он не мог совладать. А княгиню приезд итальянки поразил в сердце, как удар кинжала. Что же касается экзальтированной княжны, жизнь вообще утратила для нее свою прелесть, когда Франческо охладел к ней; так четыре сердца, утратив завидное счастье, поникли в тоске и унынье. Принц воспрянул первым; строгое целомудрие его невестки способствовало победе приезжей чаровницы. Он пленился княгиней, как неискушенный отрок, в глубине души таящий свою мечту, и эту мечту спугнуло неизведанное сладостное обетование красоты, которой блистала итальянка; так его подстерегли прежние тенета, едва он выпутался из них.

Чем больше эта любовь овладевала принцем, тем разительнее менялся Франческо; его и при дворе-то видели все реже, он больше бродил в мечтательном одиночестве или где-то пропадал, отсутствуя неделями. Зато странный живописец, всегда избегавший общества, чаще попадался людям на глаза и, не таясь, работал в мастерской, которую ему предоставила итальянка в доме, где жила сама. Он писал ее неоднократно с несравненным чувством, а княгини он чуждался, отказываясь ее писать, зато он завершил портрет княжны, ни разу не попросив ее позировать, и трудно было сказать, чего больше в этом портрете: красоты или

сходства. Итальянка очень отличала живописца, он отвечал ей такой любезностью и даже сердечностью, что принц приревновал принцессу к живописцу, и, застав его однажды в мастерской, где тот, взирая на головку итальянки, снова запечатленную его волшебством, не заметил знатного посетителя, принц прямо попросил его сделать одолжение и приискать себе другую мастерскую. Художник хладнокровно взмахнул кистью и молча снял портрет с мольберта. Принц в бешенстве выхватил портрет у него из рук со словами: портрет, мол, такой удачный, что он берет его себе. Живописец, не теряя хладнокровия, ответил принцу просьбой: портрет нуждается еще в двух-трех мазках; быть может, ему позволят завершить его. Принц водворил портрет на мольберт, и через несколько минут живописец вернул его, звонко засмеявшись, когда принц содрогнулся, увидев на портрете искаженное лицо. А живописец медленно уходил, но задержался у двери, пронзил принца взглядом, и голос живописца прозвучал глухо, но отчетливо: «Теперь тебе нет спасенья!»

Итальянка тогда уже была обручена с принцем, и через несколько дней ожидалось торжественное бракосочетание. Принц не принял близко к сердцу произошедшего в мастерской: живописец имел репутацию душевнобольного. Ходили слухи, будто он не выходит из своей конуры и глаз не сводит с чистого холста, а сам говорит, будто пишет великолепные картины; он больше не вспоминал о дворе, и двор не вспоминал о нем.

Принц обвенчался с итальянкой во дворце как нельзя торжественней; княгиня не перечила судьбе и подавила свою безнадежную склонность, княжна вся сияла, узрев своего ненаглядного Франческо, который снова был весел и полон жизни, как никогда. Для новобрачных предназначалось особое крыло замка, которое князь распорядился отстроить специально для них. Эти работы увлекли князя; его не видели иначе как в окружении архитекторов, художников, обойщиков; он перелистывал толстые фолианты, изучал планы, чертежи, наброски, сам разрабатывал их — и далеко не всегда удачно. Ни принц, ни его невеста не должны были видеть своих будущих покоев до дня бракосочетания, когда князь проводил их с длинной торжественной свитой в апартаменты, отделанные пышно и при этом со вкусом; в роскошном зале, похожем на цветущий сад, сыграли бал, которым праздник завершился. Ночью в покоях, отведенных принцу, послышался шум, сперва приглушенный, однако он нарастал, и вот уже настоящая суматоха разбудила самого князя. Почувствовав недоброе, он быстро поднялся, кликнул стражу, бросился в отдаленное крыло и как раз входил в широкий коридор, когда ему навстречу вынесли мертвого принца; его нашли у входа в покой новобрачной; он был убит ударом ножа в шею. Можно себе представить ужас князя, отчаянье княжны и глубокую скорбь княгини, поразившую ее в самое сердце.

Немного овладев собой, князь попытался выяснить, как могло произойти убийство и как убийца ускользнул через коридоры, где всюду стояла стража; заглянули во все тайники, но даже на след не напали. Паж принца дал показания, согласно которым его господин был охвачен какими-то опасениями и весьма беспокоен, долго шагал по своему кабинету, наконец велел раздеться себя, после чего паж зажженным канделябром светил ему до самого преддверия брачных покоев, где принц взял у него подсвечник и отпустил его, но не успел он выйти, как услышал приглушенный крик, звук удара и дребезжанье падающего канделябра. Паж поспешил обратно, и при свете свечи, не успевшей погаснуть, увидев тело принца у принцессиной двери и маленький окровавленный ножик подле него, он сразу же позвал на помощь.

А согласно рассказу супруги несчастного принца, он поспешно вошел к ней без всякой свечи, как только она удалила камеристок, сразу же потушил все свечи, провел с нею не более получаса и снова скрылся, а спустя несколько минут произошло убийство.

Когда представлялось уже невозможным установить личность убийцы или хотя бы напасть на его след, объявилась одна из принцессиных камеристок; когда живописец бросил принцу свой двусмысленный вызов, она оказалась невольной свидетельницей их странной ссоры, находясь в соседней комнате, а дверь была не закрыта, и камеристка рассказала все со всеми подробностями. Не возникало даже сомнений в том, что живописец непонятно как

прокрался во дворец и убил принца. Был отдан приказ незамедлительно арестовать его, но он скрылся два дня назад в неведомом направлении, и сыскать его не удалось. Двор скорбел, скорбела резиденция, и только Франческо, неизменно входящий в тесный семейный круг, иногда совершал чудо, привнося в него немного солнечного света.

В это время проявилась беременность принцессы, и поскольку никто не сомневался, что убийца принца использовал свое внешнее сходство с ним для гнусного обмана, принцесса отбыла в отдаленный княжеский замок, чтобы роды совершились втайне и плод сатанинского святотатства не запятнал, по крайней мере, память о несчастном супруге, так как опрометчиво было надеяться на преданную скромность слуг и свет мог узнать постыдную тайну брачной ночи.

Общая скорбь неуклонно сближала княжну и Франческо, и так же крепла его дружба с княжеской четой. Князь давно знал тайну Франческо; княжна и княгиня преодолели его колебания, и с его согласия теперь предстояло тайное венчание княжны с ее возлюбленным, который должен был поступить на службу при отдаленном дворе, достигнуть высокого воинского чина, и тогда его брак с княжной был бы объявлен. Между двумя дворами существовали союзнические обязательства, и никаких препятствий с этой стороны не предвиделось.

День бракосочетания наступил; в маленькую дворцовую капеллу, где намечалось венчание, никто не был допущен, кроме князя, княгини и двух доверенных лиц из придворных (один из них был мой предшественник). Единственный паж, посвященный в тайну, стерег двери.

Жених и невеста стояли перед алтарем; княжеский духовник, почтенный старец, начал обряд, отслужив тихую мессу. Вдруг Франческо побледнел и, уставившись в колонну у главного алтаря, глухо вскрикнул:

— Чего ты хочешь от меня?

Опершись на колонну, стоял живописец, одетый странно и не по-нашему; на плечах у него был фиолетовый плащ, а впалые черные глаза его сверлили Франческо своим призрачным взглядом. Княжна чуть не упала в обморок, все остальные содрогнулись, охваченные ужасом, только священник остался спокоен и спросил Франческо:

— Чем тебя устрашает присутствие этого человека, если твоя совесть чиста?

Тогда Франческо, еще стоявший на коленях, вдруг рванулся и с маленьким ножиком в руке бросился на живописца, но с глухим воплем поник и обмер, а живописец скрылся за колонной. Тут все встрепенулись и поспешили на помощь к Франческо: он лежал как мертвый. Чтобы не привлекать внимания, два доверенных лица перенесли его в комнату князя. Когда Франческо пришел в себя, он пожелал немедленно удалиться в свое жилище и не ответил ни на один вопрос князя о происшедшем в церкви. На другое утро Франческо бежал из резиденции со всеми драгоценностями, которыми его одарила милость принца и князя. Князь не остановился ни перед чем, чтобы установить, как проник в церковь художник, подобный призраку. В церкви было два выхода; один вел из внутренних покоев дворца в помещение, прилегающее к алтарю; другой вел в неф церкви из широкого парадного коридора. Этот выход стерег паж от какого-нибудь любопытного соглядатая, другой же был заперт на ключ, так что было непостижимо, как появился и как исчез живописец.

Нож, который Франческо поднял на живописца, остался у него в руке, как бы судорожно сжатой даже в обмороке; при этом паж, раздевавший принца после свадьбы и стороживший дверь церкви, уверял, что тот же самый ножик валялся подле мертвого принца; его блестящего серебряного черенка не спутаешь ни с каким другим.

Не успели произойти эти таинственные события, как новая весть поразила двор: в тот самый день, когда Франческо должен был обвенчаться с княжной, принцесса родила сына и, разрешившись от бремени, вскоре умерла.

Князь оплакивал эту утрату, хотя тайна брачной ночи тяготела над покойной, в известной степени бросая тень и на нее, быть может ни в чем неповинную. Ее сын, плод

кошунственного, мерзкого посягательства, воспитывался на чужбине, называясь графом Викторинном. Княжна, сестра княгини, раненная в сердце непрерывной чередой ужасных событий, выбрала монастырь. Она, как вам, вероятно, известно, настоятельница цистерцианского монастыря в...

При этом усматривается странная, таинственная аналогия между событиями, постигшими наш двор тогда, и тем, что недавно разыгралось в замке барона Ф., разметав его семью, как некогда здешний княжеский род. Ведь княжна-настоятельница пожалела одну бедную паломницу, посетившую монастырь с маленьким сыном, и этого-то сына...

Тут лейб-медика прервал чей-то визит, иначе буря, поднявшаяся во мне, чего доброго, выдала бы себя. Истина предстала перед моей душой: Франческо был мой отец; он убил принца тем же ножом, которым я прикончил Гермогена.

Я наметил свой отъезд в Италию на ближайшее время, чтобы переступить наконец проклятый круг, очерченный вокруг меня неприязненной вражеской властью. В тот же вечер я посетил придворный кружок; там рассказывали исключительно о новой придворной даме из приближенных княгини; очаровательная девушка, писаная красавица, она приехала намеренно и сегодня должна была впервые появиться во дворе.

Двустворчатая дверь открылась, вошла княгиня, и с ней новоприбывшая. Я узнал Аврелию.

Часть вторая

Раздел первый.

РАСПУТЬЕ

В какой жизни, в какой груди не всходила однажды заветная тайна любви! Не знаю, кто ты, будущий читатель сих листков, заклинаю тебя, обратись к своему бывшему солнечному зениту, дабы снова узреть обаятельный женский лик, явленный тебе самим духом любви! Не в ней ли одной мнил ты обрести самого себя, только лучшего и высшего? Неужели ты забыл, как отчетливо доносилась весть о твоей любви и в плеске ручья, и в лепете кустарников, и в поцелуях вечернего зефира? Или от внутреннего взора твоего уже скрыты светлые дружелюбные очи цветов, а в них привет ее и лобзание?

И она посетила тебя, готовая стать всецело твоей. Ты обнял ее в жарком вожделении, чтобы вознестись над землей в томительном пламени!

Однако мистерия обошла тебя; тяготение могучего беспощадного мрака вернуло тебя на землю, когда ты уже воспарил было с нею в заповедное запредельное. Ты лишился ее, не успев о ней возмечтать; все голоса, все звуки отзвучали; только безответный плач твоего одиночества все еще жутко оглашал беспросветную пустыню.

О ты, чужедальный неизвестный! Если и тебя сокрушала когда-нибудь подобная мука, которой нет названия, ты будешь вторить безутешному рыданию седого чернеца, чьи кровавые слезы мочат жесткое ложе, а подавленные смертельные вздохи разносятся тихой ночью по темным монастырским коридорам, когда ему в неосвященной келье мерещится солнечный зенит его любви. Однако и тебе, мой задушевный родич, не может быть неведомо: лишь в смерти наступает высшая услада любви, свершенье тайны. В этом заверяет нас неизмеримая в земных пределах старина темными гласами прорицателей, и для нас, как в торжественных обрядах, доступных грудным детям природы, смерть — истинное священнодействие любви.

Молния ударила мне в душу, дыханье сперлось, пульс заколотился, сердце дернулось в судороге, грудь едва не взорвалась. К ней — к ней — заключить ее в объятия в бешенстве любовного безумия!

— И ты, мятежница, думаешь расторгнуть узы, нерушимо связующие меня и тебя? Да ты же моя! Не навсегда ли моя? — Однако вернее, чем прежде, когда я впервые увидел

Аврелию в замке барона, обуздал я неистовство моей страсти. К счастью, никто глаз не сводил с Аврелии, всем было не до меня, и ничье внимание не досаждало мне; никто не наблюдал за мною и не обращался ко мне: я этого не стерпел бы; для меня никто не существовал, кроме нее, и общее восхищение потворствовало моей мечте.

Напрасно утверждают, будто истинная девичья красота выигрывает, одетая по-домашнему, простенько: нет, женские наряды обладают неизъяснимым обаянием, которому предаешься поневоле. Не глубинная ли женственность распорядилась так, что соответствующий наряд позволяет сокровенной прелести распуститься краше и ярче, как цветы лишь тогда поистине хороши, когда они вспыхивают в безудержном роскошестве пестрых сверкающих красок?

Когда любимая впервые предстала тебе в пышном наряде, не потряс ли непостижимый озноб твои жилы и нервы? Она от тебя отдалилась, но именно это усугубило ее несказанные чары. Какой восторг и какое невыразимое упоение вздрагивали в тебе, когда ты тайком пожимал ее ручку!

До сих пор я созерцал Аврелию лишь в скромном домашнем платье, а сегодня узрел ее во всем великолепии, приличествующем придворной даме.

Как очаровательна она была! Слов не нашлось бы, чтобы выразить, каким головокружительным обаянием я был охвачен и пленен.

Однако тут же во мне ополчился лукавый дух, и его нарастающий голос не был неприятен моему податливому слуху. «Смотри-ка, Медардус, — завораживал меня его шепот, — неужели ты не видишь, что судьба у тебя на побегушках, что случай — твой слуга, прилежный ткач, а пряжа-то, запряжка-то твоя!»

В придворном кружке встречались дамы, чья наружность заслуживала всяческих похвал, но перед неотразимым всепокоряющим очарованием Аврелии все потускнело, как бы утрачивая свой блеск. Перед ней не могли устоять и закоренелые флегматики; осекались даже стареющие львы, понаторевшие в придворных разглагольствованиях, где тон задают слова, значенье которых варьируется от внешних обстоятельств; и досужий зритель мог бы развлечься, потешаясь над тем, как натужно силился каждый покрасоваться изысканным оборотом или хотя бы какой-нибудь миной, лишь бы новенькая взглянула на него благосклонно. Аврелия мило вспыхивала в ответ на все эти любезности, но не поднимала глаз, пока князь не занял беседой старших кавалеров, расположившихся вокруг него, и к ней не приблизился кое-кто из юных красавчиков, говоря робкие, но достаточно лестные комплименты, что заметно оживило ее, слегка рассеяв девичье смущение. Особенно преуспел в этом один лейб-гвардии майор; он явно заинтересовал ее и вовлек в разговор, для нее занимательный. Я знал этого майора; он слыл присяжным дамским угодником. Ему ничего не стоило безобиднейшими с виду приемами воздействовать на чувствительную собеседницу, так что она была от него без ума. Он обладал абсолютным слухом на неуловимейшие созвучия и с искусством настоящего импровизатора накликал желаемые, родственные аккорды, а замороженная принимала манок обольстителя за свою собственную сокровенную музыку.

Я был поблизости, но она, казалось, меня не замечала; меня тянуло к ней, но как бы невидимые железы неумолимо удерживали меня.

Я бросил на майора еще один острый взгляд и вообразил, будто майор — не майор, а Викторин. Тут на меня напал язвительный смех:

— А, гнусный распутник, видно, в Чертовой пропасти тебе была послана перина, вот у тебя и вышло ретивое и ты, взбесившись, посягаешь на избранницу монаха?

Не знаю, вырвались ли у меня эти слова в действительности, но как бы сквозь глубочайший сон донесся до меня мой собственный хохот и разбудил меня как раз в тот момент, когда гофмаршал коснулся моей руки, обращаясь ко мне:

— Что это так развеселило вас, дражайший господин Леонард?

Ледяной холод пробрал меня. Не с такими же словами обратился ко мне набожный брат Кирилл, увидев мою кощунственную усмешку, когда меня постригали?

Мне едва удалось выдать из себя в ответ какую-то невнятицу. Если меня что и занимало, то отсутствие Аврелии, скорее угаданное, нежели увиденное мною, так как я не смел поднять глаз и кинулся прочь в ярком свете, заливающим залы дворца. Не иначе как в моем существе проступило нечто жуткое; от меня не ускользнул испуг встречных, уступавших мне дорогу, когда я скорее перепрыгивал ступени широкой лестницы, чем спускался по ним.

Я удалился от двора, так как считал невозможным свидеться с Аврелией и не выдать при этом мою глубочайшую тайну. На лугах и в лесах искал я желанного одиночества, а передо мной была она одна, и в мыслях моих была она одна. Все убеждало меня в том, что темная судьба вплела ее жизнь в мою, так что я обманывался, считая порою преступным святотатством осуществление незыблемого предначертания. Я взвинчивал себя вызывающим смехом, как будто Аврелия не может опознать во мне убийцу и, стало быть, я, убийца Гермогена, вне опасности. Я прямо-таки отказывался взвешивать всерьез возможность, опасную для меня.

Какими ничтожествами представлялись мне молодчики, суетно увивавшиеся вокруг нее. Она же моя и только моя, каждый вздох ее — веяние моего существа.

Что мне все эти графы, бароны, камергеры, офицерики в своей пестрой чешуе, в своем сусальном золоте, со своими мнимыми звездами, что они такое, если не прихорашивающиеся, немощные светлячки, назойливый народец, но один удар моего кулака, и от них останется мокрое место.

Я войду к ним в рясе, Аврелия будет в подвенечном уборе; я обниму ее при всех, и сама гордячка-княгиня, моя ненавистница, постелет свадебное ложе триумфатору-монаху, которым она брезговала.

Оттачивая такие умыслы, я то и дело выкрикивал имя Аврелии, дико смеялся и выл как бесноватый. Но пароксизмы проходили. Спокойствие возвращалось ко мне вместе с решимостью, и близость Аврелии перестала казаться несбыточной мечтой.

Как-то я крался парком, подумывая, не посетить ли мне вечернее общество, ведь князь как-никак приглашал меня; вдруг чья-то рука хлопнула меня сзади по плечу. Я обернулся. Передо мной стоял лейб-медик.

— Ну-ка, а как поживает наш благороднейший пульс, — начал он сразу же, схватив меня за руку и поймав мой взор.

— В чем дело? — удивился я.

— Да ни в чем, с вашего позволения, — продолжал он, — предполагается только, что здесь тайком и втихомолку рыщет некая хворь, по-бандитски набрасываясь на человека и так допекает его, что тот слегка взвизгивает, а временами визг не отличишь от истерического хохота. Не исключено, что это всего-навсего морок, нечестивая нечисть, а то и просто небольшая горячка, бросающая в жар; так что, дражайший, меня интересует ваш несравненный пульс.

— Но позвольте, сударь, ваши слова для меня — суцая абракадабра, — вскинулся я, однако лейб-медик не выпустил моей руки и, глядя на небо, считал мой пульс: один-два-три!

Он держался так странно и таинственно, что я не мог не добиваться от него, куда он, собственно, клонит.

— Будто вам невдомек, дражайший господин Леонард, что вы озадачили и всполошили весь двор? Обер-гофмейстерину все еще мучают судороги, а президент консистории манкирует важнейшими сессиями, ибо вы изволили отдавить на бегу его подагрические конечности; он сидит в кресле и вопит благим матом, когда ему кольнет, а происходит это частенько. Прямо скажем, угораздило вас взбелениться и ринуться из зала с таким беспричинным хохотом, что у всех волосы на голове зашевелились от ужаса.

Тут я подумал о гофмаршале и предположил, что действительно мои мысли могли рассмешить меня (я припоминаю что-то в этом роде), но тем более я вряд ли допустил какую-нибудь неловкость, так как сам гофмаршал всего лишь мягко осведомился о причине моего веселья.

— Так, так, — продолжал лейб-медик, — это еще ни о чем не говорит; наш гофмаршал — поистине homo impravidus ⁸, его сам дьявол не проймет. Его неизменная dolcezza ⁹ ничуть не пострадала, хотя вышеупомянутый президент консистории и впрямь заподозрил, что из вас, дражайший, прыснул сам дьявол, а наша очаровательная Аврелия так оробела и перепугалась, что пропала даром все усилия присутствующих развлечь ее и она вскоре удалилась, приведя в отчаянье всех своих поклонников, чьи взбудораженные тупеи прямо-таки дымились от любовного пыла. В то самое мгновение, когда вы, мой драгоценный, так беззаботно веселились, Аврелия, помнится, закричала: «Гермоген», — и ее крик поразил меня в самое сердце. Так, так и в чем же дело? Вы, пожалуй, преуменьшаете вашу осведомленность, а ведь вам не занимать любезности, веселости и рассудительности, господин Леонард; я просто с удовольствием вспоминаю, как я поделился с вами любопытной историей Франческо; недурно бы вам извлечь из нее уроки!

Лейб-медик все еще крепко держал меня за руку и неотступно смотрел мне в глаза.

— Не пойму, — сказал я, довольно грубо вырываясь, — не пойму, на что вы так странно намекаете, сударь, но не скрою: когда я увидел, как увиваются вокруг Аврелии эти франты, чьи взбудораженные тупеи дымились от любовного пыла (ваше остроумие неподражаемо), то меня полоснуло по сердцу одно весьма едкое воспоминание, разбередив кое-какие прежние шрамы, и, глядя на бестолковые замашки некоторых смертных, я, к сожалению, взял да и рассмеялся в приступе саркастического гнева. Я раскаиваюсь в том, что непреднамеренно вызвал такой переполох, вот я и наложил на себя епитимью: подвергнув себя добровольному остракизму, я не появляюсь при дворе. Надеюсь, что княгиня, надеюсь, что Аврелия извинят меня.

— Так, так, любезный господин Леонард, — вставил лейб-медик, — на человека иногда накатывает, что верно, то верно, но ведь подобные приступы ни о чем, кто чист сердцем.

— А разве кто-нибудь чист сердцем? — глухо спросила пустота, таящаяся во мне.

Доктор вдруг переменялся в лице и заговорил иначе.

— Сдается мне, — сказал он мягко и серьезно, — сдается мне, что вам и вправду неможется. В лице ни кровинки, приметное смятение... Глаза впалые, красные, воспаленные... Пульс горячий. Голос глухой... я бы прописал вам что-нибудь.

— Яду! — проглотил я свой невольный ответ.

— Ну и ну! — отозвался лейб-медик. — Вот, значит, вам какво! Яд вам, право же, ни к чему; скорее я порекомендовал бы вам другое успокоительное: развлечения в обществе.

— Довольно, — закричал я в бешенстве, — довольно мучить меня уклончивыми, невнятными обиняками, лучше давайте начистоту...

— Полноте, — прервал меня лейб-медик, — полноте... Случаются престранные заблуждения, господин Леонард; сдается мне, я вряд ли ошибаюсь... Мгновенное впечатление повлекло за собой гипотезу, и достаточно нескольких минут, чтобы опровергнуть ее. Вот идут княгиня и Аврелия, не избегайте их общества, воспользуйтесь случаем, принесите им извинения... Собственно... Господи... что, собственно, вы сделали? Ваш смех, несколько эксцентричный смех, такой ли уж это проступок? С кого может быть спрос, если нервы сдают у иных и они подвержены болезненному страху? Всего хорошего!

Лейб-медик отскочил в сторону с привычным проворством. Княгиня и Аврелия действительно спускались по уклону. Я вздрогнул и постарался собраться с силами. Я чувствовал, что лейб-медик недаром недоговаривает, что я должен оправдаться немедленно, иначе будет худо. Я вызывающе шагнул навстречу дамам. Не успела Аврелия увидеть меня, как она глухо вскрикнула и рухнула замертво. Я хотел поднять ее, но княгиня замахала на

⁸ неустрашимый муж (лат.).

⁹ благодушие (ит.).

меня руками с отвращением и ужасом, громко зовя на помощь. Я бросился прочь и бежал через парк, словно фурии и дьяволы нахлестывают меня. Я заперся в своем жилище и повергся на свое ложе в ярости и отчаянье, со скрежетом зубным!

Свечерело, и уже начиналась ночь, когда до меня донеслось хлопанье распахнутой двери, шепот и говор многих голосов; кто-то мешкал на лестнице, потом затоптали, поднимаясь ко мне, наконец, застучали в дверь и потребовали отворить именем закона. Не уяснив толком, кто и что грозит мне, я тем не менее отчетливо почувствовал: это конец. «Бежать», — мелькнуло у меня в голове. Я открыл окно и увидел вооруженную стражу перед домом. «Куда?» — закричал один стражник, особенно бдительный. Дверь моей спальни взломали, в мою комнату вошли с фонарем, и я понял, что это полицейские. Мне предъявили ордер на арест по предписанию уголовного суда; сопротивляться было бы глупо. Перед домом стояла карета, меня водворили туда, и когда я решил, что мы приехали, в ответ на мой вопрос о местонахождении мне сказали: «Это тюрьма верхней крепости». Мне было известно: там до приговора сидят в строжайшем заключении опасные преступники. Вскоре мне принесли кровать, и тюремный надзиратель спросил меня, не будет ли еще каких-нибудь желаний. Я не пожелал больше ничего, и меня, наконец, оставили в покое. Шаги еще долго звучали в коридорах; много дверей открывалось и закрывалось; очевидно, меня поместили во внутреннюю тюрьму, чтобы предотвратить побег.

Сам не знаю почему, но, пока меня везли, а это продолжалось довольно долго, я испытывал какое-то умиротворенье; чувства мои притупились, и предметы мелькали в окошке, тусклые и выцветшие. Я не то чтобы спал, однако парализующее забытье подавило мои мысли и представления. Утренний свет разбудил меня, и только тогда я постепенно осознал, что постигло меня и куда меня доставили. Я бы никогда не подумал, что я в тюрьме; своды напоминали скорее монастырскую келью; однако крохотное оконце было основательно зарешечено железными прутьями и помещалось так высоко, что я не мог до него дотянуться, не говоря уже о том, чтобы выглянуть. Солнечные лучи отмеривались мне скудно; меня подмывало взглянуть на окрестности; я пододвинул кровать под окно, водрузил на нее стол и уже готов был на него взобраться, когда вошел надзиратель и был, казалось, весьма удивлен моим начинанием. Надзиратель спросил меня, что я задумал; я ответил, что хотел только осмотреться; молча унес он стол, кровать и стул и снова запер меня без малейшего промедленья. Едва ли минул час, как он вошел ко мне снова; с ним были двое; меня вели по длинным коридорам и по ступенькам то вверх, то вниз; следователь ждал меня в маленьком зале. Подле него сидел молодой человек и тщательно записывал под диктовку следователя мои показания. Мое прежнее положение и устойчивая репутация при дворе, вероятно, обусловили подчеркнутую вежливость судейских; она, кроме того, убеждала меня в том, что арест мой основывался не на прямых уликах, а всего лишь на смутных эмоциях Аврелии. Следователь поинтересовался моими прежними жизненными обстоятельствами, настаивая на точном их изложении; я же осведомился о причине моего внезапного ареста; он ответил, что суть обвинения будет точно доведена до моего сведения в надлежащее время. Пока дело сводится к тому, чтобы в точности узнать весь мой жизненный путь до моего прибытия в резиденцию, и долг следователя предупредить меня: у следствия нет недостатка в способах досконально проверить все, что я сообщу, так что мне лучше ни на йоту не отклоняться от правды. Предостережения следователя не пропали для меня даром; этот заморыш, похожий на рыжего лисенка, своим хриплым потешным кваканьем напомнил мне нить моей биографии, которую я начал рассказывать при дворе, назвав свое имя и место рождения; эту нить и надлежало мне продолжить.

Следовало опустить все из ряду вон выходящее, прочертить мой жизненный путь в будничном, но перенести его куда-нибудь подальше, в неопределенное, чтобы отбить охоту к дотошным уточнениям и, по возможности, отвадить недоверчивых.

Тут в моей памяти возник молодой поляк, мой коллега по семинарии в Б.; его житейские обстоятельства меня вполне устраивали. Заручившись такой оснасткой, я приступил к моим показаниям:

— Не иначе как против меня выдвигают тяжкое обвинение, однако вся моя здешняя жизнь проходила на глазах у князя и всего города, и пока я здесь живу, ни о каких преступлениях не было речи, так что для обвинения нет никакой почвы. Стало быть, обвинение идет откуда-то со стороны, и мне приписывают нечто, совершенное прежде, а так как моя совесть совершенно чиста, мне остается предположить, что меня, к несчастью моему, приняли за кого-то другого; тем более жестоко, согласитесь, сажать меня в тюрьму как уголовного преступника, лишь потому, что моя внешность кого-то насторожила и настроила против меня. Казалось бы, что может быть проще, чем устроить мне очную ставку с моим безответственным недоброжелателем, если он сам не злоумышленник, а это весьма вероятно. Хотя нет, он не злоумышленник, он скорее придурковатый глупец.

— Не забываетесь, не забываетесь, господин Леонард, — заквакал следователь, — знайте меру, а то вы можете допустить непристойный выпад против знатных персон, и со стороны, как вы выразились, господин Леонард или господин... (он осекся)... опознала вас отнюдь не безответственность и, тем более, не придурковатая глупость, а... Кроме того, до нас дошли заслуживающие доверия свидетельства из...

Он назвал местность, где расположены поместья барона Ф., и мои последние сомнения рассеялись. Не кто иной, как Аврелия, опознала во мне монаха, зарезавшего ее брата. Этот монах был, разумеется, Медардус, знаменитый капуцин-проповедник из монастыря в Б. Это подтвердил Рейнгольд, да и сам он так представился. Настоятельница известно, что отцом Медардуса был Франческо, так что мое сходство с ним, насторожившее княгиню с самого начала, дало пищу предположениям, а предположения почти совершенно подтвердились, чему способствовала переписка княгини с княжной. Вполне вероятно было и то, что обо мне запрашивали монастырь капуцинов, безошибочно напав на мой след и удостоверившись, что монах Медардус и я — одно и то же лицо. Я быстро взвесил все эти возможности и понял, что дело принимает опасный оборот. Следователь все не умолкал, а я не терял времени даром: мне на ум вспало название польского местечка, где якобы я родился, как сам же поведал пожилой придворной даме, забыв об этом с течением времени. Так что, когда следователь завершил свои рацеи, сурово призвав меня к полной откровенности во всем, что касается моего жизненного пути, я мог начать достаточно уверенно:

— Собственно, зовут меня Леонард Крчинский, и я единственный сын дворянина, продавшего свое имение и жившего потом в Квечичеве.

— Что? Как? — переспросил следователь, тщетно силясь выговорить мое имя и название местечка, откуда якобы я родом. Писарь же просто спасовал перед неведомой орфографией; я собственноручно вставил в протокол оба наименования и продолжал:

— Судите сами, сударь, язык прирожденного германца затрудняется выговорить все согласные моей фамилии, вот по какой причине я не упоминаю ее в Германии, ограничиваясь только моим именем Леонард. Кстати, мой жизненный путь настолько прям и незатейлив, что едва ли кто-нибудь сравнится со мной в этом отношении. Мой отец, сам не чуждый образованности, сочувствовал моему решительному пристрастию к наукам и намеревался отпустить меня в Краков к нашему родственнику, священнику Станиславу Крчинскому, однако мой отец скоропостижно умер, и, оставшись один-одинешенек, я продал то небольшое, что унаследовал, получил кое-какие суммы по долговым обязательствам и со всем этим скромным состоянием переселился в Краков, где несколько лет занимался науками под присмотром родственника. Потом я посетил Данциг и Кенигсберг. Наконец неодолимая сила повлекла меня на юг. Я надеялся, что мои скудные средства позволяют мне отважиться на такое предприятие; потом я рассчитывал приискать себе занятие при каком-нибудь университете, но я чуть было не разорился здесь, и меня выручил только крупный выигрыш за карточным столом у князя; на эти деньги я живу здесь в полном довольстве и надеялся продолжить путешествие в Италию, когда мне заблагорассудится. Я, право же, не знаю, о чем еще рассказать: в моей жизни не было ничего примечательного. Правда, не могу умолчать о том, что мне было бы легче неопровержимо подтвердить истинность моих показаний, если бы не особенный случай: мой бумажник потерял, а в нем был паспорт, план

моего предполагаемого путешествия и другие бумаги; они бы рассеяли теперь все подозрения.

Следователь заметно оживился; он бросил на меня острый взгляд и язвительно спросил, какой такой случай воспрепятствовал моей легитимации.

— Несколько месяцев назад, — рассказал я, — по дороге сюда мне пришлось побывать в горах. Я путешествовал пешком, наслаждаясь прекрасными романтическими пейзажами и благоприятным временем года. Усталость побудила меня зайти в трактир в одной маленькой деревушке. Я заказал себе легкую закуску, а пока вынул из бумажника листок, чтобы набросать кое-какие мысли; бумажник лежал передо мной на столе. Вскоре прискакал всадник, поразивший меня необычным костюмом и запущенной внешностью. Он вошел в комнату, заказал выпивку и с недружелюбным угрюмым взглядом сел за стол напротив меня. Человек этот действовал мне на нервы, и я вышел подышать воздухом. Вскоре всадник также вышел, заплатил хозяину и ускакал, едва со мной простившись. Я тоже был готов пуститься в путь, однако хватился своего бумажника, оставшегося в комнате на столе; я вернулся за ним, он лежал на прежнем месте. Вытащив его лишь на другой день, я обнаружил, что это чужой бумажник и принадлежит он, должно быть, вчерашнему всаднику; тот, наверное, перепутал бумажники. Я нашел невразумительные заметки и несколько писем, адресованных некоему графу Викторину. Я спрятал их, и они наверняка найдутся вместе с бумажником среди моих вещей; а в моем бумажнике, как я уже сказал, остался мой паспорт, план моего путешествия и даже метрическое свидетельство, как я теперь вспомнил; я поистине жертва того досадного недоразумения.

Следователь велел мне описать неизвестного всадника с головы до ног, и я ухитрился обрисовать его образ, умело придав незнакомцу сходство со мной, только что покинувшим замок барона Б., в сочетании с наиболее бросающимися приметам графа Викторина. Следователь приставал ко мне, докапываясь до мельчайших подробностей того происшествия, и я ни разу не сбился в моих ответах, закруглив про себя картину до такой степени, что уже не боялся попасть впросак, так как сам поверил в нее. Поистине это была счастливая мысль: я так или иначе должен был объяснить, откуда в моем бумажнике письма, адресованные графу Викторину, а тут я изобрел подставное лицо, которое можно будет принять и за беглого Медардуса, и за графа Викторина, глядя по обстоятельствам. К тому же я учел, что в бумагах Евфимии, возможно, имеются письма, посвященные плану Викторина проникнуть в замок и выдать себя за монаха, а тогда следствие собьется и запутается окончательно, блуждая в потемках. Моя фантазия разыгралась в ходе допроса, и я изошрялся в уловках, чтобы обезопасить себя и предотвратить худшее.

Я надеялся, что подробности моей жизни исчерпаны и следователь приблизится, наконец, к преступлению, приписываемому мне, однако мои расчеты не оправдались; напротив, он спросил меня, с какой стати я затеял побег.

Я заверил его, что у меня этого и в мыслях не было. Впрочем, тюремный надзиратель настаивал на том, что я именно с такой целью карабкался к тюремному окошку, и мои возражения не вызвали особого доверия. Следователь предостерег, что мне не миновать цепей, если я буду упорствовать в подобных попытках, и меня вернули в мое узилище.

Кровать унесли, на пол бросили соломенный тюфяк, стол привинтили к полу, а стул заменила низкая скамья. Целых три дня я был предоставлен самому себе и видел только брюзгливую физиономию старого служивого, приносявшего мне кушанье и зажигавшего лампу по вечерам. Постепенно меня покинул боевой дух, требовавшийся отважному воину в смертельной схватке. Меня одолели угрюмые мысли, сопровождавшиеся полным безразличием; даже Аврелия ушла из моего воображения. Временами мой дух креп, однако дурные, болезненные предчувствия вновь подавляли его; я не мог противостоять одиночному заключению и спертому воздуху моей камеры. Сон бежал меня. Мрачное мерцание лампы падало на стены и достигало потолка диковинными отсветами, напоминающими искаженные лица; я тушил лампу, чтобы уткнуться в соломенное изголовье, но еще ужаснее звучали в гнетущем ночном безмолвии приглушенные стенания и

лязгающие цепи узников. Часто слышалось мне последнее издыхание — чье? Евфимии? Викторина?

— Не я же сгубил вас! Не сами ли вы, святотатцы, обрекли себя моей карающей длани?

Я вскрикивал громко, а под сводами испарялся чей-то глубокий последний вздох, и в диком отчаянье я завывал:

— Так это ты, Гермоген! Вот она, кара! Все кончено!

Пришла девятая ночь, и я распростерся на ледяном тюремном полу; нестерпимый ужас довел меня почти, до обморока. Тут различил я отчетливо под полом тихое, ритмичное стучанье. Я вслушивался, а стучанье не затихало, и к тому же в подполье забулькал неслышанный смешок. Я сорвался с места, я бросился на соломенный тюфяк, однако смешки, стучанье и всхлипы не прекращались.

Наконец из-под пола тихонько позвали мерзким, сиплым, запинаящимся голосом:

— Ме-дар-дус! Ме-дар-дус!

Ледяной ток пронизал мои члены! Я собрался с духом и крикнул:

— Кто там? Да кто же там?

А в ответ смеялись громче, и всхлипывали, и охали, и постукивали, и сипло заикались:

— Ме-дар-дус! Ме-дар-дус!

Я сорвался с тюфяка.

— Да кто же ты такой с твоими бесовскими играми, ну-ка, дай взглянуть на тебя или пропади пропадом с твоим пакостным хихиканьем и стукотней!

Так рывкнул я в густой мрак, а у меня под ногами застучало громче, заикаясь и захлебываясь:

— Хи-хи-хи... Хи-хи-хи... Братец мой... Братец мой... Ме-дар-дус... Это я... я... я... отвори... нам бы с тобой в лес... давай в лес... в лес... в лес...

Теперь этот голос глухо слышался во мне самом и что-то напоминал мне; конечно, я уже слышал его, только он тогда не заикался и не захлебывался. Я ужаснулся: мне почудился мой собственный голос. Невольно, пытаюсь убедиться, так ли это, я начал скандировать:

— Ме-дар-дус! Ме-дар-дус!

Смех ответил мне, однако издевательски яростный, потом был голос:

— Бра-тец мой... бра-тец мой... уз-на-ешь? уз-на-ешь... ме-ме-ня? Ме-ме-ня? От-во-ри! Нам бы в лес... в лес... в лес...

— Бедный умалишенный, — глухо и жутко буркнула во мне пустота, — бедный умалишенный, не могу я тебе отворить, и нельзя мне с тобою в лес, в распрекрасный лес, на вольный, на свежий, на весенний воздух! он там снаружи... а здесь воздух затхлый, здесь мрак; я, как ты, взаперти... взаперти...

Тогда под полом всхлипнули в безутешной тоске, а стучали все слабее, все глуше, наконец, все заглохло совсем; сквозь тюремные решетки пробилось утро, заскрежетали замки, и вошел мой тюремщик (с первого дня он меня не посещал).

— Этой ночью, — начал он, — в вашей комнате шумели и громко говорили. Как это понять?

— Такова моя особенность, — ответил я, симулируя спокойствие, насколько это было возможно. — Я во весь голос, громко говорю во сне, да если бы и наяву я вступил в разговор с самим собой, полагаю, за это меня не накажут.

— Вероятно, — продолжал тюремщик, — вы усвоили, что сурово наказуема малейшая попытка к бегству и любая попытка сноситься с другими заключенными.

Я заверил его, что ни о чем подобном не помышляю.

Часа через два меня вызвал следователь. Но это был не тот, кто увещевал меня в первый раз; новый следователь выглядел моложе, и я с первого взгляда оценил его превосходство над первым в сноровке и сообразительности; он с подчеркнутым доброжелательством шагнул мне навстречу и предложил сесть. Этот следователь до сих пор живехонек у меня перед глазами. Он был довольно плотен для своих лет, волос у него на голове почти не осталось; он носил очки. От него так и веяло добродушием и сердечностью;

я понял, как легко спасовать перед его дружелюбием, если ты не отпетый преступник. Он подбрасывал вопросы играючи, как в светской беседе, но они были точно рассчитаны и так метки, что не допускали никаких уверток.

— Позвольте спросить вас, — начал он, — придерживаетесь ли вы ваших прежних показаний относительно вашего жизненного пути, или вы, поразмыслив, вспомнили кое-что существенное и не намерены таиться?

— Я все сказал, что можно было сказать о моем незатейливом жизненном пути.

— А с духовенством... с монахами вы никогда не общались?

— Да, в Кракове... в Данциге... во Фрауенбурге... в Кенигсберге. Там я общался с белым духовенством, с настоятелем церкви и с капелланом.

— В своих прежних показаниях вы не упомянули вашего пребывания во Фрауенбурге.

— Я не счел нужным упоминать недолгое, если не ошибаюсь, восьмидневное пребывание там, по дороге из Данцига в Кенигсберг.

— Стало быть, вы уроженец Квечичева?

Следователь заговорил на польском языке, как бы невзначай блеснув безупречным произношением. Не скрою, на мгновение он застиг меня врасплох, но я не сдался, призвал на помощь свои скудные познания в польском, которыми был обязан моему другу Крчинскому, и ответил:

— Я родился в маленьком имении моего отца под Квечичевом.

— Как называлось имение?

— Крчинево, это была наша вотчина.

— Ваш польский язык не делает чести коренному поляку. Сказать по правде, вы говорите на немецкий манер. Отчего это?

— Много лет я говорю исключительно по-немецки. Уже в Кракове я был окружен немцами и преподавал им польский язык. Незаметно я перенял их произношение; так перенимают провинциальный говор в ущерб истинным красотам языка.

Следователь посмотрел на меня, и легкая улыбка мелькнула у него на лице. Затем он обратился к писарю и вполголоса что-то ему продиктовал. Я уловил только слова «не мог скрыть смущения» и приготовился дальше оправдывать мой плохой польский язык, однако следователь переменял тему:

— А в Б. вы никогда не были?

— Никогда.

— Но дорога из Кенигсберга сюда ведет через этот город.

— Есть и другая дорога.

— В монастыре капуцинов в Б. у вас нет знакомых монахов?

— Нет!

Следователь позвонил и вполголоса отдал какое-то распоряжение вошедшему приказному. Дверь вскоре открылась, и каковы же были мой ужас и мое изумление, когда вошел не кто иной, как отец Кирилл.

— Знаете вы этого человека?

— Нет, я не видел его никогда прежде!

А Кирилл так и уставился на меня; потом он приблизился, всплеснул руками и, не сдержав слез, воскликнул:

— Медардус, брат Медардус! Господи Иисусе! Что с тобой случилось! Ты погряз в дьявольском святотатстве. Брат Медардус, опамятуйся, покайся, не упорствуй! Уповай на всепрощение Господне!

Следователя, видно, не устраивали увещевания отца Кирилла, и он прервал монаха вопросом:

— Подтверждаете ли вы, что этот человек — монах Медардус из монастыря капуцинов, что в Б.?

— Подтверждаю, как подтверждаю милосердие Господне, — ответил Кирилл, — у меня нет никаких сомнений в том, что этот человек, хотя и одетый по-светски, не кто иной,

как Медардус; он был послушником в монастыре капуцинов, что в Б., там же он и пострижен, чему я свидетель. Однако у Медардуса на шее слева есть метка; она красная и имеет форму креста, так что, если этот человек...

— Заметьте, — прервал следователь монаха, обращаясь ко мне, — вас подозревают в том, что вы капуцин Медардус из монастыря в Б., а оный Медардус обвиняется в тяжких преступлениях. Если подозрения не основательны, вам легко опровергнуть их: у означенного Медардуса метка на шее, и если вы не вводили нас в заблуждение, ее у вас нет. Вот неопровержимое доказательство. Позвольте взглянуть на вашу шею!

— Не стоит, — ответил я, не теряя выдержки. — Судьба распорядилась особенным образом, придав мне точнейшее сходство с обвиняемым, хотя этот монах Медардус мне совершенно неизвестен, однако на шее слева и у меня есть метка, она тоже красная и тоже имеет форму креста.

Это соответствовало действительности; мою шею поранил алмазный крест настоятельницы, оставив красный крестообразный рубец, не исчезнувший со временем.

— Позвольте взглянуть на вашу шею, — повторил следователь.

Я подчинился, и Кирилл громко вскрикнул:

— Пресвятая Богородица! Так и есть! Вот он, крест красного цвета!.. Медардус... Ах, брат Медардус, неужели ты окончательно пренебрег вечным спасением?

Весь в слезах, почти без чувств, он рухнул на стул.

— Как вы опровергнете показание этого достойного священника? — спросил следователь. Как бы молниеносное пламя пронизало меня в этот миг; малодушие, возобладавшее было во мне, отступило, и не иначе как сам лукавый зашептал: «Куда твоим немощным противникам до тебя, сильного духом и разумом! Разве не тебе будет принадлежать Аврелия?» И я высказал язвительное, почти необузданное возмущение:

— Этот монах и на стуле-то еле держится. Он же расслаблен одуряющей старостью; вот он и бредит, принимая меня за беглого капуцина, на которого я, может быть, чуть-чуть смахиваю.

До сих пор следователь сохранял спокойствие, не выдавая своих чувств ни взглядом, ни голосом; только теперь на лице его проступила мрачная, угрожающая беспощадность; он встал и заглянул мне в глаза, как бы вперяясь в мою душу. Признаюсь, даже очки его мучили меня невыносимым ужасающим излучением; связанная речь изменила мне; я уперся лбом в свой собственный кулак и, жестоко охваченный яростью отчаянья, вскричал:

— Аврелия!

— Как это понять? Кого зовете вы? — всполошился следователь.

— Я жертва темной судьбы, — ответил мой глухой голос, — мне грозит позорная казнь; однако я невиновен, разумеется, невиновен... Не задерживайте меня... где ваше сострадание... я чувствую, как морок пробегает по моим жилам и нервам... Не задерживайте меня!

Следователь с прежней невозмутимостью диктовал писарю протокол, в котором я не понимал ни слова; потом он зачитал его мне со всеми своими вопросами и моими ответами, не опустил он и подробности моей встречи с Кириллом. Я должен был подписать протокол, после чего следователь предложил мне написать что-нибудь по-немецки и по-польски; я повиновался. Листок с немецкими словами следователь протянул Кириллу, которому полегчало, и осведомился:

— Имеет ли эта проба пера что-нибудь общее с почерком брата Медардуса, знакомого вам по вашему монастырю?

— Конечно же, это его рука до малейшей черточки, — ответил Кирилл и снова оборотился ко мне. Он бы заговорил, однако взгляд следователя призвал его к молчанью. Следователь пристально изучал польские слова, только что написанные мною, потом подошел ко мне вплотную и сказал твердо и убежденно:

— Какой же вы поляк! Вы пишете абсолютно неправильно, допускаете множество грамматических и орфографических ошибок. Коренной поляк, даже значительно

уступающий вам по образованности, никогда не допустил бы их.

— Я уроженец Крчинева; кем же еще и быть мне, если не поляком? Но даже если это не так, если таинственные обстоятельства вынуждают меня отречься от своего имени и звания, я кто угодно, только не капуцин Медардус, удравший, насколько я понимаю, из монастыря.

— Ах, брат Медардус, — вмешался Кирилл, — разве не ты послан в Рим нашим достойным приором Леонардусом, уповавшим на твое благочестие и праведность? Брат Медардус! Ради Христа, не отрекайся, как безбожник, от святого духовного звания, которым ты поступился.

— Пожалуйста, не прерывайте нас, — молвил следователь и продолжал, обратившись ко мне: — Не могу не обратить вашего внимания на то, что бесхитростные показания этого преподобного отца лишней раз убеждают в том, что вы действительно Медардус, даже если отвлечься от других вопиющих подтверждений вашей идентичности. Не буду вводить вас в заблуждение, вам еще предстоит очная ставка с другими особами, не сомневающимися в том, что именно вы — тот монах. Опаснее других для вас одна из них, разумеется, если обвинение будет доказано. Да и среди ваших собственных вещей обнаружилось кое-что подозрительное. Вскоре мы надеемся получить сведения о ваших семейных обстоятельствах, мы запросили о них познанские суды. Говоря так, я открываю вам карты, отчасти нарушая мои обязанности, но я поступаю так, чтобы вы убедились: в мои намерения не входит заставить вас врасплох и хитростью принудить к признанию, даже если подозрения насчет вас обоснованны. Запирайтесь, как хотите; если вы действительно обвиняемый Медардус, поверьте мне, следователь достаточно зорок, чтобы вполне разоблачить преступника; тогда вы узнаете точно, какие вам предъявляются обвинения. Напротив, если вы действительно Леонард фон Крчинский, за которого вы себя выдаете, и ваше сходство с Медардусом — лишь специфическая игра природы вплоть до невероятных совпадений, тогда вы легко найдете способы оправдаться неопровержимо. Не хочу злоупотреблять вашей экзальтацией и уже поэтому вынужден прервать допрос, но при этом я также хочу предоставить вам возможность поразмыслить. После сегодняшнего у вас имеется достаточная пища для размышлений.

— Так, значит, вы убеждены, что я лгу? Для вас я беглый монах Медардус? — так я спросил его, а следователь сказал мне, слегка поклонившись: «Adieu, господин фон Крчинский», — и меня препроводили в камеру.

Слова следвателя сверлили мою душу раскаленными буравами. Все мои ухищрения казались мне теперь поверхностными и тщетными. Было слишком ясно: мне предстоит очная ставка с Аврелией, и она для меня опаснее других. Это же невыносимо! Я раздумывал, что такого подозрительного нашлось в моем багаже, и сердце у меня заныло при мысли о кольце; я унес его из замка барона фон Ф., и на нем было выгравировано имя Евфимии, а тут еще ранец Викторина; я таскал его с собой, будучи в бегах, да еще меня угораздило завязать его веревочным поясом капуцина. Я решил, что моя карта бита. В отчаянье мерил я камеру стремительными шагами. Тут у меня в ушах послышался шепот, похожий на змеиное шипенье: «Дурачок, не теряйся! Подумай о Викторине!» Тогда я вскричал:

— Ха! Нет, не бита моя карта, она выиграла!

Во мне все кипело и бурлило! Я уже и раньше надеялся на то, что в бумагах Евфимии окажутся намеки на план Викторина проникнуть в замок под видом монаха. Исходя из этого, я готовился измыслить встречу с Викториним, а то и с Медардусом, то есть, по их мнению, со мной самим; пересказать понаслышке приключения в замке, их ужасный финал и, наконец, безобидно вплести в эту историю самого себя, упомянув невзначай мое сходство с обоими. Каждую деталь при этом следовало взвесить и проанализировать; я задумал написать роман и употребить его как средство моего спасения! Мне не отказали в письменных принадлежностях, когда я попросил их, чтобы на бумаге изложить некоторые дополнительные перипетии моей жизни, ускользнувшие от устного рассказа. Работа захватила меня, и я писал до поздней ночи, движимый моей воспламенившейся фантазией;

все сходилось и округлялось наилучшим образом; бесконечная ложь постепенно упрочивалась, превращаясь в плотную пелену, которая, по моему расчету, должна была скрыть истину от следователя.

Часы крепости пробили двенадцать, когда снова послышалось тихое отдаленное постукивание, так измучившее меня в прошлую ночь. Я не хотел замечать его, однако ритмичное постукивание усиливалось, потом стуки стали чередоваться со смешками и всхлипами. Я крепко стукнул по столу и громко крикнул:

— Эй вы там под полом, тише!

Я думал, что мне удастся криком спугнуть ужас, надвигавшийся на меня, но под сводами уже вовсю разносился лающий, взвизгивающий смех, чередовавшийся с прерывистым лепетаньем:

— Бра-тец мой... бра-тец мой... Я к те-бе... я к тебе... я на-верх... я на-верх... от-во-ри... от-во-ри...

Прямо у меня под ногами заскреблось, завозилось, зацарапалось; и снова смешки, снова всхлипы; все громче шум, позвякиванье, лязг — и гулкие толчки, словно рушится что-то тяжелое. Я встал и схватил зажженную лампу. У меня под ногой двинулся пол, я отскочил и увидел: там, где я только что стоял, крошится камень. Я без труда выдернул и отбросил его. Сначала снизу заструилось коптящее мерцанье, потом высунулась голая рука, стискивающая поблескивающий нож; рука искала меня. В ужасе я отшатнулся. А внизу прерывисто залепетали:

— Бра-тец мой, бра-тец мой, Ме-дар-дус... здесь... здесь... наверх, наверх... хва-тай... хватай... взла-мы-вай... в лес... в лес... в лес!

Меня мгновенно прельстила мысль спастись бегством; пересилив ужас, я завладел ножом (рука охотно отдала его мне) и начал прилежно выскабливать известь, скреплявшую каменный пол. Мой подпольный сообщник бодро выламывал камни. Четыре-пять камней отлетели в сторону, и вдруг возник из глубины голый до бедер человек, вперивший в меня призрачный взор хохочущего, ужасающего сумасшествия. Свет лампы упал ему на лицо — это было мое лицо — я потерял сознание.

Я пришел в себя оттого, что рукам было больно. Вокруг было достаточно света, тюремщик стоял передо мной и светил мне в лицо; лязг цепей и удары молота звучали под сводами. Шла работа, меня заковывали в цепи. Кроме ручных и ножных оков, меня опоясали железом, укрепили на поясе цепь и приковали к стене.

— Теперь, пожалуй, господин хороший, вы оставите мысль о взломе, — сказал тюремщик.

— А что такое он натворил? — спросил подручный кузнеца.

— Ну, — ответил тюремщик, — ты ничего не знаешь, Иост?.. Слухом-то весь город полнится... Этот чертов капуцин укокошил троих. Его уже вывели на чистую воду. На днях ужо будет представление, колеса так и заиграют.

Больше я ничего не слышал, так как чувства снова оставили меня. Не без труда преодолел я этот обморок; я лежал в темноте; лишь бледные отсветы дня коснулись наконец низкого — вышиной не более шести футов — свода; таково было мое новое жилище, как я в ужасе убедился. На меня напала жажда; рядом стояла кружка с водой, но как только я притронулся к ней, на мою руку шлепнулось что-то влажное и холодное; мерзкая толстая жаба тяжело запрыгала прочь. Вздвогнув от гадливости, я брезгливо пролил воду.

— Аврелия! — всхлипнул я, подавленный безысходным отчаяньем. — Зачем все эти жалкие уловки, все выкрутасы перед следователем? Все эти лживые ужимки дьявольского притворства? Для того ли, чтобы выиграть еще несколько часов этой судорожной муки, именуемой жизнью? На что ты покушаешься, безумец? Ты возделеешь Аврелии, но что, кроме неслыханного преступления, может завоевать ее для тебя? Даже если ты проведешь весь свет и оправдаешься, сама Аврелия будет видеть в тебе гнусного злодея и брезговать тобой, ты, убийца Гермогена! Одержимый глупец, ничтожество, хороши твои высокопарные планы и вера в твою неземную власть, помыкающую судьбой по твоей прихоти; тебе не под

силу даже раздавить червя, снедающего твое умерщвленное сердце; все равно тебя уничтожит безнадежная скорбь, даже если ты ускользнешь от карающей справедливости.

Громко причитая, я повалился на солому и в то же мгновение ощутил толчок в груди; меня как будто кольнуло что-то твердое в кармане моего жилета. Я полез в карман и извлек оттуда ножик. С тех пор, как меня заточили, я не носил при себе никакого ножа; наверное, этот нож передал мне мой подпольный призрак. Встав кое-как на ноги, я предоставил пробивающемуся лучу осветить его. В глаза мне бросился блестящий серебряный черенок. О, игра судьбы! у меня в руке был тот самый ножик, которым я прикончил Гермогена; я хватился его несколько недель назад, но не мог найти. И в глубине моей души дивным светом вспыхнула надежда на спасение от позора! Конечно же, я получил нож чудом; то было указание высшей силы, желающей от меня искупленья, чтобы моя смерть примирила со мной Аврелию. Чистейшим сиянием горнего огня согревала меня теперь любовь к Аврелии; греховной похоти как не бывало. Она снова была передо мной, как тогда в монастырской церкви, в исповедальне. «Я же люблю тебя, Медардус, а тебе невдомек!.. Смерть — вот моя любовь!» — так лепетал, так нашептывал, так овеивал меня голос Аврелии, и я укрепился в намерении вверить следователю необычайную историю моего беспутства, а потом убить себя.

Вошел тюремщик и принес кушанье получше обычного, да еще и бутылку вина. «Князю так угодно», — сказал он, накрывая на стол, внесенный вслед за ним его слугой. Потом тюремщик отпер замок на моей цепи, ввинченной в стену. Я просил тюремщика передать следователю, что хотел бы нового допроса: мне есть что открыть ему, и это тяготит мою душу. Тюремщик обещал выполнить просьбу, однако мое ожидание осталось напрасным: на допрос меня так и не вызвали. Никто не заглядывал ко мне, пока не стемнело и вошедший слуга не зажег лампу, висевшую под самым сводом. Мои душевные терзания как будто несколько улеглись, но я чувствовал себя совершенно изнуренным и быстро погрузился в глубокий сон. Я увидел себя в длинном, сумрачном, сводчатом зале, где на высоких седалищах вдоль стен размещался духовный синклит в черных мантиях. Впереди за столом, застланным кроваво-красной тканью, восседал мой следователь, а рядом с ним монах-доминиканец в облачении своего ордена.

— Твое дело, — сказал следователь патетическим торжественным голосом, — передано теперь духовному суду, ибо ты, закоренелый святотатец, все-таки монах, как ты ни отрекался от своего имени и сана. Франциск, во иночестве Медардус, поведай, какие преступления числятся за тобой?

Я намеревался чистосердечно перечислить мои ковы и святотатства, но, к своему ужасу, говорил совсем не то, что думал и хотел сказать. Я готовил покаянное признание, а сам запутался в бессмысленной, нелепой болтовне. Тогда передо мной предстал доминиканец; он был огромного роста, его глаза сверлили меня сверкающими буравами.

— Пытать его, нераскаянного монаха! Он еще запирается! — крикнул доминиканец.

Невиданные призраки окружили меня, простирая ко мне свои длинные руки, и послышалось их устрашающее хрипение:

— Пытать его!

Я выхватил нож и пронзил бы себе сердце, но рука почему-то скользнула вверх, так что удар пришелся в шею, и лезвие, наткнувшись на крестообразную отметину, как стеклянное, разлетелось мелкими осколками, даже не поцарапав меня. Заплечных дел мастера схватили меня и ввергли в подземный сводчатый склеп. Доминиканец, следователь и другие судьи направились туда же. Следователь еще раз призвал меня повиниться. Я еще раз попытался, но моя бредовая речь не совпадала с моей мыслью. Про себя я каялся, совершенно подавленный стыдом, и не таил ничего, а из уст моих вырывалось что-то плоское, невнятное, несуразное. Доминиканец сделал знак, и с меня сорвали одежду, скрутили руки за спиной; повисая в воздухе, я почувствовал, как трещат мои суставы, готовые раздробиться. Неистовая, невыносимая боль исторгла из меня крик и разбудила меня. Руки и ноги по-прежнему болели от тяжелых оков, но, кроме того, мучительное давление извне не давало

открыть глаз. Наконец убрали с моего лба непонятную тяжесть, я вскочил и увидел: прямо подле моего соломенного одра стоит монах-доминиканец. Сновидение вторглось в явь, ледяной холод заструился по моим жилам. Недвижный, как изваяние, скрестив руки, высился передо мной монах, вперяя в меня свои впалые черные очи. Я распознал зловещего живописца и, теряя сознание, поник на солому. Может быть, мои чувства, взбудораженные сном, вызвали галлюцинацию? Я взял себя в руки, я снова рванулся с моей соломы, но по-прежнему недвижимо стоял монах, уставившись в меня своими впалыми черными глазами. Тогда я завопил, обезумев от отчаянья:

— Ужасный человек! Сгинь же, сгинь! Прочь! Нет, разве ты человек, ты сам дьявол, влекущий меня в бездну вечной гибели... Сгинь, супостат, убирайся!

— Несчастный подслеповатый дурачок, разве я тот, кто норовит наложить на тебя вечные железные оковы — отвлечь тебя от святого твоего призвания, возложенного на тебя вечным Промыслом!.. Медардус!.. Жалкий, подслеповатый дурачок! Я всегда являлся тебе устрашающим, ужасающим образом, когда ты в шаловливом любопытстве наклонялся над ямой вечного проклятия. Я удерживал тебя, а тебе и невдомек! Поднимись же, не бойся меня!

Монах не просто говорил, а как бы причитал, надрывая душу глубокой глухой жалобой; его взор, так страшивший меня дотоле, смягчился и потеплел, даже лик его утратил свой жесткий чекан. Неописуемое томление пронизало меня изнутри; глашатаем вечного Промысла, утешителем, возносящим меня из беспросветной бездны отчаянья, предстал теперь передо мною живописец, мой прежний неумолимый гонитель.

Я встал с моей соломы, подступил к нему вплотную, нет, это не был фантом; и на ощупь его одежда оставалась одеждой. Я невольно опустился на колени; он коснулся моего темени, как бы благословляя меня. И во мне затеплились милые светлокрасочные картины.

Ах, то был священный лес, да, то было место, где мне, младенцу, паломник, одетый не по-нашему, явил дивное дитя. Меня влекло дальше, в церковь, она тоже виднелась прямо передо мной. «Туда, туда, — что-то говорило мне, — исповедуйся, покайся, и твои тяжкие грехи отпустятся тебе». Но я был скован; я не узнавал, не ощущал себя самого. Тогда глухо рекла некая пустота:

— Задумано — сделано!

Грез как не бывало, это были слова живописца.

— Так это был ты, непостижимый, тогда в то несчастное утро в монастырской церкви в Б.? в имперском городе? и ныне здесь?

— Постой, — прервал меня живописец, — да, я всегда сопутствовал тебе, пытаюсь отвести от тебя гибель и позор, но ты был непроницаем для моих внушений. Ты же избранник, ты должен осуществить свое призвание, только в этом твое спасение.

— Ах! — вскричал я, полный отчаянья, — почему ты не помешал мне, когда я преступно, святотатственно поднял руку на того юношу?

— То было выше моих сил, — проронил живописец. — Вопросы излишни. Лишь греховная опрометчивость перечит Вечной Воле! Медардус! Ты узришь свое предназначенье... завтра!

Я содрогнулся в ледяном поту, полагая, что вполне понял живописца. Он предвидел мое самоубийство и благословлял меня. Пошатываясь, художник тихо двинулся к двери.

— Когда, когда же мы снова свидимся?

— Когда свершится! — вскричал он, обернувшись ко мне, и его торжественный, звучный голос гулко разнесся под сводами.

— Итак, завтра?

Дверь тихо двинулась на своих петлях, и живописец скрылся.

Едва рассвело, пришел тюремщик со своими подручными, и они сняли цепи с моих израненных рук и ног. Мне дали понять, что скоро допрос. Погруженный в себя, усвоив мысль о близкой смерти, шел я в судебный зал; я уже обдумал свое чистосердечное признание и приготовился все поведать следователю вкратце, ничего не опуская и не

замалчивая. Следователь поспешно шагнул ко мне навстречу; наверное, вид мой был ужасен, так как, увидев меня, он сразу стал улыбаться, и на лице его проступило глубокое сострадание. Он сжал обе мои руки и усадил меня в свое кресло. Затем, не спуская с меня глаз, он сказал медленно, торжественно чеканя каждый звук:

— Господин фон Крчинский! У меня для вас хорошая новость! Вы свободны! Князь распорядился прекратить следствие. Вы невероятно похожи на другого человека, настолько похожи, что вас по недоразумению приняли за этого человека. Ваша невиновность не вызывает ни малейших сомнений, право, никаких сомнений... вы свободны!

Все засвистело, зажужжало, закружилось вокруг меня. В моих глазах следователь вспыхнул и рассыпался по крайней мере сотнею искр, причем каждая искра была его двойником, однако туман сгустился, и все исчезло в непроглядной тьме.

Наконец я почувствовал, что мне растирают лоб спиртом; так, не без посторонней помощи, удалось мне преодолеть обморочное состояние, в которое я погрузился. Следователь зачитал мне краткий протокол, согласно коему меня ставили в известность о том, что мое дело прекращается и я подлежу освобождению из тюрьмы. Я молча подписал его, так как все еще не мог говорить. Неопишуемое чувство, уничижавшее меня в глубине души, не позволяло мне обрадоваться. Теперь, когда взгляд следователя трогал мне сердце сострадательной добротой, когда я видел, что в мою невиновность верят и желают моего освобождения, я чувствовал: пришло время по доброй воле перечислить мои гнусные преступления и всадить себе в сердце нож.

Я заговорил бы, однако следователь явно тяготился моим присутствием. Я шел уже к двери, когда следователь поспешил следом за мной, чтобы тихо сказать:

— Теперь уже с вами говорит не следователь; с первого мгновения, как только я увидел вас, вы меня заинтересовали в высшей степени. Хотя, согласитесь, все улики были против вас, все во мне противилось тому, что вы тот мерзкий вероломный монах, сколько бы вас ни подозревали в тождестве с ним. Теперь я могу сказать вам... Это останется между нами... Никакой вы не поляк... И вовсе не в Квечичеве вы родились. И ваше имя не Леонард фон Крчинский.

— Разумеется, — не колеблясь, ответил я.

— И вы, действительно, не священник? — продолжал следователь и опустил глаза, вероятно, потому, что не хотел оказывать на меня давления профессиональной проницательностью. Во мне все всколыхнулось.

— Послушайте! — вырвалось у меня.

— Ни слова! — прервал меня следователь. — Я вижу, что не ошибался и не ошибаюсь в моих выводах. Тут загадка на загадке; таинственная игра судьбы сплела вашу жизнь с жизнью некоторых знатных, быть может, коронованных особ, имеющих отношение к нашему двору. В мои обязанности не входит расследование подобных дел, и я счел бы непозволительной нескромностью злоупотребить вашей откровенностью касательно вашей личности и ваших, по-видимому, необычных отношений с другими людьми. Однако, положив руку на сердце, не предпочли бы вы отбыть отсюда подобру-поздорову, ради вашего же собственного спокойствия? После всех этих неурядиц, боюсь, вам самому будет здесь не по себе.

Я слушал следователя, а мрачные тени, тяготившие мою душу, стремительно улетучивались. Жизнь снова покорялась мне, и вкус к ней снова пламенно трепетал во всех моих фибрах. Аврелия! Она снова пришла мне на ум, и мне отбыть отсюда, от нее? С глубоким вздохом вырвалось у меня:

— А она?

Следователь глянул на меня в глубоком изумлении, потом быстро сказал:

— Ах! теперь мне, кажется, все ясно! Да хранит вас Небо, господин Леонард, от души желаю, чтобы оказалось обманчивым дурное предчувствие, с такой отчетливостью охватившее меня именно сейчас.

Но в моей душе все уже приняло иной распорядок. Раскаянья как не бывало; напротив,

святотатственная наглость снова заговорила во мне и прозвучала в притворной небрежности моего вопроса к следователю:

— А вы не верите в мою невиновность?

— Не взыщите, сударь, — веско ответил следователь, — во что я верю, в то я верю и предпочитаю не говорить об этом вслух. Чувство мне кое-что подсказывает, но это не аргумент. Вопрос исчерпан; по всем правилам установлено, что вы не имеете ничего общего с монахом Медардусом, так как сам этот Медардус здесь налицо; его опознал тот же отец Кирилл, прежде введенный в заблуждение вашей внешностью; действительно, сходство полное и точное, но на этот раз подозреваемый сам признает, что он беглый капуцин. Таким образом, все совершилось своим чередом, и тем более я просто обязан верить в вашу невиновность.

В это время за следователем зашел приказный, прервав разговор как раз тогда, когда он начал стеснять меня.

Я отправился в мою квартиру и нашел там весь мой скарб на прежнем месте. Мои бумаги, очевидно, были конфискованы и снова возвращены; в запечатанном пакете они лежали у меня на письменном столе; отсутствовали только бумажник Викторина, кольцо Евфимии и веревочный пояс капуцина, так что мои тюремные предположения оказались основательными. Немного погодя ко мне пришел княжеский слуга; он преподнес мне письмо князя, писанное его собственной рукой, и в придачу золотую табакерку, усеянную драгоценными камнями.

«Вас вовлекли в дурную игру, господин фон Крчинский, — писал князь, — но ни я, ни мои судебные инстанции в этом не виноваты. Кто бы мог подумать, что бывает такое невероятное сходство: вы оказались похожи на очень скверного человека. Однако все определилось к лучшему для вас. Примите этот знак моего расположения к вам; буду рад вас видеть в ближайшем будущем».

Милость князя была мне так же безразлична, как и его подарок; наступил упадок духа, естественное последствие сурового тюремного заключения; однако и тело мое взывало о помощи, и визит лейб-медика был как нельзя более кстати. Он мне незамедлительно кое-что рекомендовал.

— Согласитесь, — начал он, — что это, как не поразительное везение: именно в тот момент, когда убедительно доказано, что жуткий монах, наделавший столько гадостей в семье барона Ф., — не кто иной, как вы, именно в тот момент, говорю я, на ловца и зверь бежит; монах тут как тут, и вы спасены от подозрений.

— Поверьте мне, я до сих пор не знаю, чем обусловлено мое освобождение; следователь только между прочим упомянул, что здесь объявился капуцин Медардус, а, насколько я понимаю, правосудие интересовалось именно этим капуцином и сгоряча спутало меня с ним.

— Он отнюдь не объявлялся; его доставили сюда на подводе, крепко связанного, и, что любопытно, в тот же день, когда сюда приехали вы. Опять совпадение: мне не дали договорить как раз тогда, когда от повествования о странных событиях, происходивших во время оно при нашем дворе, я перешел к рассказу об отпетом Медардусе, сыне Франческо, и о его зверствах в замке барона фон Ф. Но я готов продолжить нить моего повествования отсюда, где оно прервалось. Как вы помните, сестра нашей княгини, настоятельница цистерцианского монастыря в Б., приняла однажды участие в бедной женщине, которая со своим маленьким сыном возвращалась, совершив паломничество к Святой Липе.

— Женщина была вдова Франческо, а ребенок и есть пресловутый Медардус.

— Именно так, но откуда вы знаете?

— Тайственная история капуцина Медардуса открылась мне тоже таинственно. Мне точно известны его похождения до того момента, как он сбежал из замка барона фон Ф.

— Но откуда? От кого и как?

— Греза наяву просветила меня.

— Это шутка?

— Отнюдь. Право же, сдается мне, что я в сновиденье воспринял историю несчастного, одержимого темными силами, метавшегося то туда, то сюда, от преступления к преступлению. Я попал в...ский лес, когда почтарь сбился с дороги; мне пришлось заночевать в доме лесничего, и там...

— А, теперь я все понимаю, там оказался монах...

— Да, сумасшедший монах.

— Теперь сумасшествие как будто прошло. Значит, уже тогда он приходил временами в себя и доверился вам?

— Если бы так! Все было страшнее. Не подозревая о том, что я ночую в доме, он вошел в мою комнату, и, естественно, его устрасило наше с ним беспримерное сходство. Он вообразил, будто я его двойник, вестник смерти. Он заикался — кое-какие признания вырвались у него — но меня утомило путешествие, и сон взял свое; помнится, монах все еще рассказывал, и достаточно связно, но я не могу с точностью сказать, когда, собственно, началось сновидение. По-моему, монах уверял, что не он убил Евфимию и Гермогена, а что убийцей обоих был граф Викторин.

— Кто бы мог подумать! но почему вы умолчали об этом во время следствия?

— Мог ли я рассчитывать, что следователь хоть отчасти поверит показаниям со ссылкой на такие вычурные приключения? Да и вообще смеют ли судебные инстанции в наше просвещенное время принимать всерьез невероятное?

— Но неужели вам даже не пришло в голову, что вас путают с этим сумасшедшим монахом; что мешало вам указать на настоящего капуцина Медардуса?

— У меня была такая мысль после того, как этот полоумный старец — помнится, его зовут Кирилл — принял меня за своего беглого собрата. Но при всем желании у меня не укладывалось в голове, что сумасшедший монах и есть Медардус и речь идет, в сущности, о его преступлениях. К тому же лесничий сказал мне, что монах никогда не называл ему своего имени — как же разобрались в этом казусе?

— Нет ничего проще. Монах, как вы знаете, околачивался одно время у лесничего; ему полегчало, однако временами на него накатывало, и он творил такое, что лесничему пришлось спровадить его сюда, где его и водворили в сумасшедший дом. Там он сидел день и ночь, уставившись в одну точку, не двигаясь, идол идиолом. Молчал, как немой, и кормили-то его с ложечки, так как он даже руки не поднимал. Чего только не применяли против подобного столбняка, однако крайних лечебных мер все же опасались: вдруг он снова начнет буйствовать? И вот несколько дней назад приезжает в город старший сын лесничего и заглядывает в сумасшедший дом к своему старому знакомцу монаху. Всей душой сострадав несчастному, который, кажется, неизлечим, он выходит из дома и сразу же встречает отца Кирилла из монастыря капуцинов в Б. Заговорив с ним, сын лесничего умоляет проведать собрата по ордену, томящегося взаперти; быть может, слово священника, да к тому же еще капуцина, целебнее иных лекарств? А Кирилл так и отшатнулся, узрев монаха: «Пресвятая Богоматерь, Медардус! Пропавший Медардус!» Так закричал он, и в тот же миг застывший взор монаха ожил. Он срывается с места, глухо вскрикивает — и в изнеможении падает на пол. Кирилл с другими свидетелями этого происшествия, не теряя ни минуты, идет прямо к председателю уголовного суда и выкладывает все начистоту. Следователь, который занимается вами, спешит вместе с Кириллом в сумасшедший дом, и что же! монах очень слаб, но уже не сумасшествует. Более того, он сам подтверждает: он, мол, монах Медардус из монастыря капуцинов, что в Б. Кирилл со своей стороны заверил, что и его сбило с толку ваше беспримерное сходство с Медардусом. Теперь, мол, только он отдает себе отчет в том, что господин Леонард совсем иначе держится, смотрит, говорит, и вообще достаточно воочию увидеть этого монаха Медардуса, то есть настоящего, чтобы все подозрения отпали. У того монаха обнаружилась и крестообразная отметина на шее слева, а вы сами помните, какое значение придавалось ей следователями. Монаха спросили о кровопролитии в замке барона фон Ф. «Я гнусный преступник, я сам себе отвратителен, — отвечает он, еле ворочая языком, — всей душой раскаиваюсь я в содеянном. Ах, как я обманулся, рискнув самим

собою и моею бессмертной душой... Смилуйтесь!.. Повремените немного... я ничего... ничего от вас не утаю...» Как только князь узнал об этом, он сразу же распорядился прекратить следствие против вас и освободить вас из-под стражи. Вот история вашего освобождения. А монаха, напротив, перевели в крепость.

— И он действительно ничего не утаил? Он убийца Евфимии, Гермогена? А что же случилось с графом Викториной?

— По моим сведениям, следствие против монаха начинается только сегодня. Ну, а судьба графа Викторина — это особь статья; все, что восходит к тем потрясениям при нашем дворе, огласке не подлежит.

— Но я не усматриваю ничего общего между событиями в замке барона фон Ф. и той катастрофой при вашем дворе...

— Речь идет скорее о действующих лицах, чем о событиях.

— Я все равно не понимаю вас.

— Вы не забыли мой рассказ о катастрофе, стоившей принцу жизни?

— Конечно, не забыл.

— Так неужели же вы не догадались, что Франческо любил итальянку, любил преступной любовью? что это он, а не принц, первым вошел к новобрачной, а потом зарезал принца? Викторин — дитя того святотатственного посягательства. У него и у Медардуса один отец. Но Викторин как в воду канул, никаких справок о нем не удастся навести.

— Это монах спихнул его в Чертову пропасть! Будь проклят бесноватый братоубийца!

С пафосом изрек я эти слова и в то же самое мгновение услышал тихое-тихое постукивание, как будто я в моей камере и ко мне снизу стучится чудовищный призрак. На меня напала оторопь, я ничего не мог с собой поделаться. От лекаря, казалось, ускользает и стук, и мои внутренние терзания. Он продолжал:

— Что? Монах и в этом вам признался? Он убийца Викторина?

— Да... Его признания были слишком хаотичны, но исчезновение Викторина как-то вписывается в них; видно, дело так и обстояло. Будь проклят бесноватый братоубийца!

Постукивание усиливалось, уже слышались и стоны, и оханье, а вот и тихий свистящий смех разнесся по комнате со звуками вроде:

— Медардус... Медардус... хо... хо... хорош ты! По-мо-ги! По-мо-ги!

А лекарь как будто ничего не слышал:

— Особенно таинственно происхождение самого Франческо. Многие говорят о том, что с нашим княжеским домом его связывало некое родство. Известно, во всяком случае, что Евфимия — дочь...

Страшный удар едва не сорвал с петель распахнувшуюся дверь; неистовый, бешеный смех ворвался в комнату.

— Хо... хо... хо! братец! — в таком же неистовстве откликнулся я. — Хо... хо... хочешь... давай бороться... хо... хо... ходу! ходу! у филина свадьба... ходу, ходу! Вылезем на крышу и поборемся; кто спихнет супротивника, тот король и может пить кровь.

Лейб-медик схватил меня за руки с криком:

— Что это? Что это?.. Да вы же больны... В самом деле, больны опасно... Быстро, быстро в постель!

А я все не сводил глаз с раскрытой двери в ожидании, не войдет ли мой жуткий двойник, но я так и не увидел его и постепенно стряхнул с себя ужас, державший меня ледяными когтями. Лейб-медик уверял, что я сам не знаю, насколько я нездоров, и сваливал все мои беды на тюремное заключение и душевные терзания, связанные со следствием. Я подчинялся его предписаниям, но выздоровел не столько благодаря медицине, сколько благодаря тому, что стукотня больше не возобновлялась и страшный двойник как будто совсем отстал от меня.

Утреннее солнце дружелюбно осветило однажды поутру мою комнату своими светло-золотистыми лучами; из окна сладко пахло цветами; меня неудержимо влекло под открытое небо, и вопреки предостережениям лекаря я поспешил в парк. Деревья и кустарники

шепотом и лепетом поздравляли меня там с исцелением от смертельного недуга. Я вздохнул, как будто превозмог тяжкое сновидение, и мои глубокие вздохи были несказанными излияниями, веющими заодно с птичьим щебетом, с радостным жужжанием и стрекотанием пестрых насекомых.

Да! Не только испытания последнего времени, но вся моя жизнь с тех пор, как я покинул монастырь, представилась мне тяжким сновидением, когда я вступил в аллею, осененную темными платанами. Я был в монастырском саду близ города Б. Вдалеке над кустами я видел крест, перед которым я, бывало, так пламенно молился, взыскав силы, способной противостоять искушению. Казалось, весь мой путь — лишь паломничество к святому кресту, чтобы повергнуться перед ним в прах, исповедаться и покаяться во всех моих преступных наваждениях, насылах лукавого, и я зашагал, молитвенно сложив воздетые руки, глядя на крест, и только на крест. Веянье в воздухе усиливалось; казалось, я уже слышу благочестивый хор братьев, но это была только дивная музыка леса, возбужденная ветром в деревьях; он шумел и не давал мне дышать, так что изнеможение заставило меня вскоре остановиться и опереться на ближайшее дерево, чтобы не упасть. Дальний крест, однако, притягивал меня, и я не мог противиться этому тяготению; из последних сил ковылял я к нему, пока близ кустарника не наткнулся на скамью в виде бугорка из мхов; как слабосильный старец, я рухнул на нее всем телом, и стесненная грудь моя искала облегчения в глухих стонах.

Совсем рядом в аллее что-то зашелестело... Аврелия! Одновременно с молниеносной мыслью о ней она сама возникла передо мной. Слезы пламенного сокрушения хлынули из ее небесных глаз, но в слезах светился некий луч; то было неопишное знойное желание, столь чуждое, казалось бы, Аврелии до сих пор. Но не иначе пламенел влюбленный взор того таинственного существа в исповедальне, столь часто посещавшего меня в моих сладчайших видениях.

— Сможете ли вы когда-нибудь меня простить? — пролепетала Аврелия.

И теряя голову в неизреченном восторге, я бросился к ее ногам, схватил ее руки: — Аврелия... Аврелия... пусть казнь... пусть смерть... лишь бы ты...

Она нежно подняла меня... Аврелия прильнула к моей груди; я упивался пламенными поцелуями. Приближающийся шорох спугнул ее; она вырвалась наконец из моих объятий; удержать ее было нельзя.

— Утолено мое томление, сбылась моя надежда, — тихо сказала она, и в тот же миг я увидел княгиню, идущую по аллее. Я отступил в кусты и только тогда понял, что серое сухое дерево издали представилось мне распятием.

Изнурение мое прошло; поцелуи Аврелии разожгли во мне новую жизненную силу; я чувствовал, как светло и сильно произросла во мне тайна моего бытия. Ах, то была чудесная тайна любви, впервые раскрывшаяся в своей лучистой сияющей чистоте. То был зенит моей жизни; предстояло клониться к закату, чтобы исполнился жребий, predeterminedенный высшей силой.

Именно это время объяло меня небесной мечтою, когда я начал описывать, что со мной приключилось после сновидения с Аврелией. Тебя, неизвестный, чуждедальний читатель сих листков, призвал я вспомнить солнечный полдень твоей собственной жизни, и тогда ты разделишь безутешную скорбь чернеца, поседевшего в покаянном искуплении былого, и заплачешь вместе с ним. Еще раз умоляю тебя: возбуди былое в тебе самом, и мне тогда уже не нужно будет говорить, как любовь Аврелии все вокруг меня преобразила, как восхищенный, взволнованный дух мой изведаль и вкусил жизнь в жизни, как небесный экстаз переполнил меня, вдохновленного божеством. Ни одна мрачная мысль не посещала больше мою душу; любовь Аврелии изгладила все мои грехи; да, чудным образом проклюнулось во мне стойкое убеждение, будто вовсе не я, отпетый святотатец, убийца Евфимии и Гермогена, а тот полоумный монах, встреченный мною в доме лесничего. Казалось, я вовсе не вводил лейб-медика в заблуждение; нет, то был истинный скрытый путь судьбы, превышавший доселе мое собственное разумение.

Князь встретил меня как друга, которого считали погибшим, а он возвратился; естественно, придворные во всяком случае делали вид, что разделяют его чувства; только княгиня оставалась неприступной и настороженной, хотя и не выказывала этого с прежней жесткостью.

Аврелия вверилась мне с детским чистосердечием; она не видела в своей любви никакой вины, ничего такого, что свет может осудить; еще менее я сам был склонен к скрытности, так как жил лишь своим чувством. Наша взаимность не была тайной ни для кого, но никто не обсуждал вслух нашего романа, так как во взорах князя прочитывалось если не одобрение, то молчаливое попустительство. Так что я без всяких затруднений встречался с Аврелией часто, и притом наедине. Я обнимал ее, и мои поцелуи не оставались без ответа, но я чувствовал ее девичий трепет и подавлял греховное вожделение; святотатственный помысел всегда бывал умерщвлен робостью, трогавшей мою душу. Аврелия не чаяла опасности, да опасности и не было, ибо, сидя рядом со мной в уединенном покое, когда ее небесное обаяние могущественнее распространяло свои лучи, когда любовный пламень мог вспыхнуть во мне неистовей, она смотрела на меня с такой нежной невинностью, что думалось: не святая ли соблаговолила по милости небес посетить на земле кающегося грешника? Нет, не Аврелия, то была сама святая Розалия, и я падал к ее ногам с возгласом:

— О, ты праведница, ты святая, ты небесная, смеет ли земная любовь к тебе пребывать в сердце?

А она подавала мне руку, и в голосе ее звучала сладостная мягкость:

— Ах, какая же я святая, какая же я небесная, я просто верующая и очень люблю тебя!

Несколько дней провел я в разлуке с Аврелией; княгиня пригласила ее с собой, отбывая в ближний загородный замок. Разлука стала для меня невыносимой, я устремился за нею. Приехал я туда поздно вечером, встретил в саду камеристку и узнал от нее, где комната Аврелии. Тихо, тихо приоткрыл я дверь... я вошел... на меня пахло духотой... чарующее благоухание цветов одуряло меня. Темными грезами возникли во мне воспоминания. Не в замке ли барона эта комната Аврелии, где я? Едва я подумал об этом, позади меня померещился мне кто-то черный и: «Гермоген!» — закричало все у меня внутри.

Ужас погнал меня вперед, дверь будуара была чуть-чуть приотворена. Я увидел Аврелию, коленапреклоненную перед табуретом, на котором лежала раскрытая книга. Полный робкой боязни, я невольно обернулся — и никого не увидел; тогда я вскричал в неземном восхищении:

— Аврелия! Аврелия!

Она быстро обернулась, но не успела она подняться с колен, я был рядом с ней и крепко обнял ее. «Леонард! Возлюбленный!» — чуть слышно лепетала она. Дикая страсть, преступная, неистовая похоть клокотала, кипела во мне. Аврелия была в моей власти; ее распущенные волосы рассыпались по моим плечам, девственное лоно колыхалось — она глухо вздыхала — я не помнил себя! Я рванул ее к себе, и некая сила пробудилась в ней, глаза ее непривычно засверкали, она уже вспыхивала тем же пламенем в ответ на мои яростные лобзания. Вдруг где-то позади раздался шум, как будто замахали могучие крылья; в комнате как будто закричал смертельно раненный. «Гермоген», — вскрикнула Аврелия; она упала без чувств, и я не мог удержать ее. В диком ужасе бежал я прочь.

В коридоре мне встретилась княгиня. Она возвращалась с прогулки. Княгиня посмотрела на меня надменно и осуждающе, сказав:

— Ваше появление весьма озадачивает меня, господин Леонард.

Мгновенно подавив смятение, я ответил, быть может, категоричнее, чем подобало бы, мол, бывают побуждения, которые сильнее нас, и непростительное иногда простительно!

Когда в ночной темноте я поспешал назад в резиденцию, я не мог отделаться от ощущения, будто кто-то сопутствует мне бегом и неотвязный шепот преследует меня:

— Всю-ду... всюду я с то... бой... с то-бой... бра-тец мой... братец мой Медардус!

Мои глаза уверяли меня, что призрак двойника колобродит лишь в моей собственной

фантазии, но я не мог отделаться от этого страшного морока и не прочь был даже, в конце концов, покалякать с ним, признаться, что я снова сглупил, струхнув перед этим олухом Гермогеном, но я все равно скоро овладею святой Розалией, никуда она от меня не денется, она моя, только моя, на то я и монах, на то я и постригался. Мой двойник хихикал и всхлипывал в ответ по своему обыкновению и лопотал:

— Спе... спе... спе... спеши!

— Терпение, — урезонивал я его, — терпение, мой мальчик! Все идет как по маслу. Правда, вот Гермогена я не дорезал, у него такой же проклятуший крест на шее, как у тебя и у меня, однако мой ножик не только блестит, но и режет, но и разит.

— Хи... хи... хи... рази верней... рази верней...

Науськивания моего двойника стихли в свисте предрассветного ветра; его вызвал пламенный пурпур, разгоравшийся на востоке.

Едва возвратившись к себе домой, я получил приглашение посетить князя. Князь дружески шагнул ко мне навстречу.

— В самом деле, господин Леонард, — начал он, — вы симпатичны мне в высшей степени, не скрою от вас, что моя первоначальная благосклонность к вам превратилась в истинную дружбу. Я хотел бы сохранить вас вблизи себя, я хотел бы поспособствовать вашему счастью. Кстати сказать, уже ваши страдания должны быть увенчаны неким благополучием. Знаете вы, господин Леонард, кто навлек на вас такие жестокие преследования? Знаете ли вы, кто ваш обвинитель?

— Нет, ваше высочество!

— Баронесса Аврелия, представьте себе. Вы удивлены? Да, да, баронесса Аврелия сочла вас (он громко засмеялся) капуцином, господин Леонард! Ну, Бог свидетель, если вы капуцин, то любезнейший из капуцинов, и нет вам равных среди них. Скажите мне откровенно, господин Леонард, не привержены ли вы втайне к монашеству?

— Ваше высочество, я, право, не понимаю, что за злая судьба все время придает мне сходство с монахом, который...

— Стоп, стоп! Я не инквизитор; но это был бы поистине фатум, если бы на вас тяготел монашеский обет. Но не будем отвлекаться! А не хотите ли вы отомстить баронессе Аврелии — гм! — за неприятности, виновницей коих она была?

— Неужели в груди человеческой может гнездиться мысль о мести небесному созданию?

— Вы ее любите?

Князь задал этот вопрос, с пристальным вниманием заглядывая мне в глаза. Молча поднес я руку к сердцу. Князь продолжал:

— Я знаю, вы полюбили Аврелию в то мгновение, когда она с княгиней впервые сюда вошла. Так вот, вы пользуетесь взаимностью, и, признаюсь, я не представлял себе, что нежная Аврелия способна на такое пламя. Вся ее жизнь — это вы; княгиня все мне открыла. Можете ли вы поверить: когда вас арестовали, Аврелия была в отчаянье, не вставала с постели, и мы даже опасались за ее жизнь. Аврелия видела в вас убийцу своего брата и при этом сострадала вам; представьте себе наше недоумение. Уже тогда вы были любимы. Итак, господин Леонард, или, вернее, господин фон Крчинский, вы человек родовитый, я регистрирую вас при моем дворе, надеюсь, не самым неприятным для вас образом. Аврелия будет вашей супругой. Через несколько дней состоится ваша помолвка, и я сам буду посаженным отцом невесты...

Я стоял перед ним, не находя слов, а во мне бушевало борение несовместимых чувств.

— Adieu, господин Леонард, — воскликнул князь и покинул комнату с дружественной миной.

«Аврелия моя жена! Жена преступного монаха! Нет! Какой бы неотвратимый рок ни тяготел над нею, бедной, даже темные силы так распорядиться не могут!» Эта мысль поднялась во мне и оказалась сильнее внутреннего мятежа. Я чувствовал: решение нельзя откладывать, но не представлял себе, как пережить разрыв с Аврелией. Не видеться с ней

было выше моих сил, но я сам не понимал, почему так претит мне предполагаемая женитьба. Меня угнетало отчетливое предостережение: когда преступный монах посмеет перед Божиим алтарем глумиться над святыми обетами, непременно возникнет странный образ живописца, но не для того, чтобы смягчить мою участь утешением, как в тюрьме, а для того, чтобы ужаснуть возмездием и погибелью, перед которой сам Франческо дрогнул под венцом, а уж мне-то никак тогда не избежать неопишемого поругания и урона днесь, присно и вовеки. Но потом еще глубже во мне начинало говорить что-то темное:

— А все-таки чья же Аврелия, если не твоя? Малодушный межеумок, мнишь ли ты переиначить твой рок, общий с нею?

И сразу же в ответ звучало:

— Смирись! Смирись! В прах! В прах! Ты же ослеплен! Это кощунство! Как может стать она твоею? Ты же на святую Розалию посягаешь плотским своим вожделением.

Так, гонимый разладом двух устрашающих начал, не ведал я, что мне помыслить, какому предостережению внять, куда укрыться от погибели, надвигающейся отовсюду. Куда девалось пьянящее самообольщение, принимавшее всю мою прошлую жизнь, включая злосчастный визит в замок барона фон Ф., лишь за тягостную грезу! Безнадежный упадок духа не оставлял сомнений в том, что я лишь заурядный сладострастник и уголовный преступник. Потчужа следователя и лейб-медика убогими рассказками, я бездарно, неискусно лгал и напрасно пытался приписать потом свои бредни некоему внутреннему голосу.

Сосредоточенный в себе самом, безразличный ко всем звукам и картинам, я пробирался по улице и пришел в себя, услышав громкий голос кучера и шум экипажа. Я отскочил в сторону. Экипаж княгини проехал мимо меня; лейб-медик из-за дверцы дружески приветствовал и манил меня; я сразу же последовал за ним к нему на квартиру. Он так и прыгнул ко мне навстречу, увлекая меня за собой с такими словами: «Я прямо от Аврелии, у меня известия для вас».

— Ай-ай-ай, — начал он уже в комнате, — как же вы порывисты и опрометчивы! Куда это годится! Вы застали Аврелию врасплох, ни дать ни взять — выходец с того света, и довели бедняжку до нервного припадка!

Моя внезапная бледность привлекла его внимание.

— Легче, легче, — продолжал он, — ничего страшного; она уже выходит в сад и завтра утром должна вернуться с княгиней в резиденцию. О вас, дражайший Леонард, изволила распространяться Аврелия; по вас она соскучилась; ей не терпится извиниться перед вами; она полагает, что вы могли счесть ее простушкой или дурочкой.

Вспоминая наше свидание в загородном замке, я не знал, что и подумать.

Лекарь был, по-видимому, осведомлен о намерениях князя в отношении меня; он прозрачно намекал на них; трудно было не разделить его жизнеутверждающего пафоса, вызволившего меня на свет Божий из мрачного уныния, так что между нами завязался душевный разговор. Он описывал мне Аврелию, напуганную дурным сном, ее полузакрытые смеющиеся глазенки; подперев ручкой головку, болящая пожаловалась ему на кошмары. Он передавал ее слова, имитировал застенчивые девичьи интонации вперемежку с тихими вздохами и, чуть-чуть потешаясь над ее жалобами, набросал передо мной несколько резких курьезных черточек, обрисовавших ее с милой живостью. А для контраста он представил церемонную чопорную княгиню, чем изрядно позабавил меня.

— Ну, могли ли вы предположить, — взвился он наконец, — могли ли вы предположить, въезжая в резиденцию, что судьба уготовила вам такое? Сначала сногшибательная неурядица бросает вас в объятия уголовного суда, а потом завидная милость фортуны: вы осчастливлены дружбой государя!

— Не могу отрицать: дружелюбие князя сразу же польстило мне; но сейчас я чувствую, как возрос мой престиж при дворе, и усматриваю в этом лишь благое стремление заглавить несправедливость, причиненную мне...

— Тут не столько благое стремление, сколько одна мелочь, которую вы и сами, надеюсь, улавливаете.

— Никоим образом.

— Хотя окружающие по-прежнему величают вас господином Леонардом, каждый теперь знает, что вы дворянин; из Познани поступили известия, не оставляющие сомнений на этот счет.

— Неужели это имеет какое-нибудь значение для князя, для придворного круга, для моей репутации здесь? Когда я представился князю, тот пригласил меня бывать в придворном кругу, а когда я скрыл свое дворянское происхождение, князь утверждал, что в науке моя знатность и ему ничего другого не требуется.

— Князь действительно придерживается подобных взглядов, щеголяя просвещенной приверженностью к наукам и искусствам. Вы, наверное, замечали в придворном кругу разночинцев-ученых и разночинцев-художников, однако щепетильнейшие среди них сплошь и рядом не обладают чувством юмора, достаточным для того, чтобы найти некую высшую точку зрения, откуда удобно иронически взирать на коловращение мира сего, и потому они либо вовсе избегают подобного общества, либо навещают туда изредка. Аристократ может с наилучшими намерениями блеснуть своим пренебрежением к предрассудкам, однако, когда он общается с разночинцем, нет-нет да и даст себя знать барственное высокомерие, готовое лишь из милости терпеть выскочку в своем кругу, а, согласитесь, этого не потерпит ни один человек, которому есть чем гордиться и который сам проявляет снисходительность, прощая аристократическому обществу его ограниченность и заурядность. Оказывается, вы сами дворянин, господин Леонард, но, говорят, ваше образование духовно-научное по преимуществу. Должно быть, поэтому вы первая благородная особа, в которой, находясь в придворном кругу среди вам подобных, я не почувствовал породы, извините за выражение. Вы ошибетесь, если вздумаете счесть это мещанской предвзятостью или желчью личной ущемленности. Я ведь из тех разночинцев, которые не просто пользуются толерантностью знати, нет, нас ублажают и даже культивируют. Врачи и духовенство — своего рода владетельные господа, ведающие телами и душами; они приравниваются к благородным. Даже придворнейшему из придворных не сулит особого блезире расстройство желудка или вечная погибель. Впрочем, я имею в виду лишь католическое духовенство. Протестантские проповедники, особенно в провинции, — полу лакеи, полу приживальщики; пощекотав совесть доброму барину, они допускаются к столу вместе с другими плебеями и получают свою долю жаркого и вина, не смея зазнаваться. Может быть, все дело в застарелых предрассудках, изживаемых с трудом, но ведь никто особенно и не хочет изживать их, ибо многие дворяне не обольщаются насчет своих способностей: не будь они дворянами, они вряд ли приобрели бы то, что теперь имеют. Сословная и родовая гордость выглядит весьма странно, если не просто смешно в мире, где неуклонно воцаряется дух. Ко времени рыцарства восходит культ войны и оружия; тогда-то и образовалась каста, защищающая другие сословия, а подопечные, естественно, признали в своих защитниках господ. Пусть ученый славится своей наукой, художник своим художеством, мастеровой и купец своим промыслом, рыцарь скажет: смотрите, вот напал на вас необузданный враг, и вы, мирные обыватели, в его власти, а я, прирожденный воин, беру мой боевой меч, встаю за вас грудью и, забавляясь моей выучкой, играючи, спасаю вашу жизнь, ваше имущество и достояние. Однако первобытное насилие исчезает с лица земли; всюду внедряется, всюду действует дух, и его торжествующая сила все явственнее обнаруживается. Нельзя больше не видеть, что крепким кулаком, панцирем и рыцарским мечом не навяжешь духу свою волю; даже война и вооружения со временем начинают определяться духовным принципом века. Каждый все более и более предоставлен самому себе; лишь собственные духовные дарования позволяют утвердиться в свете, каким бы внешним блеском ни наделяло вас государство. Между тем родовая гордость, восходящая к рыцарству, зиждется на противоположном принципе: «Мои пращурсы — герои, стало быть, и я герой». Чем длиннее родословная, тем она почтеннее; легче поверить в героизм знатного дедушки; когда чудо в пределах досягаемости, оно вызывает некоторый скептицизм. Конечно, героизм и физическая сила говорят сами за себя. Отпрыски здоровых, сильных

родителей сами обычно здоровы и сильны; воинственность и отвага тоже передаются по наследству. Так что чистоту рыцарской крови надлежало блюсти в стародавние времена; родовитой деве предстояло произвести на свет воина, чтобы захудалое мещанство молило его: «Не ешь нас, пожалуйста, лучше обороняй нас от других воинов», — а с духовными дарованиями все не так просто. Премудрые отцы производят на свет глупейших сынков, и как раз потому, что к физическому рыцарству присоединилось интеллектуальное, Амадис Галльский и легендарный рыцарь круглого стола — предок, более предпочтительный, чем Лейбниц. Дух времени движется в определенном направлении, и аристократии только хуже оттого, что она продолжает кичиться своими родословными; потому бестактная смесь плохо скрытого пренебрежения и зависти к разночинцу, высоко ценимому светом и государством, обусловлена безотчетным, унижительным смятением: ведь мудрые видят уже, как соскальзывает старинная, истлевающая ветошь и не остается ничего, кроме смешной неприкрытой наготы. Хвала небу, немало аристократов обоего пола в согласии с духом времени воспаряют к высотам жизни, являемым наукой и художеством; вот истинные праведники, изгоняющие нечистого духа.

Речь лейб-медика завела меня в пределы, неведомые мне. Отношения аристократа к разночинцу никогда до сих пор не занимали моих мыслей. Откуда было знать лейб-медику, что и я принадлежал к разряду тех, кого щадит аристократическая заносчивость? Разве не был я вхож в самые изысканные аристократические дома в Б., обожаемый, боготворимый духовник? Поразмыслив, я увидел, что вновь по-своему сплел свою судьбу, сказав пожилой придворной даме, что родился в Квечичеве; отсюда пошло мое дворянство, отсюда и мысль князя выдать Аврелию за меня.

Княгиня возвратилась. Я поспешил к Аврелии. Она приняла меня, восхитив нежным девичьим смущением; я заключил ее в объятия и подумал в этот миг, почему бы не стать ей моей женой. Слезы лучились в ее взоре, а голос трогательно просил прощения; так ведет себя капризный ребенок: он сам на себя сердится, нашалив. Я не мог забыть своего визита в загородный замок; я умолял Аврелию не скрывать от меня, что ее тогда ужаснуло. Она не отвечала, она закрыла глаза, а я, обуреваемый тошнотворной близостью моего двойника, вскричал:

— Аврелия! Ради всего святого, что за ужас привиделся тебе тогда позади нас?

Она посмотрела на меня, пораженная; взгляд ее постепенно застывал; потом она вскочила, словно собираясь бежать, однако осталась и всхлипнула, зажимая себе глаза руками:

— Нет, нет, нет, не он!

Я нежно удержал ее, она села, обессиленная.

— Кто, кто не он? — настойчиво спрашивал я, хотя мне смутно передавалось все, что испытывала она.

— Ах, мой милый, мой любимый, — сказала она с тихой жалобой, — не сочтешь ли ты меня полоумной фантазеркой, если я открою тебе все... все... что порою так мучает меня и мешает полному счастью чистой любви? Зловещий морок вторгается в мою жизнь, он-то и наслал страшные образы, закравшиеся между мною и тобой, когда я тебя впервые увидела; холодными крыльями смерти овеял он меня, когда ты вдруг вошел в мою комнату там, в загородном замке княгини. Знай, как ты тогда, преклонял со мной колена монах-безбожник, чтобы святотатственно воспользоваться молитвенным экстазом. Как лукавый хищник, почуявший свою жертву, он подбирался ко мне, а убил моего брата! Ах, и ты!., твои черты... твоя речь... то наваждение... нет, лучше молчать, лучше молчать!

Аврелия откинулась назад; она полулежала на софе, опершись головкой на руку; ее юные красы очерчивались еще соблазнительнее. Я стоял перед ней, сладострастно пожирая глазами ее нескончаемые прелести; но с похотью боролась дьявольская издевка, надрывавшаяся во мне: «Ты безответная невольница сатаны, что же, спаслась ты от монаха, искушавшего тебя молитвенным экстазом? Теперь ты его невеста!., его невеста!» Мгновенно улетучилась из моего сердца любовь к Аврелии, воссиявшая небесным лучом, когда,

ускользнув из тюрьмы, уклонившись от казни, я свиделся с нею в парке; всего меня захватила мысль о том, что погубить ее — ослепительное предназначение моей жизни.

Аврелию пожелала видеть княгиня. Я уже не сомневался в том, что жизнь Аврелии связана с моею еще неразрывнее и загадочней, однако я не находил способа разведать эти связи, ибо Аврелия вопреки всем просьбам не шла дальше бессвязных давешних признаний. И снова случай пришел мне на помощь.

Однажды я был в кабинете придворного чиновника, переправлявшего на почту частные письма князя и придворных. Он как раз отсутствовал, когда в комнату вошла девушка Аврелии и присовокупила толстый конверт к другим, лежавшим на столе. Бросив беглый взгляд на конверт и узнав почерк Аврелии, я убедился: письмо адресовано настоятельнице, сестре княгини. Меня так и пронзила молниеносная уверенность: вот оно, все то, что скрыто от меня; чиновник еще не вернулся, и я унес письмо Аврелии с собой.

Ты, монах или пленник светских треволнений, да послужит тебе моя жизнь устрашающим примером и увещанием; прочти признания набожной чистой девушки, окропленные слезами кающегося грешника (он не смеет уповать на спасение). И пусть озарит тебя праведность отрадным утешением, хотя ты еще готов грешить и кощунствовать.

Аврелия настоятельнице монастыря цистерцианок в ***

Драгоценная моя, святая матушка! какими словами поведаю я тебе, что дочь твоя счастлива и жуткая тень, зловещим угрожающим наваждением вторгавшаяся в мою жизнь, срывающая все цветы, разрушающая все надежды, наконец удалена божественным волшебством любви. Однако сердце мое беспокойно; его все еще тяготит прошлое; ты поминала в своих молитвах моего несчастного брата и моего отца, убитого горем, ты воскресила меня в моей безутешной печали, а я не совсем открылась тебе, как бы остановившись перед святостью исповеди. И все-таки я отваживаюсь извлечь мрачную тайну, скрытую до сих пор у меня в груди. Сдается мне, что недобрая темная сила дразнила меня, подменяя высшее счастье моей жизни отвратительным ужасным мороком. Бурное море играло мною, и, быть может, я была обречена утонуть. Однако само Небо пришло мне на помощь и совершило чудо в то время, когда я уже больше ни на что не надеялась.

Я должна вернуться в мое младенчество, чтобы признаться во всем, во всем, ибо тогда в моей душе были посеяны плевелы, так пышно запленившие ее впоследствии. Мне было года три-четыре, когда прекрасным погожим весенним днем я играла в саду замка с Гермогеном. Мы собирали цветы, и Гермоген, дотоле не особенно расположенный к этому занятию, соблаговолит плести венки для меня, а я примеривала их один за другим. «Пойдем к матушке», — попросилась я, вся в цветах, а Гермоген так и подскочил, дико завопив: «Побудем здесь, маленькая! Матушка в голубом кабинете, она там говорит с дьяволом!» До меня толком не дошли его слова, но всю меня сковал ужас, а потом я навзрыд расплакалась. «Глупенькая сестричка, что ты надрываешься, — кричал Гермоген, — матушка говорит с дьяволом каждый день, и дьявол не трогает ее».

Я испугалась, потому что Гермоген смотрел мрачно, говорил грубо, так что я боялась пикнуть. Матери тогда уже немоглось, ее часто мучили страшные судороги, а потом она лежала, как мертвая. Я плакала от жалости, а в Гермогене глухо говорила какая-то пустота: «Это дьявол ее допекает». Так в моей детской головке поселилась мысль, будто матушку посещает лютное, безобразное страшилище, ибо каков еще мог для меня быть дьявол, я же не знала, что учит Церковь. В один прекрасный день я была предоставлена самой себе; я совсем струхнула, и мне даже не хватило духу убежать, когда до меня дошло, что я в том самом голубом кабинете, где, по словам Гермогена, матушка говорит с дьяволом. Дверь открылась, матушка вошла, смертельно бледная, и устала на пустую стену. Потом не она сама, а какая-то глухая, жалобная пустота закричала в ней: «Франческо! Франческо!» За стеной послышался шорох и возня, потом стена раздвинулась и выступил портрет красавца, написанный во весь рост; одет он был не по-нашему, на плечах фиолетовый плащ. Стан его и

лик несказанно очаровали меня, я взвизгнула от удовольствия; только тогда матушка оглянулась, увидела меня и сердито крикнула: «Ты что здесь делаешь, Аврелия? Как ты сюда попала?» Матушка, всегда такая добрая и нежная, гневалась, чего до сих пор никогда не было. Я почувствовала себя виноватой. «Ах, — залепетала я сквозь слезы, — они бросили меня здесь, а здесь нехорошо». Но когда я увидела, что портрета больше нет, я закричала: «Ах, какой хорошенький! Где он, хорошенький?»

Матушка взяла меня на руки, поцеловала, приласкала и молвила: «Ты моя дорогая, славная доченька! А его никто не должен видеть, да его больше и нет!»

Я никому не выдала матушкиной тайны, только Гермогену однажды проболталась: «И вовсе не с дьяволом матушка говорит, а с одним красавчиком, он просто картинка и выпрыгивает из стенки, когда матушка его кличет». А Гермоген устался в одну точку перед собой и буркнул: «Дьявол, как хочет, так и выглядит, говорил господин священник, а матушку он все-таки не трогает». Мне стало не по себе, и я жалобно попросила Гермогена не говорить больше о дьяволе. Мы переехали в столицу, и я забыла писаного красавца; нисколько не занимал он меня и тогда, когда после матушкиной смерти мы вернулись в замок. Голубой кабинет был в нежилом крыле, как и остальные матушкины комнаты, куда отец предпочитал не заходить, чтобы не мучиться воспоминаниями. Здание, однако, требовало ремонта, и покои нельзя было не открыть; я вошла в голубой кабинет, когда плотники меняли там паркет. Когда один из них вынимал дощечку посредине комнаты, за стеной послышался шорох, стена раздвинулась и так и выступил писанный красавец во весь рост. В полу обнаружилась пружина; стоило нажать на нее, и за стеной сработывало устройство, раздвигавшее стенную облицовку. И тогда ожило то мгновение из моих детских лет; матушка стояла передо мной, я плакала-разливалась, но все не могла налюбоваться на чужого статного кавалера, чьи лучистые очи взирали на меня как живые.

Должно быть, отца моего сразу же известили об этой находке; он вошел и застал меня перед картиной. Достаточно было одного взгляда, чтобы он содрогнулся от ужаса и остановился как вкопанный; что-то в нем глухо пробормотало: «Франческо! Франческо!» Потом он быстро повернулся к плотникам и властно распорядился: «Выломать картину из стены, свернуть в свиток и отдать Рейнгольду». Я поняла, что сейчас навсегда скроется от меня этот статный красавец, одетый не по-нашему, словно светлейший князь духов; я бы взмолилась к отцу, чтобы он не велел уничтожить портрета, но неизъяснимое смущение помешало мне. Впрочем, не прошло и нескольких дней, как в душе моей не осталось ни малейшего следа от исчезнувшей картины.

Мне минуло четырнадцать лет, а я все еще была непоседа и шалунья, нисколько не похожая на важного, солидного Гермогена, так что папенька нередко говаривал, что Гермоген с виду — настоящая скромница, а я сущий сорванец. Вскоре, однако, жизнь взяла свое. Гермоген со страстью предался воинственной рыцарственности. Он жил состязаниями, битвами, словом, всей душой жаждал подвига, а поскольку предвиделась война, он умолял отца отпустить его в армию. На меня же, напротив, напало нечто неизъяснимое; я не знала, куда девать себя, и ходила сама не своя. Пульсация жизни во мне была насильственно затруднена странной дурнотой, происходящей из глубины моей души. Казалось, я вот-вот упаду в обморок, а тут еще проносятся чудные образы и грезы, и вот-вот я узрю небо, полное блаженства и отрады, только глаз не могу открыть, как заспанное дитя. Ни с того ни с сего я была то удручена, хоть ложись и помирай, то сходила с ума от радости. По малейшему поводу я заливалась слезами; непонятное волнение нередко причиняло мне настоящую боль, доводило до конвульсий. Отца встревожило мое состояние, он приписал его нервической экзальтации и пригласил врача, чье искусство не оказало ощутимого действия. Не помню, как это началось, только неожиданно-негаданно привиделся мне тот неведомый писанный красавец; я-то думала, что забыла его, а он передо мной живехонек, и по глазам видно, что ему жаль меня. «Ах, значит, я умираю? почему мне так больно, что и сказать нельзя?» — крикнула я в лицо моей обаятельной грезе, а неизвестный усмехнулся и ответил: «Ты влюблена в меня, Аврелия; вот отчего ты больна, но я посвящен Богу, посягнешь ли ты на

мой обет?» Я только диву далась, увидев, что неизвестный одет капуцином. Я вся восстала против моего завораживающего сновидения, силой заставила себя пробудиться. Я победила: уверилась, что тот монах — лишь мнимое игральное моих же собственных душевных сил, и все-таки мое чаянье слишком отчетливо говорило: вот она, тайна любви. Да!., я любила неизвестного со всей силой пробудившегося чувства, со всей страстью и горячностью, на которую только способно юное сердце. Дурнота, мучившая меня, достигла, наверное, кризиса в минуты мечтательного самоуглубления, когда я, казалось, видела неизвестного; мне потом заметно полегчало, нервическая экзальтация поулеглась, и только маниакальная приверженность навязчивому видению, фантастическая влюбленность в неизменного обитателя моего же внутреннего мира придавали мне отрешенный, отсутствующий вид. Ничто до меня не доходило; в обществе я никак себя не проявляла и, занятая лишь моим идеалом, не обращала внимания на разговоры окружающих и нередко попадала пальцем в небо, когда меня о чем-нибудь спрашивали; мудрено ли, что я прослыла простушкой. В комнате брата увидела я на столе незнакомую книгу; я раскрыла ее, то был переведенный с английского роман «Монах»! Ледяным ужасом потрясла меня мысль о том, что мой тайный возлюбленный — тоже монах. До сих пор мне не приходило в голову, что любовь к служителю Бога греховна; вдруг мне вспали на ум слова моего видения: «Я посвящен Богу, посягнешь ли ты на мой обет?» — и только тогда они поразили меня в самое сердце, обременив мою душу. Что-то подсказывало, будто книга меня вразумит. Я взяла книгу с собой, начала читать и увлеклась причудливым повествованием, но когда произошло первое убийство, когда гнусный монах начал еще пуще бесчинствовать и вступил наконец в союз с нечистым, тогда мне сделалось боязно донельзя и я вспомнила те слова Гермогена: «Матушка говорит с дьяволом». Тогда я предположила, что мой неизвестный — тоже подданный дьявола, вот он меня и совращает. И все-таки я не могла избыть любви к монаху, вселившемуся в меня. Теперь я знала, что бывает богопротивная любовь; я брезговала страстью, таившейся у меня в груди, и от этого разлада происходила моя особенная болезненная чувствительность. Частенько я вся трепетала, когда мужчина приближался ко мне; мне все думалось, это тот монах, сейчас он схватит меня, утащит, и я пропала. Рейнгольд ездил по делам и, вернувшись, много рассказывал о капуцине Медардусе, знаменитом проповеднике, он, мол, сам заслушался его в ***.

Мне представился монах в романе, и почудилось, будто этим-то Медардусом я и одержима, люблю и страшусь его. Эта мысль потрясла меня, сама не знаю почему, и мое состояние в самом деле ухудшилось, меня охватило смятение, едва ли выносимое. Я плыла по морю чаяний и видений. Но напрасно пыталась я освободить мою душу от наваждения; беззащитная девочка не могла противостоять греховной любви к служителю Божьему. Однажды моего отца посетил по своему обыкновению священник. Он не поскупился на поучения о том, как изощрен дьявол в своих ковах, и некая искра запала в меня, когда священник описывал безнадежное уныние юной души, куда дьявол закрадывается почти беспрепятственно. Отец мой кое-что вставил, и я приняла его слова на свой счет. А священник сказал, наконец, что следует неколебимо верить и полагаться не столько на своих ближних, сколько на Церковь и ее служителей; тогда спасешься. Этот разговор запомнился мне и побудил обратиться за помощью к Церкви, облегчить мою грудь покаянным признанием на святой исповеди. Мы как раз находились тогда в резиденции, и ранним утром на другой день я собралась в монастырскую церковь, благо она была рядом с нашим домом. Как я мучилась ночью! Гнусные, кошмарные видения, неведомые мне дотоле, морочили меня, и среди них монах; он протянул мне руку, словно хотел спасти, а сам крикнул: «Только признайся мне в любви, и ты вне опасности!» Тут я крикнула нечаянно: «Да, Медардус, я люблю тебя!» — и сгнули адские духи! Наконец я поднялась, оделась и отправилась в монастырскую церковь.

Утренний свет пробивался радужными лучами сквозь расписные окна, послушник подметал паперть. Недалеко от боковой двери, где я вошла, был алтарь, посвященный святой Розалии; перед ним я помолилась наскоро и шагнула в исповедальню, где увидела монаха.

Праведное Небо! — то был Медардус! Сомнений не было, во мне говорила высшая сила. Любовь и безумный страх владели мною, но я чувствовала и спасительную стойкую отвагу. Я исповедалась ему в моей греховной любви к служителю Божьему и не остановилась на этом! Боже вечный!.. в то мгновение мне вспомнилось, будто я уже посылала проклятия священным узам, отнимающим у меня моего возлюбленного, и в этом исповедалась я. «Кого же, кого же я люблю так, что не могу высказать, если не тебя, Медардус!» То были последние мои слова, я больше не могла говорить, но небесным елеем проистекли целебные церковные увещания из уст монаха, как будто он вовсе даже не Медардус. Вскоре потом я поникла на руки к почтенному престарелому паломнику, и он медленно повлек меня из нефа в неф, пока перед нами не оказался главный выход. Он изрекал святые, небесные глаголы, а я почилла, как маленькая, под сладостные, нежные звуки колыбельной. Я впала в беспамятство, а пришла в себя, совсем одетая, на софе в моей комнате. «Слава Господу и всем святым, кризис миновал, она в сознании», — услышала я голос. Врач говорил эти слова моему отцу. А мне сказали, что утром нашли меня в столбняке, похожем на смерть, и заподозрили нервный удар. Представь себе, милая моя, праведная матушка, исповедь моя у монаха Медардуса лишь привиделась мне с такой живостью в горячечном бреде, но святая Розалия (я часто обращалась к ней и во сне взывала к ее иконе) явила мне все это таким образом, чтобы я спаслась из тенет, уготованных мне лукавым супостатом. С той поры душа моя избавилась от безумной любви к наваждению в монашеском одеянии. Наступило полное исцеление, жизнь открывалась мне со своими невинными радостями. Но, Боже праведный, опять этот ненавистный монах едва не убил меня своим устрашающим свирепством. У нас в замке объявился монах, и я мгновенно узнала в нем того самого Медардуса, вернее, мое наваждение, которому я исповедовалась в бреде. «Вот он, дьявол, с которым говорила матушка, берегись, берегись! — он пришел за тобой!» — кричал мне в душу несчастный Гермоген. Ах, мне было страшно и без его предостережений! С того самого момента, когда монах устремил на меня взгляд, пышущий непристойной похотью, и в притворном восхищении призвал святую Розалию, он пугал и страшил меня. Тебе известны, добрая, милая матушка, ужасы, последовавшие за этим. Ах, но не должна ли я тебе поведать еще кое-что: от монаха исходила для меня угроза тем большая, что в глубине моей души дрогнуло чувство, подобное первому предвкушению греха, когда я пыталась противостоять демонскому стремлению. Бывали мгновения, когда я, ослепленная, верила ханжеской риторике монаха и мне в ней мерещилась искра Божия, возжигающая во мне чистейшую непорочную любовь. Но он ухитрялся гнусным своим коварством даже в молитвенном умилении возбуждать пыл, достойный геенны огненной. Но я недаром пламенно взывала к святым угодникам, и они даровали мне ангела-хранителя, моего брата.

Подумай, милая матушка, каков был мой ужас, когда здесь, не успела я появиться при дворе, встретился мне человек, разодетый на светский манер, но я с первого же взгляда приняла его за монаха Медардуса. Я так и обмерла, едва его увидела. Очнувшись на руках у княгини, я закричала: «Это он, это он, убийца моего брата!» — «Да, это он, — сказала княгиня, — переодетый монах Медардус, ускользнувший из монастыря. Уже одно сходство с отцом его Франческо..» Защити меня, Всевышний, ледяной озноб сотрясает меня всю, когда я пишу это имя. У моей матери был портрет Франческо... Лживое подобие монаха, мучившее меня, — истый Франческо! Медардус, в нем узнала я то же подобие, когда каялась ему в дивном бреде. Медардус — сын Франческо, твой Франц, которого ты, милая матушка, воспитывала в страхе Божиим, а он впал в грех и святотатство. Какие узы связывали мою родную матушку с тем Франческо, если она тайно хранила его портрет и при взгляде на него как будто упивалась памятью о прошлом блаженстве! Что навело Гермогена на мысль о том, что этот портрет — дьявол, и не отсюда ли пошло мое странное наваждение! Нет, я не могу продолжать это письмо; я как будто охвачена мраком ночи, и никакая надежда не светит мне дружелюбной звездой и не указывает мне верного пути.

(Несколько дней спустя)

Нет! Никакое сомнение не омрачит ненастьем солнечных дней, наступивших для меня. Насколько мне известно, преподобный отец Кирилл подробно написал тебе, моя дорогая матушка, как процесс, возбужденный против Леонарда, едва не кончился худо, а ведь это я опрометчиво предала его в злые руки правосудия. Настоящий Медардус уличен; его сумасшествие, по всей вероятности, симуляция, да и сумасшествие уже как рукой сняло; он признается в своих пакостях; ему уготовано справедливое возмездие... но зачем продолжать; позорная судьба преступника, в прошлом дорогого тебе отрока, боюсь, и так тебя ранит в самое сердце. При дворе пресловутый процесс был единственной темой разговоров. В Леонарде видели закоренелого, прожженного преступника; вот, мол, почему он запирается. Силы небесные! Эти толки были для меня хуже острого ножа, ибо странным образом некий голос уверял меня: «Он же невиновен; это же ясно как день». Я испытывала глубокое сострадание к нему; я не могла не признаться себе самой, что его наружность, стоило мне вспомнить ее, волнует меня, и не приходится обманываться на этот счет. Да! — и тогда уже я любила его невыразимо, хотя для всего света он был гнусным преступником. Его и меня должно было спасти чудо, ибо и я умерла бы, если бы Леонард пал от руки палача. Он не виновен, он меня любит, он скоро будет мой и только мой. Так дивно, дивно сбывается в трепетной блаженной жизни смутное чаянье моих младенческих лет; тщетно вражеская сила пыталась лукаво отравить его. Дай же мне, дай моему возлюбленному свое благословение, ты, праведная матушка! О, если бы твоя счастливая дочь у твоего сердца могла бы выплакать свое небесное упоение! Леонард с виду — настоящий двойник Франческо, он только как будто более рослый, к тому же некая характерная осанка, свойственная его нации (ты знаешь, он поляк), весьма определенно отличает его от Франческо и монаха Медардуса. Какая я была дурочка, когда спутала блестящего, утонченного, изящного Леонарда с беглым монахом! Но как трудно забыть ужасные сцены в нашем замке; порою, когда Леонард внезапно входит ко мне, смотрит своими сияющими очами, ах! меня пронизывает взор Медардуса, я нечаянно пугаюсь и трепещу, как бы я, несмышлениш, не сделала любимому больно. Уповаю на то, что благословение священника прогонит мрачные призраки, все еще грозowymi тучами враждебно нависающие порой над моей жизнью. Не забудь меня и моего возлюбленного в твоей праведнической молитве, дорогая матушка! Князь торопит наше венчание; я извещу тебя, в какой день ты должна помыслить о своей дочери, когда в ее жизни наступит час, увенчивающий всю ее земную судьбу...» и т. д.

Снова и снова перечитывал я строки Аврелии, чувствуя, что дух небесный, коим они светятся, осиял все во мне и своим пречистым лучом погасил святотатственный пламень. Теперь я благоговел при виде Аврелии и не позволял себе столь неистовых ласк; это не ускользнуло от ее внимания, и я покаялся в том, что присвоил ее письмо, адресованное настоятельнице; я сослался на неизъяснимое движение души, коему я не мог противостоять, как будто мной владела высшая сила; я благодарил эту высшую силу за то, что видение в исповедальне мне теперь ведомо и, значит, неразрывно сочетало нас вечное предначертание.

— Да, праведная дочь Небес, — молвил я, — и у меня было чудесное сновидение; мне снилось, что ты признаешься мне в любви, а я несчастный монах, растоптанный судьбою, и грудь мою разрывают адские муки. Тебя, тебя любил я несказанно горячо, но любовь моя была святотатством, святотатством вдвойне, ибо я монах, а ты святая Розалия.

В ужасе всколыхнулась Аврелия.

— Господи, — сказала она, — Господи, всю нашу жизнь пронизывает невероятная тайна; ах, Леонард, лучше не касаться пелены, ее облакающей; кто знает, какие отталкивающие ужасы могут открыться нам! Не лучше ли положиться на Бога, и пусть верная любовь соединит нас; тогда отстанет от нас темная сила; это ее духи неприязненно осаждают нас. Ты прочитал мое письмо, и слава Богу; мне бы самой тебе все поведать; разве допустимы между нами тайны! И мне ведь сдается, что ты проглатываешь некое признание; оно просится на уста к тебе, а ты скрываешь от меня то гибельное, что когда-то вошло и в

твою жизнь. Ты напрасно колеблешься! Дай волю откровенности, Леонард, и твоя грудь вздохнет свободно, а наша любовь засияет еще светлее.

Эти слова Аврелии больно заделали меня, так как дух обмана таился во мне и я только что святотатственно ввел в заблуждение эту маленькую праведницу; во мне нарастало извращенное желание все открыть Аврелии и этим упрочить ее любовь.

— Аврелия, ты моя святая, спасительница моя...

Тут вошла княгиня, и один вид ее вернул меня в мой ад, где царило глумление и гибельные ковы. Она не могла теперь спровадить меня, как бывало, и я остался, дерзко и вызывающе подчеркивая свое жениховство. Лишь с глазу на глаз с Аврелией был я свободен от злобных помыслов, лишь тогда я поистине чувствовал себя на седьмом небе. Вот почему с таким нетерпением ждал я свадьбы.

Однажды ночью я, как живую, увидел мою мать; я хотел взять ее за руку, но оказалось, что это марево.

— Не глупо ли так морочить меня? — вскричал я с сердцем; тогда светлые слезы потекли у нее из очей, а очи обозначались серебристыми, светло мерцающими звездами, роня вспыхивающие брызги; эти брызги заискрились вокруг моей головы и образовали бы нимб, но чья-то черная, устрашающая длань все время разрушала его.

— Я родила тебя чистым от всякого нечестия, — мягко сказала мать, — или сила твоя совсем иссякла, и ты не способен отринуть сатанинскую прелесть? Лишь теперь я вижу, каков ты внутри себя, ибо брэнное совлечено с меня! Встань, Францискус, я украшу тебя цветами и лентами, ибо настает день святого Бернарда, а разве ты неверующий, ты, мальчик мой?

И я запел бы хвалу святому, но поднялось настоящее неистовство; вместо пения послышалось дикое завывание, и черные покровы ниспали, шурша, между мною и моей неосязаемой матерью.

Через несколько дней после этого видения я встретил на улице следователя. Он дружески шагнул ко мне.

— Знаете, — начал он, — процесс капуцина Медардуса опять под вопросом. Уже совсем было вынесли ему смертный приговор, а тут опять рецидив сумасшествия. Уголовный суд получил известие о смерти его матери, я довел это до его сведения, а он захохотал дико и завопил голосом, от которого струхнул бы и храбрец: «Ха-ха-ха! Принцесса фон... (у нашего князя брат был убит... а он возьми да и назови его вдову) давно покойница!» Врачам приказано опять обследовать его, впрочем, судя по всему, он симулирует.

Я попросил сказать мне, в какой день и в какой час моя мать скончалась! она привиделась мне в тот самый момент, когда умерла, и в мысль мою и в чувства глубоко внедрилось впечатление, будто мать моя, слишком забытая мною, теперь имеет доступ к чистой небесной душе, которая должна была стать моею. Непривычное умиление и кротость пролили на любовь Аврелии новый свет; подобало ли мне покинуть ее, мою святую покровительницу? Она больше не требовала от меня признаний, и я вновь увидел в моей мрачной тайне сверхъестественное роковое вмешательство высших сил.

Настал день- свадьбы, назначенный князем. Аврелия пожелала венчаться на рассвете у алтаря святой Розалии в ближней монастырской церкви. Я не сомкнул ночью глаз и пламенно молился, как некогда в отдаленном прошлом. Ах, слепец! Я даже не почувствовал, что молитва во исполнение греха — адское святотатство.

Я вошел к Аврелии, и она встретила меня, вся в белом, украшенная благоуханными розами, прекрасная как ангел. Ее наряд, ее головка странным образом напоминали что-то давнее; смутное воспоминание возникло во мне, но я содрогнулся, охваченный глубоким трепетом, когда мне отчетливо представилась алтарная икона, перед которой предполагалось венчание. Я узрел снова мученичество святой Розалии, и она была одета в точности как Аврелия.

Такое совпадение поразило меня, и пришлось сделать над собой усилие, чтобы моя

тревога не бросилась в глаза моей невесте. У нее в очах лучилось небо любви и блаженства; она подала мне руку, я привлек ее к себе, и с поцелуем чистейшего восторга вновь пронизало меня отчетливое чувство, что только Аврелия может спасти мою душу. Княжеский вестовой доложил, что государь и государыня изволят ждать нас. Аврелия поспешно натянула перчатки, я взял ее за руку, тут девушка Аврелии озаботилась ее прической и кинулась искать шпильки. Мы мешкали у двери; промедление заметно беспокоило Аврелию. В этот миг на улице послышался глухой шум; глухо перекликались безликие голоса, потом заскрежетал, заскрипел тяжелый, медленно проезжающий экипаж. Я шагнул к окну!

Прямо перед дворцом остановилась подвода; прислужник палача сидел за кучера, позади него монах, а с монахом капуцин; оба громко, истово молились. Приговоренный был обезображен бледностью смертельного страха и растрепанной бородой, но внешность моего омерзительного двойника была мне слишком памятна. Как только подвода снова тронулась (ее задержала напиральная толпа), он бросил на меня невыносимый взгляд сверкающих глаз, расхохотался и взвыл:

— Жених, жених! давай... давай... на крышу... на крышу... там мы поборемся, и кто спихнет супротивника, тот король и может пить кровь!

— Ужасный человек! — закричал я. — Что ты хочешь от меня?

Аврелия обхватила меня обеими руками, она силой влекла меня от окна, крича:

— Ради Господа и Пресвятой Девы... Это Медардус... убийца моего брата... его везут на эшафот... Леонард... Леонард...

Тут во мне очнулись и взъярились духи ада со всей силой, которую дает им гнусное святотатство. Я схватил Аврелию с таким злобным исступлением, что она содрогнулась:

— Ха-ха-ха! Дурочка, полоумная... я... твой любезный, твой суженый, я Медардус... убийца твоего брата... хочешь визгом предать на смерть своего жениха? Хо-хо-хо!.. я король... я пью твою кровь!

Я выхватил нож, — тот самый! — я пырнул Аврелию, она упала на пол, кровь потоком обогрела мне руку. Я устремился вниз по лестнице, протолкался в толпе к подводе, вцепился в монаха, стащил его на землю; тут меня схватили, в ярости пустил я в ход нож, вырвался, бросился наутек; на меня напирали, я почувствовал колющую боль в боку, но с ножом в правой руке, не скупясь на крепкие удары левым кулаком, я проложил себе путь до ограды парка и невероятным прыжком преодолел ее.

— Убийство! Убийство! Держите... держите убийцу! — надрывались голоса позади меня; я услышал скрежещущий стук; это пытались высадить запертые ворота парка; никто не остановил меня. Я добежал до широкого рва, отделявшего парк от леса; еще прыжок, и вот я в лесу; я бежал через лес куда глаза глядят, пока, обессиленный, не рухнул под деревом. Была глухая ночь, когда я проснулся, вернее, пришел в себя, как после глубокого обморока. В моей душе коренилась одна мысль: бежать, бежать, как бежит затравленный зверь! Я встал, но едва удалился на несколько шагов, как в кустах послышался шорох и на спину мне прыгнул человек, стиснув мне шею руками. Напрасно я силился избавиться от этой ноши, падал навзничь, приваливался к деревьям; он крепко держал меня, то хихикал, то издевательски хохотал. Месяц проглянул из-за черных елей, и мертвенно-бледное, отталкивающее лицо монаха, Псевдомедардуса, осклабилось, гнусно уставившись на меня, как тогда с подводы:

— Хи... хи... хи... Братец мой, я всегда, всегда с тобой... Не уйдешь... не уйдешь... ты бегун, а я нет... понеси... понеси... Я же с ви... се... ли... цы... с ко... ле... са... с ко... ле... са... хи... хи...

Так хихикало и завывало страшилище, а мне придавал силы дикий ужас, и я делал головокружительные прыжки, словно тигр, которого душит гигантская змея. Я норовил треснуться об утес или о ствол дерева, чтобы изувечить его, если не убить; авось он тогда отпустит меня! Но он только надрывался со смеху; лишь самому себе причинял я страшную боль. Я пытался разжать его руки, стиснутые у меня под подбородком, но этот упырь чуть было не раздавил мою гортань. Бешеный рывок, и, наконец, он сорвался с моей спины, но

через несколько шагов он снова сидел у меня на закорках, хихикая, давясь, изрыгая свой ужасный бред. Новый взрыв дикой ярости — новое освобождение — и снова я взнуздан этим неотвязным оборотнем. Не представляю себе, сколько времени мыкался я по темным лесам, гонимый моим двойником; думается, не месяцы ли провел я так, без еды и питья. Один просвет живо вспоминается мне, после которого я вконец обеспамятел. Только что удалось мне свергнуть человекоподобное иго, солнечный луч и целительно-сладостный звон пронизали лес. Я узнал монастырский колокол, звонили к заутрене.

«Ты убийца Аврелии». Ледяные клещи смерти сдавили меня с этой мыслью, и я поник без чувств.

Раздел второй. ИСКУПЛЕНИЕ

Отрадное тепло ублаготворило мое нутро. Потом я почувствовал во всех своих жилах неизведанное кишение неких кусачих мурашек; чувство перешло в мысли, но мое «я» все еще было расщеплено по крайней мере на сотню своих подобий. Каждое из них прозябало, по-своему сознавая жизнь, и напрасно голова пыталась восстановить свою власть над остальными членами; как взбунтовавшиеся подданные, они отказывались вернуться под ее державу. Вот светящимися точками завертелись помыслы каждого из этих преломлений, так что начал вырисовываться круг, сужавшийся по мере того, как скорость нарастала, пока все не остановилось, образовав пламенеющую сферу. Оттуда хлынули огненно-багряные лучи, движущиеся в пламенной игре красок.

«Это члены мои, они ожили, я прихожу в себя!» — явственно подумалось мне, но в то же мгновение весь я дернулся от нестерпимой боли: громкий колокольный звон ударил мне в уши.

— Бежать! Прочь отсюда, прочь! — отчаянно закричал я и уже рванулся было, но силы изменили мне. Только теперь я с превеликим трудом продрал глаза. Колокольный звон не стихал, я воображал, что я все еще в лесу, и немало удивился, разглядев кое-какую мебель; оказывается, над головой у меня был кров. В полном уставном облачении капуцина я лежал, распростертый на добротном матрасе, в простой, но достаточно поместительной комнате. Два плетеных стула, небольшой стол и убогая постель — такова была домашняя утварь. Не приходилось сомневаться в том, что я долго пролежал без сознания, если я даже не заметил, как меня перенесли в монастырь, где пользуют болящих. Очевидно, я был в таких жалких лохмотьях, что меня покамест обрядили в рясу. Я подумал, что я счастливо избежал опасности. Эта мысль совершенно успокоила меня, и я решил выждать: дальнейшее должно было вскоре определиться, так как больных не оставляют без присмотра. Я едва шевелился, хотя не чувствовал ни малейшей боли. Всего несколько минут я пролежал так, полностью придя в сознание, когда услышал, что по длинному коридору к моей комнате приближаются шаги. Дверь отворилась, и я увидел двоих; один из них был в партикулярном платье, другой носил облачение милосердных братьев. Они молча приблизились к моей постели; мирянин испытующе глянул мне в глаза и был заметно удивлен.

— Я пришел в себя, сударь, — начал я слабым голосом, — благодаренье Небу, вернувшему меня к жизни, но где я нахожусь? как я здесь очутился?

Не отвечая мне, мирянин обратился к монаху и заговорил по-итальянски:

— В самом деле, удивительно; у него совсем другой взгляд, и говорит он отчетливо, хотя все еще слаб... Не иначе, то был кризис...

— Сдается мне, — ответил монах, — жизнь его вне опасности.

— Не совсем, — ответил мирянин, — не совсем, каково-то еще ему будет в ближайшие дни! Не знакомы ли вы с немецким хоть настолько, чтобы с ним заговорить?

— Увы, нет, — ответил монах.

— Я понимаю и говорю по-итальянски, — вмешался я, — скажите мне, где я и как я здесь очутился.

Мирянин, как мог я предположить, врач, казалось, был приятно удивлен.

— Ах, — воскликнул он, — ах, вот и отлично. Ваше местопребывание, сударь, не из худших; здесь о вас пекутся изо всех сил. Вас доставили сюда три месяца назад, и ваша жизнь внушала серьезные опасения. Вы совсем расхворались. Однако мы приняли в вас участие, лечили вас, и теперь, судя по всему, вам полегчало. Если наши труды увенчаются полным успехом, ничто не помешает вашему дальнейшему путешествию. Как я слышал, вы держите путь в Рим?

— А что, — спросил я, — на мне так и было это облачение?

— Как же иначе, — ответил врач, — но довольно вопросов; ни о чем не беспокойтесь, все ваши недоумения со временем рассеются; ваше драгоценное здоровье — вот что сейчас главное.

Он пощупал мой пульс, а монах подал мне чашку, которую только что принес.

— Попробуйте, — сказал врач, — и скажите мне, что, по-вашему, вы пьете.

— Это не что иное, — ответил я, выпив чашку залпом, — как весьма крепкий мясной бульон.

Врач удовлетворенно усмехнулся и заверил монаха: «Лучше некуда!»

Оба оставили меня. Я убедился в правильности моих предположений. Итак, я лежал в странноприимном лазарете. Меня пользовали усиленным питанием, крепительными снадобьями и поставили на ноги через три дня. Монах открыл окно, и в комнату проник роскошный теплый воздух, я еще никогда не вдыхал подобного; сад подступал вплотную к зданию; великолепные невиданные деревья зеленели и цвели; виноградные лозы в изобилии оплетали стену; в особенности, темно-лазурное благоуханное небо показалось мне приметой отдаленного волшебного края.

— Где я все-таки? — вскричал я, зачарованный, — неужели святые ниспослали мне обитание во Царствии Небесном?

Монах польщенно улынулся и сказал мне:

— Вы в Италии, брат мой! в Италии!

Я был удивлен донельзя и умолял монаха подробно поведать мне обстоятельства, приведшие меня в сию обитель, монах же сослался на доктора. Тот сообщил мне наконец, что месяца три назад меня водворил сюда один оригинал, что это лазарет на попечении милосердных братьев.

Силы возвращались ко мне, и от меня не ускользнуло, что врач и монах поощряют мою словоохотливость, прямо-таки стараясь подвигнуть меня на рассказы. Я обладал достаточными познаниями в разных областях, чтобы занять моих собеседников, и врач побуждал меня даже к писательству, прочитывая мои опусы в моем же присутствии и находя в подобном чтении немалое удовольствие. Впрочем, меня несколько настораживало то, что он при этом не хвалит мои писания, а только повторяет:

— В самом деле... все удается... я прав... здорово... здорово...

Теперь в определенные часы меня отпускали на прогулку в сад, где время от времени я замечал жутко изможденных, мертвенно-бледных, скелетообразных людей; милосердные братья служили им поводырями и проводниками. Однажды я собирался уже вернуться в свою комнату, когда мне встретился долговязый тощий человек в необычной землисто-желтой хламиде; два монаха вели его под руки; он не мог шагнуть без того, чтобы не подпрыгнуть потешнейшим образом, при этом он еще и вызывающе посвистывал. Я удивленно остановился, однако монах, мой провожатый, повлек меня прочь, говоря при этом:

— Не задерживайтесь, не задерживайтесь, любезный брат Медардус, вам это противопоказано.

— Ради Бога, — вскричал я, — откуда вы знаете мое имя?

Я не мог скрыть волнения при этих словах, что весьма озаботило моего проводника.

— Полноте, — ответил он, — разве ваше имя — такая уж тайна? Человек, препроводивший вас сюда, назвал его в точности, и под этим именем вы зарегистрированы у

нас: «Медардус, брат-капуцин из монастыря в Б.».

Ледяной холод пробежал по моим членам. Но хотя в странноприимный лазарет доставил меня некто неведомый, он вряд ли намеревался мне повредить, ибо отнюдь не злоупотребил моей ужасной тайной, а, напротив, проявил дружеское участие, да и, в конце концов, меня не арестовали.

Я высовывался из комнаты в окно и жадно впивал усладительный, теплый воздух, струившийся по моим жилам и костям и возжигавший во мне новую жизнь, когда среди главной садовой аллеи я заметил маленькую, щуплую фигурку в поношенном сюртучке не с дедовского ли плеча и в шляпенке, похожей на дурацкий колпак; человечек скорее семенил, приплясывая, чем шел. Он приветствовал меня взмахами шляпы и воздушными поцелуями. Человечек напоминал мне кого-то, однако черты его лица ускользали от меня, и деревья заслонили его прежде, чем я окончательно пришел к выводу, кто же он такой. Однако вскоре послышался стук в мою дверь; я отворил ее, и вошла фигурка, только что виденная мною в саду.

— Шёнфельд! — воскликнул я, полный удивления. — Во имя Неба, как вы здесь оказались?

Передо мною стоял сумасброд-цирюльник из торгового города, мой тогдашний спаситель.

— Ах... ах... ах... — вздохнул он, потешно сморщившись, как бы готовый заплакать. — Как же еще я мог оказаться здесь, если не по прихоти злого рока; он гонитель всех истинных гениев; так вот, я заброшен сюда, вернее, извергнут... Я спасался бегством как убийца...

— Это вы убийца? — взволнованно перебил я его.

— Да, убийца, — продолжал он. — Не сдержав гнева, истребил я левую бакенбарду младшего коммерции советника в городе и опасно поранил правую...

— Умоляю вас, — прервал я его снова, — хватит паясничать; образумьтесь наконец и говорите связно, а не то прощайте!

— Ах, любезный брат Медардус, — начал он вдруг важно, — ты брезгуешь моим обществом, когда у тебя отлегло, однако ты не привередничал, когда лежал пластом и поневоле делил со мной комнату; я даже спал на этой постели.

— Что за новости? — воскликнул я в полной растерянности. — Откуда вы узнали имя «Медардус»?

— Благоволите взглянуть, — усмехнулся он, — на краешек вашей рясы, там, справа...

Я послушался; изумление и страх тотчас же сковали меня, ибо я убедился: имя «Медардус» действительно было там вышито, а более пристальное обследование неопровержимо подтверждало, что я ношу именно ту рясу, которую спрятал в дупле, спасаясь бегством из замка барона фон Ф. Шёнфельд угадал мое внутреннее смятение и ухмыльнулся со значением; он поднес указательный палец к носу, встал на цыпочки, заглянул мне в глаза; я хранил молчание, тогда он начал тихо и осмотрительно:

— Примечаю, ваше преподобие, вы восхищаетесь красотой вашего платья; оно сшито как раз по мерке, вы в нем просто загляденье; что в сравнении с ним ваша прежняя орехово-коричневая обновка с аляповатыми матерчатыми пуговицами, хотя ее и выбрал для вас мой положительный, обязательный Дамон. А все я... я... я, многострадальный опальный Белькампо, прикрыл сим платьем вашу наготу. Брат Медардус! Не лучшим образом выглядели вы, ибо сюртуком, спенсером, английским фраком служила вам всего-навсего собственная кожа, а уж приличная куафюра была вообще немыслима, ибо вы посягнули на мое искусство, обслуживали вашего Каракаллу гребнем о десяти зубцах, слагавшимся из ваших же дланей.

— Довольно дурака валять, — не выдержал я, — уймитесь, Шёнфельд...

— Пьетро Белькампо — вот мое имя, — окрысился он, — да, Пьетро Белькампо здесь в Италии, и прими к сведению, Медардус, допустим, я сама глупость, но моя глупость призвана всюду сопутствовать твоему уму, иначе твой ум хромает; хочешь — верь, хочешь

— нет, но, кроме глупости, тебе больше не на что опереться; ибо разум у тебя плохонький, совсем негодящий; он же на ногах не держится, увалень-карапуз, а глупость — нянька при нем; она ему пособничает, выводит на путь истинный, а тот ведет восвояси, то есть сюда, в сумасшедший дом, где нам с тобой самое место, братец Медардус.

Я содрогнулся; мне вспомнились образины, виденные давеча, особенно тот, в землисто-желтой хламиде, то и дело подпрыгивающий; сомневаться не приходилось: Шёнфельд в своем безумии сказал мне правду.

— Да, братец мой Медардус, — продолжал Шёнфельд вещать, безудержно жестикулируя, — да, милый мой братец Медардус. Глупость выступает здесь на земле, как истинная монархия духовности, а разум — лишь ее незадачливый ставленник; ему совершенно все равно, что происходит за рубежами державы; лишь от нечего делать развлекается он плац-парадами, но его солдаты толком не умеют стрелять, а враг извне насаждает. Однако глупость — истинная государыня, она вступает за свой народ, тут и трубы и литавры: ура! ура! — в тылах ликование, да, ликование! Подданные вырываются из своих застенков, где разум держал их взаперти, отказываются стоять, сидеть, лежать по ранжиру, как велит педант-наставник; он бы приказал рассчитаться по порядку номеров, но ему ничего не остается, кроме как изречь: «Посмотрите-ка, что творится с моими лучшими учениками; глупость вмешалась, и все смешалось, и общество помешалось». Игра слов, братец Медардус, игра слов — раскаленные щипцы; глупость пользуется ими для завивки мыслей.

— Нельзя ли, — еще раз прервал я его бредни, — нельзя ли прекратить эту бессмыслицу; может быть, вы соберетесь с духом и поведаете мне, почему вы здесь и на что вы намекаете, толкуя о моем платье.

Говоря так, я обнял его за плечи обеими руками и принудил сесть на стул. Он как будто опамятовался, опустил глаза и перевел дух.

— Снова, — начал он тихим угасшим голосом, — снова, вторично спас я вам жизнь; не с моей ли помощью вы улизнули из торгового города, и кто, как не я, водворил вас сюда.

— Но, ради Бога, ради всех святых, как вы наткнулись на меня? — вскричал я, отпуская его, и в то же мгновение он сорвался с места, сверкнул глазами и завопил:

— Ах, брат Медардус, да если бы не я, тщедушный и убогий, кто приволок бы тебя сюда на плечах? Костей бы тебе не собрать, колесованному!

Я задрожал; уничтоженный, я сам упал на стул; тут отворилась дверь, и в комнату поспешно вошел брат, опекавший меня.

— Почему вы здесь? Кто разрешил вам входить в эту комнату? — напустился он на Белькампо, а у того слезы хлынули из глаз, и он взмолился:

— Ах, преподобный отец мой, я просто не мог удержаться! Ну, как я мог не поговорить с моим другом; знали бы вы, что угрожало его жизни, а я пришел к нему на помощь!

Я несколько оправился.

— Скажите мне, возлюбленный брат мой, — молвил я монаху, — правда ли, что я здесь благодаря этому человеку?

Монах не ответил.

— Я теперь знаю, где я нахожусь, — продолжал я, — могу себе представить, как я был плох, наверное, хуже некуда; но вы видите, я выздоровел, и мне, надеюсь, позволительно узнать то, чего до сих пор не говорили мне, щадя меня.

— Но это правда, — ответил монах, — этот человек препроводил вас к нам месяца три-четыре тому назад. По его словам, он нашел вас в лесу, где вы лежали замертво, милях в четырех отсюда, там, где проходит граница с...ской землей; он узнал в вас капуцина Медардуса из монастыря в Б.; оный Медардус направлялся в Рим, и путь его пролегал через город, где дотоле жил этот человек. Собственно говоря, вы были совершенно апатичны. Вы шли, когда вас вели; вы останавливались, когда вас оставляли; вы садились или ложились, повинаясь внешнему указанию. Вас буквально приходилось кормить и поить. С ваших уст срывались лишь глухие, невнятные звуки, ваш взгляд, казалось, утратил всякую

восприимчивость. Белькампо не отходил от вас, он ходил за вами вернее всякой сиделки. Через четыре недели вы начали страшно буйствовать; мы были вынуждены водворить вас в специальный покой. Вы мало чем отличались от дикого зверя; не буду распространяться по этому поводу, боюсь, что напоминание об этом причинит вам боль. Прошло еще четыре недели, и опять наступила апатия, переходившая в полный ступор, но вот вы очнулись, и вы здоровы.

Пока монах все это мне рассказывал, Шёнфельд сидел, как бы погруженный в глубокое раздумие, опершись головой на руку.

— Да, — начал он, — мне ли не знать, что иногда на меня накатывает, но воздух сумасшедшего дома действует одуряюще на рассудительных, мне же он на пользу. Я проявляю склонность к самоанализу, а это обнадеживающий симптом. Если я вообще существую лишь в моем сознании, то стоит моему сознанию совлечь шутовской камзол, и вот уже я не я, а степенный джентльмен. О Господи! Да разве гениальный куафер сам по себе не присяжный скomorох? Скomorохество — лучшее средство от сумасшествия, и я могу заверить вас, преподобный отец, что даже при наисевернейшем ветре отличаю колокольню от фонарного столба.

— Если это так, — сказал я, — докажите это, поведайте спокойно и связно, как вы нашли меня и как доставили сюда.

— Я так и сделаю, — ответил Шёнфельд, — хотя преподобный отец принял весьма настороженный вид; однако позволь, брат Медардус, обращаться к тебе по-дружески на «ты», как-никак ты обязан мне жизнью.

Итак, ты сбежал ночью, а тот заезжий живописец тоже как в воду канул вместе со своими картинами, и никто не мог сказать, куда он делся. Сперва все были заинтригованы этим исчезновением, но подоспели другие новости, и стало не до того. Однако и до нас дошел слух об убийствах в замке барона Ф., да и...ские суды объявили о розыске монаха Медардуса из монастыря капуцинов в Б., и публика вспомнила, что живописец рассказывал в ресторации всю историю убийства и признал в тебе брата Медардуса. Хозяин гостиницы, где ты проживал, подтвердил подозрение в моем соучастии, нет, речь шла при этом не об убийстве, а о твоём бегстве. Однако меня взяли на заметку и были не прочь упрятать меня в тюрьму. Такой аргумент очень упростил мое давнее решение бежать от местного убожества, повергающего меня в прах. Я устремился в Италию, в страну аббатов и куафюр. Направляясь туда, я видел тебя в резиденции князя фон... Говорили о твоём предстоящем бракосочетании с Аврелией и о казни монаха Медардуса. Видел я и этого монаха. Ладно! Кто бы он ни был, я не знаю другого Медардуса, кроме тебя. Я старался попасться тебе на глаза, ты не удостоил меня своим вниманием, и я не стал задерживаться в резиденции, пошел дальше своей дорогой. После долгого путешествия однажды в предрассветных сумерках я намеревался идти через лес, весьма неприветливо черневший передо мной. С первыми солнечными лучами в густом кустарнике послышался шорох, и выскочил человек, давно не стриженный и не бритый, но одетый с иголочки. Глаза у него были дикие, блуждающие, в одно мгновение он скрылся из виду. Я пошел дальше, но как же я ужаснулся, увидев перед собой на земле человека, раздетого догола. Я подумал, что произошло убийство, и убийца — тот, убегающий. Я наклонился над раздетым, узнал тебя и понял, что ты не бездыханен. Прямо подле тебя валялась монашеская ряса, ее ты и сейчас носишь; я кое-как одел тебя и поволок на себе. Наконец глубокий твой обморок прошел, но долго еще держалось оцепенение, о коем тебе только что поведал здесь преподобный отец. Нелегко было волочь тебя дальше, и только вечером я вышел к распивочной, расположенной в лесу. Ты заснул мертвым сном, и я оставил тебя на траве, а сам зашел в поисках еды и питья. В распивочной сидели...ские драгуны, и хозяйка сказала мне, что они обыскивают лес до самой границы в поисках монаха; необъяснимым образом он убежал как раз в то мгновение, когда его должны были казнить в *** за тяжкие преступления. Я не представлял себе, как принесло тебя из резиденции в лес, но, убежденный в том, что ты и есть беглый Медардус, я с превеликим тщанием отвращал угрозу, преследующую тебя. Избегая проезжих дорог, я переправил тебя

через границу и, наконец, добрался вместе с тобой до этой обители, куда приняли тебя и меня, так как я решительно отказался с тобой расстаться. Здесь тебе ничего не грозило, так как больных не выдают ни в коем случае, в особенности не выдают иноземным властям. Пять твоих чувств приметно изменяли тебе, пока я жил в твоей комнате и приглядывал за тобой. Да и твоя подвижность оставляла желать лучшего; Неверр и Вестрис взглянули бы на тебя весьма пренебрежительно, ибо ты, можно сказать, совсем повесил голову, а когда тебе хотели придать вертикальное положение, ты валился, как неуклюжая кегля. Дар слова совсем у тебя подкачал, ибо ты был скуп не только на слова, но и на слоги и в припадке общительности изрекал что-то вроде «ху-ху» или «ме... ме...», в чем твоя мысль и воля не особенно сказывались, и напрашивалось даже предположение, не подгуляли ли они, бродяжничая где попало. А потом вдруг на тебя нашел веселый стих; ты подпрыгивал высоко в воздух, рычал от удовольствия и срывал с себя рясу; твоя природная нагота не терпела, видно, никаких стеснений, а твой аппетит...

— Довольно, Шёнфельд, — прервал я невыносимого гаера, — довольно! Я уже слышан об удручающем состоянии, в котором долго пребывал. Благодарение вечному долготерпению и милости Господа, благодарение заступничеству Пречистой Девы и святых угодников, я спасен.

— Ах, преподобный отец, — продолжал Шёнфельд, — великое ли это благо! Я говорю об особой функции духа, именуемой сознанием, это проклятушая должность гнусного надзирателя, взывающего пошлины у городских ворот, акцизного чиновника, какого-нибудь главного налогового инспектора с конторкой в мансарде на самой верхотуре; он там сидит и препятствует внешней торговле, приговаривая: «Стоп... стоп... товар вывозу не подлежит... национальное достояние... национальное достояние...» Драгоценнейшие бриллианты хоронятся в земле, как бросовые семена, и произрастает в лучшем случае свекловица, а дальше практика известная: из тысячи центнеров выжимается четверть унции дрянного сиропа... Стоп... стоп... А ведь экспорт открыл бы нам рынки Града Божьего, где сплошная роскошь и блеск... Бог Всевышний! Господи! Да я мои лучшие, весьма недешевые пудры б la Marichal, б la Pompadour, б la reine de Golconde высыпал бы в реку, где поглубже, лишь бы раздобыть путем транзитного торга хотя бы щепотку тамошней солнечной пыли и ею напудрить парики высокообразованных профессоров и преподавателей, а прежде всего — мой собственный! Да что я говорю! Если бы вас, преподобнейший из преподобных отцов, мой Дамон вырядил не во фрак блошиного цвета, а в летнюю накидку (зажиточнейшие, почтеннейшие обыватели Града Божьего ходят в таких накидках к исповеди), вы бы превзошли самого себя в том, что касается приличия и величия, а то свет считает, что вы просто *glebae adscriptus*¹⁰ и в свойстве с дьяволом.

Шёнфельд не усидел на месте и заметался из угла в угол по комнате, приплясывая, яростно жестикулируя, отчаянно гримасничая. Он, как всегда, прямо-таки пылал, возжигая одно чудачество другим, и я схватил его за руки, сказав: «Ты что, просишься сюда вместо меня? Неужели твоей рассудительности хватает лишь на одну минуту, а потом ты сразу же опять начинаешь кобениться?»

Он таинственно улыбнулся и спросил:

— Так ли уж нелепо все, что я возвещаю, движимый наитием духа?

— В том-то и горе, — ответил я, — что твоим дурачествам частенько присущ глубокий смысл, но ты разбазариваешь его, разукрасив такой пестрой дешевкой, что добротная мысль теряет естественный цвет, и вот она уже смешная и подержанная, как платье в оборочках из пестрого тряпья. Ты, как пьяный, не можешь держать линию; тебя заносит то туда, то сюда, авось кривая вывезет!

— А что такое прямая? — прервал меня Шёнфельд с кисло-сладкой миной. — Что такое прямая, преподобный капуцин? Прямая — кратчайший путь к цели, вот что значит

¹⁰ простой смертный, букв.: приписанный к земле (лат.).

прямота. Знаете ли вы вашу цель, дражайший монах? Не боитесь ли вы, что вам не хватает цепкости, вот вы и торчите в распивочной, подкрепляясь крепкими напитками в поисках прямой, ни дать ни взять кровельщик, страдающий головокружением; перед вами две цели, и вы говорите о прямоте? К тому же, мой капуцин, я при моем звании был бы пресен без юмористического соуса, как цветная капуста без испанского перца. Художник прически без юмора — сущее ничтожество, несчастный тупица, у которого в кармане собственное благополучие, а он киснет в унынии, не пользуясь им.

Монах пристально следил и за мной и за Шёнфельдом, гримасничавшим напропалую; мы говорили по-немецки, и он не понимал ни слова; тут он, однако, вмешался:

— Простите, господа, но моя обязанность — приостановить ваш диалог, едва ли способствующий выздоровлению обоих. Вам, брат мой, следует сначала окрепнуть, а потом уже предаваться воспоминаниям из вашей прежней жизни, по всей вероятности, небезболезненным для вас; продолжительные разговоры на такие темы определенно нежелательны и несвоевременны; ваш друг поведает вам все во всех подробностях, когда вы покинете нашу обитель, исцеленный, а он будет вам сопутствовать. При этом вы (он обратился к Шёнфельду) обладаете талантом живо представлять перед слушателем все, о чем вы повестуете. В Германии вас должны считать полоумным, а для нас, как я полагаю, вы прирожденный комедиант. На театральных подмостках вы могли бы сделать карьеру.

Шёнфельд уставился на монаха широко раскрытыми глазами, потом встал на цыпочки, зааплодировал, воздев руки выше головы, и вскричал по-итальянски:

— Глагол духа!.. Глагол судьбы!.. Судьба, ты обратилась ко мне из уст этого преподобного отца!.. Белькампо... Белькампо... Ты не нашел себя, не распознал своего истинного таланта... Свершилось!

Он прыгнул к двери. На другое утро он зашел ко мне, уже снарядившись в дорогу.

— Ты, милый мой брат Медардус, — молвил он, — теперь здоровехонек и вполне обойдешься без меня; я отбываю, вняв моему внутреннему голосу... Прощай... Но позволь напоследок подвергнуть тебя моему искусству, хотя оно и представляется мне лишь пошлым промыслом.

Он достал бритву, ножницы, гребень; не скупясь на гримасы, шутки и прибаутки, он выстриг мне тонзуру и подровнял бороду. Этот человек доказал мне свою верность, но, откровенно говоря, я тяготился его обществом, и расставание с ним скорее радовало, чем печалило меня.

Врач с успехом пользовал меня крепительными снадобьями; я заметно посвежел, а продолжительные прогулки способствовали восстановлению моих сил. Я был убежден, что пешее странствие не повредит мне, и покинул обитель, целительную для душевнобольных, но не для здоровых; последние не могли не чувствовать здесь нечто гнетущее и пугающее. Предполагалось, что я паломник и держу путь в Рим; этот путь меня вполне устраивал, и я зашагал по дороге, которую мне указали. Моя душевная болезнь действительно прошла, но я сам сознавал, что меня гнетет некое бесчувствие; оно отбрасывало мрачную тень на каждый образ, проклевывающийся в моей душе, так что краски отсутствовали и серое господствовало безраздельно. Отчетливое воспоминание о прошлом не давало себя знать, я жил мгновением. Я заранее облюбовывал вдали место, где бы попросить съестного или напроситься на ночлег; я испытывал истинное довольство, когда верующие набивали подающими мою нищенскую суму и заботились, чтобы моя фляга не пустела. В ответ я, как трещотка, безучастно повторял молитвы. В душе я уже не отличался от заурядного нищенствующего монаха, не блещущего умом. Так я пришел наконец в большой монастырь капуцинов, расположенный в нескольких часах пути от Рима; монастырь стоял на отлете, окруженный хозяйственными пристройками. Там должны были принять меня как брата по ордену, и я рассчитывал, что меня там ублажат наилучшим образом. Я сказал, будто происхожу из немецкого монастыря, но наша община больше не существует, и вот я паломничаю, но надеюсь вступить в какой-нибудь другой монастырь нашего ордена. Меня приняли с дружелюбием, которым славятся итальянские монахи, не поскупились на

угощение и другие знаки внимания, а приор объявил, что паломник монастырю не в тягость и я могу побыть у них сколько пожелаю, если, разумеется, это не противоречит моим обетам. Начиналась вечерня, монахи заняли свои места на хорах, и я пошел в церковь. Вдохновенное смелое зодчество церковного нефа подействовало на меня, но дух мой все-таки тяготел к земле и не мог вознестись, как бывало с того времени, как я, едва выйдя из младенчества, созерцал церковь Святой Липы. Помолившись у главного алтаря, я ходил по боковым приделам, осматривая алтарные иконы; как обычно, на них было запечатлено мученичество святых, которым посвящены алтари. Наконец я вошел в капеллу, алтарь которой привлек меня магическим освещением: солнечные лучи преломлялись в расписных стеклах. Я хотел взглянуть на икону, я поднялся по ступенькам. Святую Розалию... икону моей судьбы, посвященной моему монастырю, — ах! — Аврелию узрел я! Вся моя жизнь... тысячекратное святотатство... мои преступления... смерть Гермогена... смерть Аврелии... одна-единая невыносимая мысль... она раскаленным, заостренным железом пронзила мой мозг... Моя грудь... жилы и фибры разрывались в дикой боли... Страшная затыжная казнь! Лучше смерть, но смерть не приходит. Я упал ниц... в неистовом отчаянье разорвал я мою рясу... я завыл в скорбной безнадежности на всю церковь:

— Проклятие мне, проклятие мне! Нет мне благодати, нет надежды ни здесь, ни там. Ад! Ад! Вечная отверженность мне, гнусному грешнику!

Меня подняли... монахи собрались в капелле... ко мне приблизился приор, высокий, благообразный старец. Он взглянул на меня с неопишуемой строгой кротостью, он взял меня за руки и сделал это, как святой в небесном сострадании поддерживает в воздухе над огненным омутом пропавшего, готового туда рухнуть.

— Недужный брат мой! — сказал приор. — Мы проводим тебя в монастырь; там ты успокоишься.

Я целовал его руки, его облачение, я не мог говорить; только глубокие, боязливые вздохи выражали страшную муку моей израненной души.

Меня проводили в трапезную, по знаку приора монахи удалились, я остался с ним наедине.

— По-видимому, брат мой, — начал он, — ты обременен тяжким грехом; очевидно, ты совершил что-то ужасное; только глубочайшее, безнадежнейшее сокрушение прорывается столь несдержанно. Но Господь милостив; действительной мощью обладает молитва святых... Исповедуйся мне и, если ты покаешься, можешь уповать на Святую Церковь.

В то мгновение принял я приора за старого паломника, некогда посетившего Святую Липу, и на земле не было другого существа, кроме него, кому я мог бы раскрыть мою жизнь со всеми ее посягательствами и святотатствами. Но язык не повиновался мне, я только рухнул перед старцем в прах.

— Я иду в монастырскую капеллу, — торжественно сказал он и удалился.

Я не отступил, я поспешил следом за ним; он сидел в исповедальне, и я мгновенно покорился неодолимому движению духа, я поведал ему все-все! И приор наложил на меня поистине ужасную епитимью. Я был удален из Церкви, отлучен, как прокаженный, от соборного общения с братией; я лежал в монастырском склепе, поддерживал свою жизнь лишь отваром из несъедобных трав, бичевал себя, подвергал себя изощреннейшим самоистязаниям, прибегая к орудиям пыток, завещанным утонченнейшей свирепостью; вслух я позволял себе лишь перечислять свои мерзости и сокрушенно молиться об избавлении от адского пламени, уже разгоравшегося во мне. Но когда кровоточили уже сотни моих ран, когда боль ядовито язвила меня сотнями скорпионов и брэнное естество обмирало и снисходительный сон оборонял меня своими объятиями, как страждущего младенца, тогда возникали враждебные грезы и начиналась новая смертельная кара.

Вся моя жизнь ужасала меня отчаянными сценами. Я видел Евфимию; она приближалась ко мне во всей своей упоительной красоте, я же громко кричал:

— Что ты хочешь от меня, блудница! Нет, посланцы ада не имеют ко мне доступа!

Тогда она распахивала передо мной свои одежды, и жуть вечной гибели нападала на

меня. От ее тела остался только скелет, но и среди костей кишели бесчисленные змеи, они тянулись ко мне, высовывая красно-огненные жала.

— Отстань!.. Твои змеи жалят меня в грудь, а она без того изранена!.. Кровь моего сердца — для них желанный корм. Они разжируют, а я умру... я умру... лучше смерть, чем твоя месть...

Так я вопил, а она завывала:

— Мои змеи будут питаться кровью твоего сердца... но что тебе до этого, не в этом твоя мука; твоя мука в тебе, и она тебя не убьет, потому что она и есть твоя жизнь. Твоя мука — мысль о твоём святотатстве, а эта мысль тебя никогда не покинет.

Возникал окровавленный Гермоген, спугивая Евфимию; слышался шум крыльев, он реял передо мной, показывая мне рану у себя на шее, рана была крестообразная. Я пытался молиться, однако усиливался устрашающий шепот и шум крыльев. Я видел моих прежних знакомых; они кривлялись как бесноватые. Головы копошились как саранча, из ушей у них росли ножки; они издевательски хихикали, оборачиваясь ко мне... Чудовищные птицы... вороны с человеческими лицами шумели крыльями в воздухе. Я узнал музыканта из Б.; с ним была его сестра, она кружилась в диком вальсе; брат аккомпанировал ей, пиликая на скрипке, скрипкой служила ему собственная грудная клетка. Белькампо с безобразным рыльцем ящерицы, оседлав омерзительного крылатого червя, напал на меня, чтобы расчесать мне бороду раскаленным железным гребнем, но что-то мешало ему. Все неистовей и неистовей делалось нашествие; все немыслимое, все невероятнее образины от малышки-муравья, танцующего на человеческих ножках, до длиннющего конского костяка с горящими глазами и чепраком из собственной шкуры; совиная голова светилась на плечах всадника. Туловище его было втиснуто в кубок без доньшка, служивший панцирем, а вместо шлема на голове красовалась воронка трубкой вверх. Адский фарс разыгрывался передо мной. Я слышал свой собственный смех, но мне же разрывал он грудь, причиняя жгучую боль, бередя все мои кровоточащие раны. Вот вспыхивает женственный светоч, исчадия ада отступают... свет направляется ко мне... Ах, это же Аврелия!

— Я жива, и я теперь вся твоя, — говорит светоч, и во мне оживает святотатец. В исступлении дикой похоти я рвусь обнять ее... Куда девалось мое изнурение, но мою грудь обжигает пламень, колючая щетина тычется мне в глаза, и сатана со скрежетом хохочет:

— Ну, теперь-то ты мой со всеми потрохами!

С криком ужаса я просыпаюсь, и сразу же потоками течет моя кровь от ударов бича с шипами, которым я наказываю себя в безнадежном отчаянье. Ибо святотатство во сне, даже греховный помысел, требует двойного искупления.

Наконец истек срок тягчайшего покаяния, назначенный приором, и я вышел из монастырского склепа, чтобы в самом монастыре, хотя и в строгом затворе, отнюдь не общаясь с братьями, возобновить искупительные упражнения. Суровость покаяния постепенно убавлялась, и я получил доступ в церковь, не сторонясь уже других братьев. Однако я сам алкал искупительных мук и не мог принять их щадящего послабления, ограничивающегося лишь ежедневным самобичеванием. Я стойко отвергал улучшенное питание, предлагавшееся мне; целыми днями лежал я, распростертый на холодном мраморном полу перед иконой святой Розалии, усугубляя самоистязания в моей уединенной келье, чтобы страждущая плоть отвлекала меня от невыносимой душевной муки. Но вопреки всем самоистязаниям не отступали от меня исчадия моих помыслов, как будто надо мной безраздельно властвовал сатана, совращающий и одновременно издевательски казнящий меня. Мое упорство и неслышанная изошренность в самоумерщвлении не остались незамеченными. Братия начинала взирать на меня с благоговейным трепетом, и до меня даже доносился шепоток: «Он святой!» Слово это ужасало меня, ибо слишком отчетливо помнил я гибельное мгновение, когда в монастырской церкви в Б. в разнузданном неистовстве я крикнул живописцу, пристально наблюдавшему меня: «Я святой Антоний!»

Епитимья, наложенная на меня приором, была наконец также выполнена, но я не прекращал самоистязаний, хотя плотское естество мое уже не выдерживало. Мои глаза

померкли, мое израненное тело превратилось в окровавленный костяк, и дошло до того, что, пролежав много часов на полу, я не мог подняться без посторонней помощи. Тогда по распоряжению приора я предстал перед ним.

— Помогло ли твоей душе, брат мой, строгое искупление? — начал он. — Посетила ли тебя милость Неба?

— Нет, преподобный отец, — глухо ответило мое отчаянье.

— Когда ты, — продолжал приор торжественно, — когда ты открыл мне на исповеди череду твоих ужасных посягательств, я предписал тебе суровейшее покаяние, ибо церковные установления требуют: злотворитель, ускользнувший от руки правосудия, но в сокрушении поведавший свои бесчинства служителю Господа, должен самого себя подвергнуть телесным испытаниям, подтверждающим его искренность. Он должен духом обратиться к Небу, а тело подвергнуть истязанию, дабы сладострастие прежнего нечестия было искуплено земным страданием. Но я разделяю мнение знаменитейших вероучителей, согласно которому беспощаднейшие самоистязания ни на крупницу не убавляют греховного бремени, если кающийся слишком полагается на умерщвление плоти, рассчитывая при этом на вечную награду. Человеческому разумению недоступна вечная мудрость, взвешивающая по-своему наши деяния, но нет спасения тому, кто надеется внешним самоуничижением завоевать Царство Небесное, полагая, будто его скверна изглажена упражнениями в покаянии, он лишь выявляет недостаточность своего поверхностного раскаяния. Ты, дорогой брат Медардус, чужд подобному самообольщению, стало быть, сокрушение твое неподдельно; изволь же повиноваться мне: довольно бичеваний, принимай пищу более сытную, не уклоняйся от общения с братьями. Знай, что тайна твоей жизни со всеми ее причудливыми перипетиями ведома мне лучше, нежели тебе самому. Тебе суждено было изведать власть сатаны; ты не мог противостоять ему, а он помыкал тобою, употребляя тебя как орудие своего злодейства.

Не думай, однако, что ты от этого менее грешен в глазах Господа, ибо тебе не было отказано в доблести, способной дать отпор нечистому. В каком человеческом сердце не бесчинствует зло, противясь добру, но без этого противодействия не было бы заслуги, ибо заслуга — лишь победа доброго начала над злым, а грех проистекает из обратного. Узнай, прежде всего, что, по крайней мере, одно из твоих преступлений заключалось лишь в желании совершить его. Аврелия жива, в твоём диком неистовстве ты поранил самого себя, обагрил руки твоей же собственной кровью... Аврелия жива... Мои сведения достоверны...

Я упал на колени, я воздел руки в молитве, глубокие вздохи вырвались из моей груди, слезы хлынули из глаз!

— Знай, кроме того, — продолжал приор, — что старый странствующий живописец, о котором ты упоминал в своей исповеди, помнится мне, неоднократно появлялся у нас в монастыре, и мы ждем его в ближайшем будущем. Он вверил мне на хранение книгу с разнообразными рисунками, но, в основном, книга содержит одну историю, и к ней-то живописец и присовокупляет по несколько строк всякий раз, когда заходит в монастырь.

Он отнюдь не обязывал меня держать эту книгу в тайне, и я тем более склонен приобщить к ней тебя, что вижу в этом высшее предначертание. Тебе надлежит постигнуть соответствия странных свершений в твоей жизни, то восхищающих тебя чудными видениями высшего мира, то низвергающих тебя в пошлую суетность. Говорят, что Чудо покинуло землю, но мой опыт свидетельствует об обратном. Чудеса остались, и когда мы, подсмотревшие регулярную повторяемость в чередке определенных явлений, не решаемся называть их чудесами, в это круговращение частенько закрадывается феномен, посрамляющий нашу рассудительность, и нам остается тупо оспаривать его при нашей косной неспособности его осмыслить. Так мы упрямо опровергаем правоту нашего внутреннего созерцания именно потому, что прозрение слишком прозрачно для нашей грубой роговицы.

Вот и сей неведомый живописец из тех образов, которые показывают, сколь смешна наша мудрствующая наблюдательность; я сомневаюсь, имеем ли мы основания назвать его телесность подлинной. Не вызывает сомнений одно: обычная физиологическая сторона его

жизни никем не засвидетельствована. Кстати сказать, я никогда не видел его рисующим или пишущим; он разве что читает книгу, а в ней после каждого его посещения больше исписанных листов. Знаменательно и то, что до сих пор я видел в книге лишь неразборчивую рукопись да расплывчатые наброски фантастических картин, а после твоей исповеди, любезный брат Медардус, я все прочитал и понял.

Думаю, мне не следует делиться с тобой моими чаяньями и предположениями касательно живописца. Лучше предоставить все твоей проницательности, и тайна, так сказать, сама пойдет тебе навстречу. Ступай, подкрепись, и если в ближайшие дни ты воспрянешь духом, согласно моим предчувствиям, я не вижу препятствий к тому, чтобы ты прочитал чудесную книгу неведомого живописца.

Я повиновался приору, я ходил к общей трапезе, оставил самобичевания, ограничиваясь пламенной молитвой перед алтарями святых. И хотя мое сердце все еще кровоточило и боль, глодавшая душу, пронизывала меня всего, ужасные видения не посещали меня более, и нередко, когда, изнуренный до смерти, я лежал без сна на моем жестком ложе, что-то веяло на меня, как будто пролетали ангелы, и Аврелия, живая и прекрасная, наклонялась надо мной, и слезы небесного сострадания лучились у нее в очах. Она осеяла мое чело своей простертой дланью, и очи мои смежались, и нежный, целительный сон струился в моих жилах новой жизненной силой. Когда приор убедился в том, что моему духу не противопоказано напряжение, он дал мне книгу живописца и рекомендовал не покидать его кельи, пока я не вникну в каждую строку.

Я раскрыл книгу, и первое, что поразило мой взор, были фрески Святой Липы, иногда бегло очерченные, а иногда представленные в цветных копиях. Впрочем, это не вызвало у меня ни малейшего удивления, и нельзя сказать, что мне не терпелось увидеть, как разгадывается загадка. Нет, какая же это была загадка! Мне уже давно было ведомо, что таит книга живописца. На последних страницах его письмена, едва различимыми, хотя и расцвеченными, были обозначены мои мечтанья и чаянья, очерченные, правда, решительнее и тверже, чем отважился бы я.

Примечание от издателя

Не пересказывая того, что прочитал он в книге живописца, брат Медардус далее повествует, как он простился с приором, посвященным в его тайну, и с дружелюбной братией, как он завершил свое паломничество в Рим и везде, в Соборе Святого Петра, в храмах Святого Себастиана и Лаврентия, Святого Иоанна Латеранского, у Санта Мария Маджоре и так далее, перед всеми алтарями падал на колени и молился, как слухи о нем дошли до самого папы, как молва начала приписывать ему святость, выдворив его тем самым из Рима, так как он чувствовал себя теперь лишь кающимся грешником и ничем более. Мы же — я говорю о себе и о тебе, любезный читатель, — недостаточно знакомы с мечтаниями и чаяньями брата Медардуса и, опустив письма живописца, едва ли сумеем сочетать и свести к единой канве запутанные, разрозненные нити, составляющие историю Медардуса. Чтобы ты лучше понял меня, я прибегну к такому уподоблению: перед нами множество разноцветных лучей, но не хватает фокуса. Рукопись почившего капуцина была завернута в старый, пожелтевший пергамент, испещренный мельчайшими буквами, едва доступными прочтению, и мое любопытство было затронуто именно этим весьма неординарным почерком. Письмена поистине пришлось расшифровывать, и как же я был удивлен, когда уразумел: передо мной история, запечатленная в книге живописца, о чем свидетельствует Медардус. Выдержанная в стиле, почти летописном, история изложена на итальянском языке, изобилующем архаизмами и афоризмами. Тон книги настолько своеобразен, что по-немецки звучит он глуше и беднее, как стекло с трещиной, однако связность и цельность повествования потребовали перевода, каковой и выполнен мною с одним огорчительным ограничением. Княжеский род, из которого происходит пресловутый Франческо, не пресекался; в Италии, равно как и в Германии, здравствуют еще потомки князя, чья резиденция

приютила в свое время Медардуса. Согласись, подлинные имена здесь недопустимы, а тот, кто дал тебе в руки сию книгу, любезный читатель, менее всех способен подбирать и подтасовывать вымышленные имена, когда имеются настоящие, да еще такие звучные и романтические, как в данном случае. Означенный издатель с наилучшими намерениями именовал князя князем, барона бароном и так далее, избегая собственных имен, однако, поскольку старый живописец прослеживает запутаннейшие, деликатнейшие фамильные отношения, не представляется возможным впредь опускать имена, так как повествованию тогда грозила бы невразумительность и пришлось бы безыскусную хоральную летописность оснащать и приукрашивать затейливыми вычурами комментариев и ссылок.

Итак, я подчеркиваю мою функцию издателя и прошу тебя, любезный читатель, прежде чем ты начнешь читать дальше, принять к сведению следующее. Камилло, князь фон П., родоначальник фамилии, из которой происходит Франческо, отец Медардуса. Теодор, князь фон В., — отец князя Александра фон В.; у последнего при дворе подвизался Медардус. Его брат Альберт, князь фон В., сочетался браком с итальянской принцессой Гиацинтой Б. Фамилия барона Ф. известна в горах, и следует только добавить, что баронесса фон Ф. происходила из Италии; она дочь графа Пьетро С., а тот был сыном графа Филиппо С. Все остальное ты уразумеешь, любезный читатель, если только согласишься усвоить эти немногие имена и инициалы. А теперь в качестве продолжения.

Пергамент старого живописца

...И вот Генуэзская республика, страдая от жестокого натиска алжирских корсаров, призвала славного героя-флотоводца Камилло, князя фон П., дабы он выставил против обнаглевших пиратов четыре галиона с людьми и оружием. Камилло, алчущий бранной славы, написал своему старшему сыну Франческо, повелев ему возвратиться и править княжеством в отсутствие отца. Франческо, приверженный художеству, был учеником Леонардо да Винчи, и дух искусства настолько овладел им, что вытеснил все прочие помыслы. Не было на земле для него ничего выше искусства, и он видел только пеструю тщету во всех остальных людских начинаниях и предприятиях. Он не смог расстаться со своим учителем, тогда уже весьма пожилым, и потому написал отцу, что предпочитает скипетру кисть и не намерен покидать Леонардо. Старый, гордый князь Камилло весьма разгневался; он обругал своего сына негодящим дурачком и послал за ним верных служителей. Но когда Франческо проявил стойкость в своем отказе, утверждая к тому же, что князя во всем блеске трона затмевает, по его мнению, хороший художник, а величайшие военные подвиги — лишь кровопролитная игра земных сил, тогда как искусство — чистейшее проявление сокровенного духа, движущего художником, герой-флотоводец Камилло окончательно разъярился и поклялся наложить на Франческо вечную опалу, а престол завещал своему младшему сыну Зенобио. Франческо охотно согласился с таким решением, более того, документально подтвердил, что отрекается от княжеского престола в пользу своего младшего брата, подкрепив документ торжественными заверениями, и когда старый князь Камилло был убит в жестоком кровавом бою с алжирцами, к власти пришел Зенобио, а Франческо, сложив с себя княжеский титул и звание, окончательно предался художеству и довольствовался годичным содержанием, которое высылал ему правящий брат, а средства эти позволяли ему влачить жизнь чуть ли не в бедности. От природы Франческо был горд, своенравен, и только старый Леонардо умел укрощать его дикую вспыльчивость, а когда Франческо сложил с себя княжеский титул, он стал верным, преданным сыном старого художника. Не одно великое произведение Леонардо завершал при его сотрудничестве, и ученик, воспаряя к высотам учителя, сим прославился: многие церкви и монастыри заказывали ему алтарные иконы. Старый Леонардо с любовью поддерживал его своим искусством и мудростью, пока не умер в глубокой старости. Тогда в молодом Франческо снова взыграли тщеславие и своенравие, подобно пламени, слишком долго изнывавшему под спудом. Его самомнение внушало ему, что он величайший художник своего времени, и,

соединяя изощренность своего искусства со своей родовитостью, объявил он себя князем художников. О старом Леонардо он теперь отзывался пренебрежительно и, отступив от бесхитростно набожного письма, выработал новый стиль, помпезной композицией и кричащим блеском ослепляющий толпу, а ее несдержанные восторги, в свою очередь, усугубляли его кичливость и заносчивость. Случилось так, что Франческо окружили буйные, разнузданные юноши, а он при своей страсти к предводительству и первенству стал заядлым мореплавателем среди неистовых волн разврата. Обольщенные язычеством и его культом лукавой сомнительной видимости, юноши во главе с Франческо составили тайную секту, кощунственно глумящуюся над христианством; они воскрешали эллинскую обрядность и устраивали вакханалии с наглыми блудницами. Среди них были живописцы, но преобладали ваятели, помешанные на античном искусстве, издевательски отвергающие все, что новые художники, воспламененные святой Христовой верой, обрели и осуществили во славу Его. В нечистом пылу писал Франческо одну за другой картины, навеянные вымышленным языческим баснословием. Никто, кроме него, не умел так осязаемо изобразить изобильную, влекущую, сладострастную женственность, перенимая оттенки телесности у живых натурщиц, а формы и обаяние у античных кумиров. Он уже не присматривался в церквях и монастырях к возвышенным видениям верующих старых мастеров и не пытался усвоить их с благоговением истинного художника, нет, он прилежно писал языческих лжебогов. Но один кумир владел им всецело, то была знаменитая Венера, неизменно царившая в его помыслах. Однажды Зенобио не выслал старшему брату денег вовремя, и Франческо при своем расточительном буйстве, поглощавшем все его заработки, но ставшем уже его второй натурой, начал терпеть горькую нужду. Тогда он вспомнил, что давно уже получил один заказ: монастырь капуцинов предлагал ему за крупное вознаграждение написать икону святой Розалии, но все, относящееся к христианству, так претило ему, что он не давал согласия, а теперь вознамерился поскорее выполнить заказ, чтобы поправить свои дела. Замысел Франческо заключался в том, чтобы обнаженная святая на его картине ликом и формами не отличалась от пресловутой Венеры. Эскиз превзошел его собственные ожидания, и молодые святотатцы превозносили блестящую мысль Франческо посмеяться над монашеским благочестием и выставить у них в церкви языческий кумир под видом христианской святыни. Но когда Франческо перешел от эскиза к работе над самой картиной, — не чудо ли? — искусство опровергло умственно-чувственный замысел, и дух, более могущественный, восторжествовал над низким лукавым духом, порабошавшим художника. Ангельский лик из Царства Небесного просиял сквозь мгlistый сумрак, и Франческо как бы оробел перед Божьим судом, не посягнув на святую, не осмелился довершить ее лика, а ее наготу благоговейно облекли изящными складками темно-багряная риза и лазурно-голубая мантия. Капуцины писали художнику лишь о святой Розалии, не обязывая его писать или не писать ее примечательное житие, и потому эскиз ограничивался ее образом в средоточии картины, но теперь, движимый вдохновением, он запечатлел другие фигуры, предивно расположившиеся вокруг нее, чтобы засвидетельствовать ее мученичество. Франческо всецело жил своей картиной; картина оказалась могучим духом, который заключил художника в свои крепкие объятия и вознес его над мерзостной житейской трясинной, в которой он барахтался дотолле. Только лик святой Розалии ускользал от его кисти; он изнывал от бессилия, и эта адская мука острыми шипами пронзала ему душу. Он уже не помышлял о Венере, своем прежнем идоле, но ему все представлялся старый мастер Леонардо, взиравший на него с глубоким состраданием и говоривший с богобоязненной скорбью: «Ах, я бы пособил тебе, но мне нельзя; тебе подобает сперва отринуть греховные вожеления и в глубоком смиренном сокрушении молить о заступничестве святую, на которую покусилось твое кощунство».

Юноши, которых Франческо давно уже сторонился, посетили его в мастерской, где он лежал, распростертый на своем ложе, как в параличе. Но когда Франческо пожаловался им на свою немощь, как будто злой дух сковал его силу, не давая завершить святую Розалию, они все, как один, рассмеялись и молвили: «Что ж ты, брат, некстати расклеился? Почтим-ка

Эскулапа и человеколюбивую Хигиэйю винным возлиянием, да помогут они страждущему». Послали за сиракузским вином; юноши наполнили пиршественные чаши и перед незавершенной картиной почтили возлияниями языческих богов. Но когда они начали беспечно пировать и попотчевали вином Франческо, тот не пожелал пить и явно тяготился разнузданным застольем, хотя они пили за госпожу Венеру! Тогда среди них послышался голос: «Этот художник по своему недомыслию действительно страдает физически и нравственно, я пойду за доктором». Он накинул плащ, опоясался шпагой и был таков. Впрочем, через несколько мгновений он снова объявился в мастерской и сказал: «Гляньте-ка, какой еще нужен врач, я сам берусь поднять его на ноги». Молодчик действительно уподобился старому лекарю в походке и осанке; он ковылял, согнув колени, наморщив свою свеженькую физиономию, как будто он обезображен дряхлостью, а все общество с хохотом кричало: «Полюбуйтесь, какой ученый вид напустил на себя наш доктор». Доктор подошел к больному Франческо и прохрипел издевательски:

— Ах ты, бедненький! сейчас я прогоню твою постылую хворь! Ах ты, убогонький! Госпожа Венера на такого и не взглянет. Разве что донна Розалия до тебя снизойдет, когда ты малость окрепнешь! Хлебни-ка, ты, паралитик, моего чудодейственного бальзама; ты же собираешься малевать святую, так тебе мое зелье как раз впрок пойдет; это винишко из подвала самого святого Антония.

Новоявленный доктор извлек из-под полы бутылку и открыл ее. Диковинный дух разнесся по мастерской, и одурманенных юношей немедленно сморила какая-то сонливость; они валились в кресла и закрывали глаза. Франческо же, взбешенный насмешками, решил показать, что не такой уж он слабый, вырвал бутылку из рук у доктора и начал пить большими глотками. «На здоровье!» — крикнул юноша, сбросив старообразную личину и обретая прежнюю упругую походку. Он разбудил спящих окриком, и они затопали вслед за ним вниз по лестнице.

Как вулкан Везувий брызжет алчущим пламенем, так в душе Франческо взъярились огненные вихри. Все языческие басни, изображенные им дотолем, возникли у него перед глазами, словно ожили, и он возопил громогласно:

— Где же ты, возлюбленная моя богиня? Ты должна ожить и стать моею, или я предпочту тебе подземных богов!

Тут и узрел он госпожу Венеру; она стояла подле картины и кокетливо манила его. Он сорвался со своего ложа и принялся писать лик святой Розалии, намереваясь в точности запечатлеть прелестные черты госпожи Венеры. Но рука его отказывалась выполнять непререкаемый замысел; кисть его то и дело отклонялась от облика, сквозь которое проступали черты святой Розалии, и непроизвольно обогащала новыми мазками свирепые лица язычников, окружающих святую. А небесный лик святой Розалии являлся все зримее и зримее, и вдруг она взглянула на Франческо очами, сияющими такой жизнью, что он упал замертво, как будто его ударила небесная молния. Когда сознание начало возвращаться к нему, он кое-как встал на ноги, однако образ святой Розалии приводил его в такой ужас, что он старался не поднимать на него глаз; Франческо с поникшей головою подкрался к столу, где стояла винная бутылка мнимого лекаря, и основательно приложился к ней. Вино снова ободрило его; он посмотрел на свою картину; она была завершена до последней черточки, но не лик святой Розалии, нет, Венера, идол его души, улыбалась ему в роскошной влюбленности. В тот же миг Франческо предался дикому, кощунственному пылу. Он выл от безумной похоти, он вообразил себя новым Пигмалионом (история этого языческого ваятеля вдохновляла его кисть и прежде); как Пигмалион, заклинал он госпожу Венеру вдохнуть жизнь в его создание. Ему почудилось, что образ и впрямь встрепенулся; он раскрыл объятия и ощутил мертвый холст. Тогда он принялся рвать на себе волосы, и его корчило, как это бывает с теми, кто одержим сатаной.

Такое с ним творилось два дня и две ночи; на третий день, когда Франческо остолбенел перед образом, сам подобный истукану, дверь его покоя скрипнула, и позади него колыхнулись как бы женские одежды. Он оборотился, и ему предстала женщина, которую

сочли бы оригиналом, будь его картина портретом. Он чуть было не потерял сознание, узрев перед собою в немыслимой живой прелести образ, им самим сотворенный в сокровенных помыслах по мраморному образцу, и ему самому стало жутко, когда он взглянул на свою картину, и ему показалось, что это зеркало, в которое смотрится незнакомка. Ему попритчилось то, что бывает, когда сверхъестественно является дух; язык отказал ему, и он безмолвно упал на колени перед неведомой, простирая к ней руки, как будто она божество. Неведомая же только усмехнулась, подняла его и сказала, что он приглянулся ей, будучи еще в ученье у старика Леонардо да Винчи, и она, тогда маленькая девочка, не могла на него налюбоваться и с тех пор души в нем не чает. Вот она и покинула отца с матерью и всех своих родичей и одна отправилась в Рим на поиски своего возлюбленного, ибо некий голос у нее в душе все говорил ей, что и он ее очень любит и от одного страстного желания написал ее портрет; и вправду, это ее портрет, она сама видит.

Франческо ничего другого не оставалось, как признать, что неведомая и он соединены тайным душевным согласием, отсюда и чудесная картина, и его безумная любовь к неведомой. Он обнял женщину, пылая к ней любовью, и хотел сразу вести ее в церковь, чтобы священник навеки сочетал их таинством брака. Однако женщина почему-то испугалась; она сказала ему:

— Ах, мой милый Франческо, ты же свободный художник, зачем тебе оковы христианской церкви? Разве ты душой и телом не отвержен беспечной неувядаемой древности с ее уживчивыми, ласковыми божествами? Разве могут благословить нашу близость унылые иереи, выплакивающие свою жизнь в безнадежной скорби мрачных узилищ? Разве наша любовь — не торжество, безоблачное и беззаботное? Так зачем омрачать ее?

Франческо совратили эти посулы, и в тот же вечер он отпраздновал свадьбу с неведомой по языческому ритуалу, а гостями на свадьбе были так называемые его друзья, те самые юноши, греховно, кощунственно игривые. Женщина принесла ему приданое: ларец с драгоценностями и звонкими монетами, и Франческо жил да поживал с нею, упиваясь грехами, забыв свое искусство. Забеременев, женщина расцветала все великолепней, излучая прелесть; казалось, в ней поистине ожила Венера, и Франческо едва ли не тяготился сладострастным избытком жизни.

Глухое, боязливое стенание разбудило Франческо однажды ночью; когда он вскочил в страхе и со светильником в руке глянул на свою подругу, он увидел, что родился мальчик. Слуги были спешно посланы за повитухой и лекарем, а Франческо сам принял ребенка. В то же самое мгновение его подруга душераздирающе закричала, и на нее напали корчи, как будто ее душат. Повитуха пришла со своей служанкой, лекарь тоже не медлил; но когда они хотели помочь женщине, то увидели окоченевший труп; на шее и на груди выступили омерзительные синие пятна, а вместо юного прекрасного лица чудовищно искаженная морщинистая образина уставилась на них выпученными глазами. Повитуха со служанкой в ужасе закричали, их крик привлек соседей, которые и прежде не жаловали покойницу; все гнушались вызывающим непотребством этой странной четы и были не прочь обратить внимание духовного суда на соблазнительное блудное сожителство без церковного благословения. Теперь же, увидев, какова она после смерти, никто уже не сомневался в том, что без дьявола тут не обошлось, а дьявол своего не упускает. Красота была лишь лживой личиной проклятой чародейки. Не успев прийти, люди разбежались; ни за какие блага никто не дотронулся бы до ее мертвого тела. И Франческо уразумел, с кем он связался, и отчаянный страх напал на него. Собственные святотатства потрясли его, и уже на земле постиг его Страшный суд Господень: адское пламя охватило его душу.

На следующий день пришел пристав духовного суда со своими присными, чтобы взять Франческо под стражу, но отвага и гордыня не покинули его; он обнажил шпагу, и никто не посмел задержать его. В отдалении от Рима набрел он на глухую пещеру, где и притаился, измученный и изнуренный. Только теперь он заметил, что унес новорожденного с собою, завернув его в плащ. В бешенстве хотел он уничтожить отродие чертовки, швырнув его на

камни, и уже размахнулся было, когда услышал жалобное, молящее всхлипывание; его сердце дрогнуло от сострадания, он положил ребенка на мягкий мох и смочил ему губы соком апельсина; апельсин тоже у него нашелся. Уподобившись кающемуся отшельнику, Франческо прожил в пещере несколько недель и, отвергнув кощунственное нечестие, в котором коснел дотоле, пламенно молился святым угодникам. Но прежде всего воззвал он к святой Розалии, которую так тяжело оскорбил; он умолял святую заступиться за него перед Престолом Господа. Однажды вечером Франческо молился на коленях в своей пустыне и смотрел на солнце: оно садилось в море, и на западе атели огненные волны. Но когда огонь стал меркнуть в седом вечернем тумане, Франческо увидел в воздухе светящиеся розы, а потом и образ. В окружении ангелов явилась ему святая Розалия, коленопреклоненная на облаке, и нежным веяньем донесся шепот: «Господи, прости его; не под силу ему было противостоять соблазнам сатаны». Тогда воздушные розы вспыхнули молниями, и глухой гром откликнулся под небесным сводом:

— Нет ему равных в святотатстве! Ни милости, ни покоя в могиле не найдет он, пока род его, зачатый преступленьем, плодится и плодит кощунство!

Франческо повергся в прах, услышав сей приговор; отныне ведал он свою участь: страшный рок будет вечно гнать его, безутешного. Он бросился прочь, забыв ребенка в пещере, и влачил жалкое презренное существование, в отчаянье оставив живопись. Иногда, правда, думалось ему, не его ли призвание выполнить предивные картины во славу христианства, и он провидел их в линиях и в цвете, священные предания о Пречистой Деве и о святой Розалии, но как мог он осуществить подобное, когда у него не было ни единой монеты на приобретение холста и красок, а мучительная жизнь его питалась лишь скудным подаянием, выпадавшим на его долю у церковных дверей?

И вот однажды, когда он устался в голую церковную стену и писал в своих мыслях, приблизились к нему две женщины, каждая под покрывалом, и одна из них заговорила нежным ангельским голосом:

— В далекой Пруссии, где ангелы возложили на липу икону Девы Марии, посвящена Ей церковь, не расписанная поныне. Отправляйся туда; да будет подвиг твоего художества святым богослужением, и твою страждущую душу Небо уврачует своей благостыней.

Франческо взглянул на женщин, и обе они растворились в нежно светящихся лучах, а в храме веяло благоухание лилии и розы. И Франческо понял, кто были эти женщины, и задумал на следующее утро приступить к своему паломничеству, но в тот же вечер гонец от Зенобио настиг его наконец, а искал он его уже давно, чтобы выплатить ему содержание за два года и пригласить ко двору своего государя. Но Франческо отправился в Пруссию с ничтожной суммой денег, раздав остальное бедным. Путь его пролегал через Рим, откуда рукой подать до монастыря, заказавшего ему икону святой Розалии. Франческо наведался в этот монастырь и увидел алтарный образ, но, приглядевшись, убедился, что это лишь копия его картины. Он узнал, картина дошла до монахов после его бегства, но вместе с картиной дошли до них истораживающие слухи о скрывшемся художнике, и, не отважившись освятить оригинал, они уступили его монастырю капуцинов в Б., а сами удовольствовались копией. Изнуренный паломничеством, добрался Франческо до монастыря Святой Липы в Восточной Пруссии и выполнил все, что сама Святая Дева поручила ему. От его иконописи в церкви так и веяло чудом, и, заглянув в себя, он узрел действие небесной благодати. Мир небесный коснулся его души.

Однажды граф Филиппо С. охотился в отдаленной дикой местности, где застигло его лихое ненастье. Буря завывала в ущельях; дождь лил потоками, как будто человеку и зверю предстояло погибнуть в новом потоке; тут граф Филиппо нашел пещеру, где укрылся от непогоды, не без усилий водворив туда и свою лошадь. Окном был занавешен черными тучами, и в пещере царил такой мрак, что не видно было ни зги, а рядом, как на грех, шуршало и шебаршило. Графу подумалось, не хищный ли зверь прячется вместе с ним в пещере; он даже обнажил меч и приготовился обороняться. Но тучи рассеялись, в пещеру заглянуло солнце, и граф, к немалому своему удивлению, увидел, что подле него на сухих

листьях лежит голенький мальчонка и смотрит на него светлыми, сияющими очами. Рядом стоял кубок из слоновой кости; в кубке граф Филиппо нашел несколько капель пахучего вина, и ребенок жадно высосал их. Граф затрубил в рог; съехались его люди, попрятавшиеся было кто куда; граф распорядился подождать, не объявится ли тот, кто уложил ребенка в пещере, не может же он за ним не прийти. Когда начало темнеть, граф Филиппо сказал: «Я не могу бросить здесь этого беззащитного мальчика без присмотра; возьму-ка я его с собой, и пускай вся окрестность знает, что я это сделал, дабы его у меня затребовали родители или тот, кто принес его в пещеру». Воля графа — закон, однако прошли недели, месяцы, годы, а про ребенка никто не спрашивал. Граф велел крестить найденыша и нарек его Франческо. Мальчик вырос в красивого юношу; он был не только хорош собой, но и на редкость умен; граф любил его, как сына, и, не имея других наследников, намеревался завещать ему все свое состояние. Франческо минуло двадцать пять лет, когда граф сдуру влюбился в одну бесприданницу, правда писаную красавицу, и женился на ней, хотя она была еще юница, а он далеко не молод. Франческо сразу воспылил преступной страстью к молодой графине; она была благочестива, добродетельна, хотела соблюсти супружескую верность и долго сопротивлялась его домогательствам, однако его дьявольские ковы заворожили красавицу, и она уступила преступной похоти; так найденыш отблагодарил приемного отца злодейским предательством. Граф Пьетро и графиня Анджола, обожаемые мнимым отцом, дряхлым Филиппо, пригретые им у самого сердца, были отпрысками преступления, о котором не подозревал ни старый граф, ни свет.

Движимый сокровенным духом, пришел я к моему брату Зенобию и сказал: «Я отрекся от престола и, даже если ты умрешь прежде меня, не оставив наследников, пребуду бедным живописцем, доживая свой век в тихих трудах и молитвах, приверженный искусству. Наше княжество невелико, однако ему негоже перейти под чужую державу. Небезызвестный тебе Франческо воспитан графом Филиппо С., но он мой сын. Я тогда совсем обезумел и бежал, оставив его в пещере, где граф нашел его. Подле него стоял кубок из слоновой кости, на этом кубке вырезан наш герб; однако лучше всякого герба внешность юноши говорит о том, что он происходит из нашего рода, и сомнения тут невозможны. Брат мой Зенобию, пусть этот юноша станет твоим сыном и преемником».

Зенобию усомнился, в законном ли браке зачат юный Франческо, однако сам папа санкционировал усыновление не без моего ходатайства, чтобы блудная, развратная жизнь моего сына завершилась законным браком и он зачал сына, нареченного Паоло Франческо.

Но преступный род продолжал плодиться преступно. Могло ли покаяние моего сына искупить его святотатственную вину? Я стоял перед ним, напоминая Страшный суд Господень, отчетливо проникая его душу, и дух открывал мне неведомое миру; дух усиливается во мне и возносит меня над блуждающими волнами жизни, позволяя заглянуть в смертельные глубины и не утонуть в них.

Разлука с Франческо убила графиню С., ибо совесть пробудилась в ней; любовь к преступнику и раскаянье вступили в смертельную борьбу, которая стоила жизни графине. Графу Филиппо стукнуло девяносто лет, и ребячливый старец скончался. Его мнимый сын Пьетро со своею сестрою Анджолой прибыл ко двору Франческо, унаследовавшему престол. А Паоло Франческо был торжественно помолвлен с Викторией, княжной фон М., но Пьетро прельстился красотой невесты, воспылил к ней страстной любовью, и, невзирая на опасность, стал добиваться взаимности. Паоло Франческо не обращал на это внимания, так как сам пылал страстной любовью к своей сестре Анджоле, а та оставалась холодна к нему. Виктория покинула двор якобы для того, чтобы уединиться перед замужеством, как того требовал ее обет. Она возвратилась лишь по истечении года; свадьба должна была состояться, а сразу же после свадьбы граф Пьетро со своей сестрой Анджолой намеревались вернуться на родину. Паоло Франческо продолжал пылать страстью к Анджоле; ее упорная, стойкая строптивость лишь пуще его разжигала, и только мысль об упоительной победе помогала ему расчетливо укрощать в себе сладострастного зверя.

Он действительно восторжествовал ценой позорного обмана в день свадьбы, когда,

направляясь в свою опочивальню, напал на Анджолу в ее девичьем покое и утолил преступное вожделение, овладев спящей: на брачном пире ее опоили опиатами. Гнусное насилие едва не убило Анджолу, и Паоло Франческо, терзаемый совестью, признался в своем преступлении. Пьетро пришел в ярость и заколол бы оскорбителя, но руку его парализовала мысль о том, что его месть предшествовала преступлению. Малютка Гиацинта, княжна фон Б., слышшая племянницей Викторией, а именно дочерью ее сестры, на самом деле была дочерью самой Викторией от Пьетро, втайне соблазнившего невесту Паоло Франческо. Пьетро и Анджола отбыли в Германию, где та родила сына; ему дали имя Франц и позаботились об его воспитании. Анджоле не в чем было себя упрекнуть; память об ужасном насилии перестала наконец тяготить ее, и она снова расцвела в неотразимой красоте и обаянии. Тут в нее пламенно влюбился князь Теодор фон В., и она от всей души ответила ему взаимностью. Вскоре они обвенчались, а граф Пьетро одновременно женился на знатной германской девице, от которой имел дочь, тогда как Анджола родила князю двух сыновей. Набожную Анджолу не должны были бы терзать угрызения совести, и все-таки ее нередко угнетали мрачные мысли; отвратительное насилие вспоминалось ей, как ночной морок, и тогда ей думалось, что даже невольный грех наказуем и возмездие не минует ни ее самое, ни ее детей. Она исповедалась, и грех ей был полностью отпущен, но даже это не принесло ей душевного покоя. Она совсем исстрадалась, когда ее наконец осенило: Анджола решила открыться своему супругу. Она не преуменьшала внутреннего сопротивления, которое вызовет воля к признанию в своем невольном соучастии, усугубившем противоестественную вину Паоло Франческо; она дала себе торжественный обет ни в коем случае не отступить от принятого решения и действительно пошла на страшную откровенность. Гнусное преступление повергло в ужас князя Теодора; все его существо содрогнулось, и глубокое возмущение грозило обратиться даже против невинной супруги. Несколько месяцев прожила она в уединенном замке, пока князь подавлял мучительную горечь, обуревавшую его, и преуспел в этом настолько, что, протянув супруге руку примиренья, даже пекся впоследствии о воспитании Франца, хотя княгиня об этом не подозревала. После смерти князя и княгини только граф Пьетро и молодой князь Александр фон В. знали, чей сын Франц. Среди потомков живописца никто не был до такой степени внешне и внутренне похож на Франческо, воспитанного графом Филиппо, как Франц. Очаровательный юноша редкой духовной высоты, полный огня и скорый на мысль и поступок. Если бы грех отца и пращура не подавлял его, у него хватило бы силы оттолкнуть злокозненные сатанинские приманки. Еще при жизни князя Теодора братья Александр и Иоганн предприняли путешествие в прекрасную Италию и не то чтобы поссорились, но распростились в Риме, так как слишком уж не совпадали пристрастия и предпочтения обоих. Александр посетил двор Паоло Франческо, где влюбился в младшую дочь Паоло и Викторией, возымев намерение на ней жениться. Князь Теодор отверг этот замысел с отвращением, необъяснимым для молодого князя, но князь Теодор умер, и князь Александр вступил в брак с дочерью Паоло Франческо. На обратном пути принц Иоганн познакомился со своим братом Францем и, не догадываясь о своем близком родстве с ним, так привязался к нему, что помыслить не мог о расставании. Именно из-за Франца принц отложил возвращение в резиденцию брата и задержался в Италии. Вечная непостижимая судьба устроила так, что принц Иоганн и Франц узрели Гиацинту, дочь Викторией и Пьетро, и обоих охватила пламенная страстная любовь к ней. Преступное семя прорастает, и темные силы неодолимы.

Но хотя моя преступная юность ужасает своими святотатствами, заступничество Пречистой Девы и святой Розалии предотвратило мою вечную гибель, и мне позволено претерпевать казнь отверженности на земле, пока зловредный род не пресечется и не перестанет плодоносить. Подавляя мои духовные силы, тяготит меня иго земного, и, намекая на тайну темного будущего, ослепляет меня пестрая видимость жизни, и тупое зрение теряется в расплывчатых картинах, не улавливая их истинного внутреннего сообразия!

Часто я вижу нить пряжи, пагубной для моего душевного спасения по воле темных сил, и в своем неразумии пытаюсь поймать эту нить, разорвать ее, но не тут-то было... Мне

остается только терпеть с благочестивою верой и в длительном покаянном искуплении подвергаться моей казни, ибо таков мой удел, и нельзя иначе изгладить следы моих преступных посягательств. Я был пугалом, отвратившим принца и Франца от Гиацинты, но сатана не дремлет; он предуготовляет для Франца неминуемую гибельную западню.

Франц вместе с принцем посетил местность, где граф Пьетро обитал со своей супругой и пятнадцатилетней дочерью Аврелией. Как его преступный отец Паоло Франческо скотски распалился, увидев Анджолу, так возгорелся огонь преступной страсти в сыне, когда он узрел нежную отроковицу Аврелию. В завораживающие дьявольские тенета сумел он залучить набожную, неискушенную Аврелию, едва успевшую расцвести, завладев ее душою и заставив ее согрешить прежде, чем первый греховный помысел смутил ее невинность. Когда последствий невозможно было скрыть, Франц бросился в ноги графине-матери и как бы в отчаянье открыл ей все. Граф Пьетро убил бы Франца и Аврелию, не вспомнив, в чем он сам повинен. Графиня же только попыталась утратить Франца своим праведным гневом и приказала никогда больше не попадаться на глаза ни ей, ни соvrщенной дочери, иначе, мол, сам граф узнает от нее о непотребстве Франца. Графине посчастливилось увести дочь от графа в отдаленную местность, где та родила дочурку. Но Франц не мог забыть Аврелию, он разведал ее местопребывание, поспешил туда и вошел в комнату, когда графиня, отпустив прислугу, сидела у дочерней постели и держала на коленях восьмидневное дитя. Неожиданно увидев супостата, графиня встала в страхе и в ужасе и попыталась удалить его из комнаты: — Вон, вон отсюда, не то тебе конец! Граф Пьетро знает, что ты сделал, изверг! — Так она кричала, чтобы напугать Франца и выставить его за дверь, но Франца охватила дикая, поистине дьявольская злоба; он вырвал у графини ребенка, ударил ее в грудь кулаком, так что она упала навзничь, и тогда бросился прочь. Аврелия лежала в глубоком обмороке, а когда она очнулась, мать была мертва; ее убила глубокая черепная рана (графиня, падая, ударила головою о сундук, окованный железом). Франц был готов убить ребенка; он кое-как запеленал малютку и, воспользовавшись вечерним сумраком, бегом спускался по ступенькам, чтобы выбраться из дому, когда на первом этаже в одной из комнат услышал приглушенные всхлипыванья. Он насторожился, потом подкрался к двери той комнаты. Оттуда, горько рыдая, вышла женщина, и Франц узнал ее: она служила в няньках у баронессы фон С. (Франц остановился в доме у баронессы). Франц спросил, что с ней.

— Ах, сударь, — сказала женщина, — вот горе так уж горе; только что малышка Евфимия сидела у меня на коленях и так веселилась, так смеялась, вдруг ее головенка повисла, и девчушка мертва... У нее на лобике синие пятна, и меня наверняка обвиноватят, мол, я за ней не уследила, и она упала на пол.

Франц заглянул в комнату, убедился, что ребенок мертв, и сообразил: сама судьба дарует его ребенку жизнь, так как малютка с виду отличалась от мертвой Евфимии только тем, что была жива; сходство поистине удивительное! Вероятно, нянька была более виновата в смерти ребенка, чем она утверждала; к тому же Франц не поскупился на дорогой подарок; так или иначе, она не возражала против подмены; Франц перепеленал трупик девочки и бросил его в поток. Дочь Аврелии воспитывалась как дочь баронессы фон С. по имени Евфимия, и тайна ее рождения осталась тайной для света. Несчастливая так и не вошла в лоно Церкви, лишённая святого крещения, ибо девочка, чья смерть подарила ей жизнь, была уже крещена. Аврелия через несколько лет сочеталась браком с бароном фон Ф.; от этого брака родилось двое детей, Гермоген и Аврелия.

Вечная власть Провидения ниспослала мне возможность сопутствовать принцу и Франческо (так принц называл его на итальянский манер), когда принц решил возвратиться в резиденцию своего старшего брата, государя. Я тщился силой удержать шального Франческо, приближавшегося к бездне: она его уже поджидала. Но я сам всего только грешник, еще не обретший благодати перед престолом Господним; отсюда мое бессилие и нелепость моих начинаний.

Франческо убил брата, осквернив Гиацинту гнусным прелюбодеянием. Сын Франческо

— пропащий мальчик; князь воспитал его под именем графа Викторина. Франческо, совершив убийство, намеревался взять в жены набожную сестру княгини, но я предотвратил это нечестие в святом храме, хотя оно уже назрело.

Пожалуй, обращению Франца на путь истинный могла бы способствовать нищета, в которую впал он, когда бежал, обуреваемый мыслью о своем незамолимом грехе. Удрученный скорбью и хворью, беглец попросил однажды приюта у крестьянина, который гостеприимно призрел его. Дочь крестьянина, набожная смиренница, прониклась необычной любовью к страннику, будучи при больном усердной сиделкой. Когда Франческо поправился, он ответил взаимностью на любовь девицы и сочетался с нею святым таинством брака. Сведущий и предприимчивый, он преуспел в делах, умно распорядился значительным наследством своего тестя и достиг настоящего земного благоденствия. Однако суетно и ненадежно счастье грешника, не примирившегося с Богом. Франца снова постигла горчайшая бедность, и подобная скудость поистине его умерщвляла, так как он ветшал телом и духом в хилой хворости. Тогда его жизнь превратилась в непрерывную епитимию. Наконец Небо озарило его лучом обетования. Ему было возвещено, что его паломничество ко Святой Липе увенчается знаменьем Божьего милосердия: рождением сына.

Монастырь Святой Липы окружен лесом, и в этом-то лесу посетил я скорбящую мать, плакавшую над новорожденным сироткой, и утолил ее печаль глаголами утешения.

Поистине чудно взыскано милостью Божьей дитя, родившееся в благословенной обители Пречистой Девы! Иногда зримо приходит к нему младенец Иисус, чтобы затеплить светоч любви в детском сердце.

В святом крещении мать нарекла мальчика отцовским именем, Франц! Ты ли, Францискус, рожденный в святой обители, загладишь своей праведностью грех твоего изверга-пращура, дабы тот обрел покой в могиле? Вдали от мира и его совращающих чар подобает ему всем существом предаться Небесному. Пусть он станет священником. Таково было наставление святого мужа, пролившего и мне в душу чудное упование, и не пророчество ли это о милости, дарующей мне чудом пронизательную зоркость, чтобы я провидел в глубине души живое проявление грядущего.

Я вижу, как юноша вступил в смертельный бой с темной силой; она теснит его страшным своим оружием! Он падает, но божественная жена коронует его как победителя. Сама святая Розалия — его покровительница. Да сподобит меня вечный Промысел Божий сопутствовать отроку, юноше, мужу и оборонять его, насколько позволяет мощь, ниспосланная мне. Да будет он...

Примечание издателя

Далее, любезный читатель, письма изглаживаются, и они до того неотчетливы, что расшифровать их уже невозможно, и мы возвращаемся к рукописи этого незаурядного капуцина Медардуса.

Раздел третий. ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОНАСТЫРЬ

Я чувствовал, что дальше так продолжаться не может. Стоило жителям Рима увидеть меня на улице, кое-кто замедлял шаг, а кое-кто и кланялся чуть ли не до земли, прося благословения. Может быть, так действовали изнурительные покаянные испытания, которым я подвергал себя, но, вернее всего, мое странное, диковинное обличье завораживало своей легендарностью впечатлительных фантазеров-римлян, и они, вероятно, произвели меня в герои какого-нибудь священного предания. Очень часто благоговейные вздохи и

молитвенное бормотание рассеивали мою глубокую сосредоточенность, когда я лежал на ступенях алтаря, и я догадывался, что вокруг меня опять преклоняют колени, усматривая во мне угодника Божьего. Как и там, в монастыре капуцинов, мне вслед выкрикивали: «Il Santo»¹¹, а такие возгласы были для меня хуже острого ножа. Мне не оставалось ничего другого, кроме как уйти из Рима, и как же я ужаснулся, когда приор монастыря, где я нашел временное пристанище, уведомил меня, что за мной послал папа. Я почуял недоброе, заподозрив происки супостата, снова подстерегающего меня со своими ковами, однако собрался с духом и точно в назначенный час был в Ватикане.

Папа оказался видным господином с хорошими манерами и совсем не походил на дряхлого старца. Он принял меня, восседая в роскошном кресле, украшенном тонкой резьбой. Два благообразных отрока, одетых по-монашески, подали ему воду со льдом, освежая воздух в комнате опaxалами из перьев цапли прохладения ради, так как день был очень знойный. Я приближался с подобающим самоуничижением и преклонил колени, как это предписано. Он испытующе, хотя и не без добродушия, воззрелся на меня, и вместо величавой отрешенности, видившейся мне издали, его черты смягчила снисходительная улыбка. Он осведомился, откуда я пришел, чего ищущу в Риме, короче говоря, кто я такой, а потом поднялся с кресла и произнес:

— Я послал за вами, ибо до меня дошли слухи о вашей необычайной праведности. Скажи мне, монах Медардус, почему ты изощряешься в молитвенном рвении на глазах у народа, предпочитая наиболее людные церкви? Если ты хочешь прослыть угодником и завоевать поклонение площадных пустосвятов, вникни в собственную душу, исследуй сокровенное побуждение, движущее тобой. Благо тебе, если ты не запятнан перед Господом и передо мною, Его наместником! В противном случае берегись: ты плохо кончишь, монах Медардус!

Папа говорил веско и проникновенно, в очах его вспыхивали молнии. Сколько времени прошло с тех пор, как я не чувствовал за собой греха, который мне приписывают, но теперь дело обстояло именно так, и я не только воспрянул духом при мысли, что мое покаяние проистекает из неподдельного, внутреннего сокрушения, но и ответил как бы по наитию:

— Святейший наместник пресвятого Господа, поистине вы обладаете прозорливостью, позволяющей вам исследовать мою душу, так что вам ведомо, сколь тягостны мои немислимые прегрешенья, повергающие меня в прах, но точно так же открыта вам искренность моего покаяния. Ухищрения низкого ханжества далеки от меня, как и напыщенное тщеславие, обморочивающее народ непростительным образом. Соблаговолите, святейший владыка, выслушать кающегося монаха, дабы мог он вкратце поведать вам свою преступную жизнь, однако не умолчав при этом и о покаянном самоуничижении.

Так я начал и с предельной лаконичностью описал мой жизненный путь, опустив лишь имена собственные. Все напряженнее и напряженнее вслушивался папа в мою исповедь. Он сел в кресло, оперся головою на руку, потупился, потом снова поднялся на ноги, скрестил руки, двинул было правой ногой, как бы намереваясь шагнуть ко мне, снова взглянул на меня сверкающими глазами. Я замолчал, и он снова опустил в кресло.

— Я никогда не слышал, монах Медардус, — начал он, — истории, более удивительной, чем ваша. Верите ли вы, что злая сила, которую церковь называет дьяволом, способна действовать явно и открыто?

Я хотел ответить, но папа продолжал:

— Верите ли вы, что вино, похищенное вами из монастырского мощехранилища, а потом вами выпитое, побудило вас к бесчинствам, вами описанным?

— Как влага ядовитого чадородия, пробудило оно зловерное семя, почиющее во мне, и пышно произросли плевелы.

Мой ответ заставил папу замолчать на несколько мгновений, потом, как бы вопрошая

¹¹ Святой (ит.).

строгим взором самого себя, он снова обратился ко мне:

— Что, если и духовная природа человека подчиняется законам, регулирующим физический организм, и от худого семени нельзя ждать хорошего племени? Что, если воля и влечения — как сила, таящаяся в семенах и заставляющая распускающиеся листья зеленеть, — что, если воля и влечения просто наследуются отцами от отцов и невозможно изменить наследственность? Тогда имеются племена убийц и грабителей! Вот он, первородный грех, неизгладимое клеймо преступного рода, которому нет искупления!

— Если грешник, рожденный от грешника, не может не грешить, унаследовав свою порочную натуру, тогда нечего говорить о грехе, — прервал я папу.

— Нет, грех есть, — сказал он, — вечный дух сотворил витязя, который способен укрощать и заковывать в цепи слепого хищника, буйствующего в нас. Этот витязь — рассудок. В его борьбе со зверем рождаются порывы. Торжество витязя — добродетель, торжество зверя — грех.

Папа помолчал несколько мгновений, потом его взор прояснился, и он мягко сказал:

— Как по-вашему, монах Медардус, подобает ли наместнику Господню философствовать с вами о добродетели и грехе?

— Вы, всесвятнейший владыка, — ответил я, — почтили вашего служителя беседой, высказав глубочайшие суждения о человеческой природе, и кому, как не вам, подобает говорить о борьбе, в которой вы давно, доблестно и преславно восторжествовали?

— Ты превозносишь меня, брат Медардус, — сказал папа, — не думаешь ли ты, что тиара — это лавры, которых я заслуживаю как герой и победитель мира?

— Конечно, — ответил я, — властителю народа свойственно величие. Для высокопоставленного в жизни нет отдаления, и все соизмеримо; именно на высотах развивается всеохватывающая прозорливость, это высшее призвание и свидетельство царственного происхождения.

— Ты полагаешь, — прервал меня папа, — что даже скудоумным, слабавольным венценосцам не отказано в чудесном вразумлении; чернь принимает это за мудрость и по-своему благоговеет. При чем здесь я?

— Я начал, — продолжал я, — с высшего призвания венценосцев, чья держава от мира сего, но есть еще святое божественное призвание наместника Господня. Дух Господень — таинственный свет, действенный в святителях, а они образуют замкнутый конклав, и порознь, каждый в уединении, созерцают горнее, жаждут сердцем откровения, удостаиваются превысшнего луча, и на вдохновенных устах *одно* имя звучит славословием вечному Провидению. Так воля Всевышнего благовестуется на земном языке, знаменуя Своего наместника, и посему, всесвятнейший владыка, ваша корона, своим тройственным кругом обозначающая таинственное триединство Господа Вседержителя, — не что иное, как лавры вашего победоносного героического достоинства. Не от мира сего ваша держава, но кому, как не вам, подобает властвовать над всеми земными державами, ибо они лишь члены невидимой Церкви; Она — их тело, и Она — их знамя! А мирская держава, вам ниспосланная, — только ваш престол в своем небесном процветании.

— Так ты признаешь, — прервал меня папа, — ты признаешь, брат Медардус, что я не ошибаюсь, когда ценю престол, ниспосланный мне. Поистине мой Рим роскошествует в небесном процветании, и от тебя это не ускользнет, брат Медардус, если земное не совсем еще перестало для тебя существовать. Но на это не похоже... У тебя язык хорошо подвешен, и говоришь ты в моем духе. Сдается мне, что мы с тобой поладим!.. Тебе самое место в Риме... Через день-другой ты будешь, пожалуй, приором, а там и моим духовником, я ничего не имею против... Можешь идти... Только поменьше юродствуй в церквах, до лика святых ты все равно не воспаряешь, вакансий не осталось. Можешь идти.

Последние слова папы удивили меня, как и весь его обычай; совсем иным рисовался мне в глубине моей души образ христианского первосвященника, коему вверена власть связывать и разрешать. Не могло быть сомнений в том, что мою тираду о божественном происхождении папства он счел естественным, хотя и ловким угодничеством. Он понял меня

в том смысле, что я претендую на святость, а поскольку у него есть причины ограничить мои притязания, я не потеряюсь и найду другие пути к самоутверждению и превосходству, а в этом он готов мне пойти навстречу, не открывая своих мотивов.

Сперва мои молитвенные упражнения в покаянии снова мною завладели, и я уже не думал о том, что удалился бы из Рима, если бы не аудиенция у папы. Но в душе моей вершилось некое брожение, мешающее мне стремиться к Небу, как дотоле. Теперь, стоя на молитве, я не столько оплакивал грехи моей прежней жизни, сколько помышлял о моем блестящем жизненном пути: сначала приближенный государя, потом духовник папы, и кто знает, каких еще высот я достигну. Все это ярко вспыхивало перед моим внутренним взором. И я не в силу папского запрета, а как бы нечаянно приостановил мои молитвы, уподобившись другим праздношатающимся на улицах Рима.

Однажды я шел через Испанскую площадь и увидел толпу, окружившую кукольника, услышал уморительное кваканье Пульчинеллы, сопровождавшееся ржанием зрителей. Кончился первый акт, толпа предвкушала второй. Взлетела крышка над кукольным ящиком, и вышел Давид со своей пращой и кульком, в котором была галька. Рисуясь и красуясь, обещал он сразить неотесанного верзилу Голиафа и спасти Израиль. Потом что-то глухо заворчало и зарычало. Возник верзила Голиаф с головой невероятных размеров. Как же я удивился, когда с первого взгляда распознал в этой голове чудака Белькампо. Прямо под голову Голиафа он хитроумно подогнал маленькое туловище с ручонками и ножонками, а свои собственные плечи и руки задрапировал тканью, которая сходила за складчатую мантию Голиафа. Голиаф напыщенно разглагольствовал, гримасничал напропалую, гротескно вторя себе своими карличьими конечностями, на что Давид лишь многозначительно посмеивался. Публика же смеялась до того заразительно, что я, отдав должное новому фантастическому амплу малютки Белькампо, не устоял и разразился неподдельным детским хохотом, от которого давно отвык. Ах, как часто с тех пор был смех мой лишь конвульсивной судорогой нестерпимого внутреннего терзания! Битве с верзилой предшествовала длинная словесная баталия, и Давид, вдаваясь в чрезмерную риторику и эрудицию, обосновал необходимость и неизбежность своей смертоубийственной победы над этим страшилищем. В исполнении виртуоза Белькампо лицевые мускулы Голиафа напоминали пучок вспыхивающих молний, а карличьи ручонки великана угрожали карапузу Давиду, который проворно избегал их, выскакивая то здесь, то там, порою из мантии самого Голиафа. Наконец, камешек попал в лоб Голиафу, он рухнул, и крышка захлопнулась. Придурковатый гений Белькампо все еще щекотал мне нервы, и я надрывался со смеху; вдруг чья-то рука слегка хлопнула меня по плечу. Ко мне присоседился незнакомый аббат.

— Приятно видеть, — заговорил он, — что вы, ваше преподобие, не брезгуете земной потехой. Мне довелось наблюдать, как истово вы молитесь, и, признаться, я не представлял себе, что вас может рассмешить подобное скоморошество.

Слова аббата задели меня, как будто он попрекает меня смешливостью; я не удержался и обмолвился словом, о котором тут же пожалел.

— Поверьте мне, господин аббат, — сказал я, — кто смело плыл среди пестрых волн жизни, тот всегда найдет в себе силу вынырнуть из темного потока, так как не привык опускать голову.

Глаза аббата сверкнули.

— Так, — сказал он, — да это настоящая притча, и какая уместная, какая меткая! Думаю, что теперь я вас вполне понял, и восхищаюсь вами от всей души!

— В толк не возьму, сударь, как можно восхищаться бедным кающимся монахом!

— Bravo, преподобнейший!.. Вы не забываете своей роли!.. Ведь к вам благоволит папа?

— Всевятейшему наместнику Господню угодно было допустить меня до своей особы; я лежал перед ним во прахе, как того заслуживает сокровенная чистейшая добродетель, видомаая вечному Провидению и увенчанная в своем небесном незлобии.

— Да, престолу тройственной короны только тебя и не хватало, уж ты-то знаешь свое

дело. Но только помни: нынешний наместник Божий — сущий агнец в сравнении с Александром Шестым, так что смотри не просчитайся! Впрочем, играй дальше! Чем головокружительнее игра, тем скорее развязка! Прощайте, преподобнейший!

С хохотом язвительной издевки аббат исчез, на меня же напало оцепенение. Поскольку его последняя эскапада не противоречила моему собственному суждению о папе, я не мог больше оболящаться: он отнюдь не восторжествовал над зверем, как я полагал прежде, и особенно ужасно было мое отрезвление, когда я вспомнил о публике, мало-мальски просвещенной, которая не могла не считать моего покаяния показными уловками лицедея, готового на все ради суетного возвышения. Раненный в самое сердце, я поспешил к себе в монастырь и тотчас же встал на молитву в церкви, где, к счастью, никого не было. Я как бы прозрел и снова распознал посягательство темной силы, пытающейся опутать меня своими ковами, но я увидел и свою собственную преступную слабость, и заслуженное возмездие. Теперь меня могло спасти только незамедлительное бегство, и я решил покинуть Рим ранним утром. Почти уже стемнело, когда у ворот монастыря послышался нетерпеливый звон. Вскоре в мою келью заглянул брат привратник и сообщил, что какой-то прохожий в чудном платье срочно спрашивает меня. Когда я вышел в приемную, мне навстречу ринулся Белькампо, как всегда ломаясь, и быстро оттащил меня в угол.

— Медардус, — начал он тихо и поспешно, — ты можешь, как хочешь, мудрствовать себе на погибель, дурасть сопутствует тебе на крыльях западного ветра, южного, юго-юго-западного и всякого другого, и падай ты хоть в пропасть, она поймает последний краешек твоей рясы и тебя вытащит, будь спокоен. О Медардус, доверься дружбе, доверься могуществу любви; Давид и Ионафан — вот пример для нас с тобой, мой милый капуцин!

— Вы непревзойденный Голиаф, — прервал я его изливания, — однако выкладывайте, почему вам понадобилось неотложно меня видеть?

— Почему? — отозвался Белькампо. — Вот именно, почему? Потому что я, безумец, души не чаю в одном капуцине, чью голову я однажды образил, а он раскидывал кроваво-червонные дукаты, водился с жуткими оборотнями и, совершив пустяковое убийство, чуть было не женился на первой красавице в мире, как свободный, вернее, благородный господин.

— Постой! — вскричал я. — Постой, дурачок, тебя страшно слушать. Я ли страданиями не искупаю то, в чем винит меня твоя кощунственная игривость?

— Ах, сударь, — продолжал Белькампо, — неужели супостат наносит незаживающие раны и они все еще саднят? Ах, далеко вам еще до исцеления! Хорошо же, я буду пай-мальчиком, набожным и послушным, я возьму себя в руки; я перестану резвиться, утихомирюсь физически и духовно, только позвольте как на духу признаться вам, любезный капуцин, что я питаю к вам нежные чувства, ибо вы благородный безумец, а, по-моему, всякое благородное безумие на земле желательно и целесообразно, дай Бог ему здоровья! и потому я отвращаю от тебя любую смертельную опасность, которую ты шутя на себя навлекаешь. Из моего кукольного ящика я подслушал разговор, и о ком же шла речь, если не о тебе. Папа тебя хочет повысить в сане, ты без пяти минут приор монастыря капуцинов и папский духовник. Спасайся бегством, прочь из Рима, кинжалы готовы тебя пронзить. Я даже знаю, кому заплатили, чтобы он препроводил тебя в Царство Небесное. Доминиканец, нынешний духовник папы, со своими приспешниками намерен тебя убрать как опасного противника. Завтра должен твой след простынуть.

Эта новая подробность лишь объяснила эскападу давешнего аббата; мне было о чем подумать, и я едва заметил, как потешный Белькампо неоднократно заключал меня в объятия и, наконец, распростился со мною, как всегда гримасничая и ломаясь.

За полночь я услышал, как отпираются ворота монастыря и по мощеному двору скрежещут колеса кареты. Потом послышались шаги на лестнице, и в мою келью постучали; я открыл, и мне предстал отец настоятель; его сопровождал некто в плаще и в маске с факелом в руке.

— Брат Медардус, — сказал настоятель, — ближний наш при смерти и на смертном одре взыскует вашего духовного увещевания и соборования. Действуйте сообразно вашему

сану; следуйте за этим человеком; он проводит вас туда, где вас ждут.

Я похолодел; во мне шевельнулось предчувствие, не смерть ли ждет меня; но я счел отказ невозможным и последовал за безликой фигурой; некто в плаще открыл дверцу и принудил меня сесть в карету; там уже были двое; один сел справа от меня, другой слева. Я осведомился, куда меня везут и кого предстоит мне напутствовать и соборовать. Ни слова в ответ! В безмолвии мы миновали несколько улиц. По слуху я определил, что мы выехали за городскую черту, но вскоре убедился, что мы проезжаем через городские ворота, потом копыта лошадей опять зацокали по мостовой. Наконец, карета остановилась. Мне быстро связали руки; и на мои глаза опустили тяжелый капюшон.

— Вам не грозит никакая опасность, — сказал суровый голос, — только не проговоритесь о том, что вы увидите и услышите здесь, иначе вы мгновенно умрете.

Мне помогли выйти из кареты, лязгнули замки, заскрежетали тяжелые, неподатливые петли ворот. Меня повели по длинным коридорам, потом вниз по лестнице; спуск был долгим. Гулкие шаги убедили меня, что мы в склепе; об этом же свидетельствовал спертый воздух, насыщенный трупным смрадом. Наконец, мы остановились; мне развязали руки и освободили мои глаза от капюшона. Я увидел себя в просторном склепе, едва освещенном висячей лампой; подле меня возвышалась безликая фигура в черном плаще, мой вероятный страж и провожатый, а вокруг на низких скамьях сидели монахи-доминиканцы. Ко мне как бы вернулась жуткая греза, посетившая меня впервые в тюремном заключении; я считал мучительную смерть неизбежной, но сохранял мужество и пламенно молился про себя не об избавлении, а только о будущем блаженстве. Последовало несколько минут мрачного, зловещего молчания, потом ко мне подошел один из монахов и произнес глухо:

— Мы приговорили одного из ваших братьев по ордену, Медардус! Наш приговор неотвратим. Вы святой праведник, и вас призвал приговоренный, чтобы вы исповедали его и напутствовали. Приблизьтесь и выполняйте то, что предписано.

Закутанный в плащ все еще стоял рядом. Он взял меня под руку и повел дальше; узкий коридор заканчивался тесным склепом. Там в углу на соломе, казалось, лежал скелет, прикрытый лохмотьями. Мой страж-провожатый, закутанный в плащ, поставил зажженную лампу на каменный стол посреди склепа и удалился. Я увидел, что за скелет я принял человека, изможденного и бледного, но еще живого. Я приблизился к заключенному, он с трудом потянулся ко мне; оцепенение сковало меня, когда я узнал досточтимые черты преподобного Кирилла. Преображающая улыбка небесным светом озарила его лицо.

— Стало быть, — начал он чуть слышным голосом, — страшные адские слуги, орудующие здесь, не солгали мне. От них узнал я, что ты в Риме, мой дорогой брат Медардус, а я тосковал по тебе, я помнил, как я перед тобою грешен; и они заверили меня, что я тебя увижу перед смертью. Значит, настал мой смертный час: они сдержали свое слово.

Я преклонил колени подле праведного, высокочтимого старца; я заклинал его поведать мне, как же это возможно: он в заточенье, он приговорен к смерти!

— Любимый брат Медардус! — ответил Кирилл. — Только после того, как я тебе покаюсь в моем греховном заблуждении, обернувшись против тебя, и когда ты примиришь меня с Богом, я позволю себе поговорить с тобою о моем злочлеченье и о моем земном исходе. Ты знаешь, и я, и вся наша братия сочла тебя окаянным грешником; ты навлек на свою голову (так мнилось нам) ужаснейшие проклятья, и мы отреклись от всякого общения с тобою. И все-таки то было лишь одно роковое мгновение, когда дьявол обротал тебя и поволок из святого места в пагубную мирскую суету. Украд у тебя имя, одежду, даже обличив, бесноватый притворщик творил бесчинства, за которые тебя чуть было не казнили, как убийцу. Вечное провиденье, однако, чудесным образом возвестило, что, хотя ты согрешил, играя своим обетом, и едва его не нарушил, ты все же не запятнал себя теми мерзостными святотатствами. Возвращайся в монастырь! Леонардус, братия тем сердечнее тебя примут, что считали тебя погибшим... О Медардус!

Глубокий обморок прервал изнемогающего старца. Его слова придавали моей жизни новый непредвиденный оборот и не могли меня не взбудоражить, но я себя пересилил и,

думая только о нем и о спасении его души, лишенный всяких вспомогательных средств, попытался привести его в чувство, медленно и кропотливо поглаживая ему голову и грудь правой рукою, обычный монашеский способ приводить в чувство умирающих. Вскоре Кирилл очнулся, и я, преступный святотатец, исповедал праведника. Но отпуская грехи старцу, чье наивысшее прегрешение заключалось лишь в кратковременных сомнениях, я почувствовал, как вечная Высшая Воля затеплила во мне дух небесный, владеющий и движущий мною в моей телесности, чтобы предвечная Воля могла через человека обратиться к человеку, еще облеченному бранным. Кирилл благоговейно поднял очи как бы в чайные Неба и сказал:

— О мой брат Медардус, как твои слова меня подкрепили! Беспечально иду я навстречу смерти, которую на меня навлекают эти отпетые злодеи. Я готов пасть жертвой гнусного обмана и порока, окружающего престол тройственной короны.

Я услышал глухие шаги, они приближались; ключи скрежетали в замочных скважинах. Кирилл напряг последние силы, пожал мне руку и сказал на ухо:

— Вернись в наш монастырь! Леонардус обо всем осведомлен; он знает, какой смертью я умираю; убеди его молчать о моей смерти. Мне, хворому старику, и так не пришлось бы ждать ее долго... Прощай, брат мой!.. Молись за упокой моей души! Я буду среди вас, когда в монастыре будут отпевать меня. Дай мне слово сохранить в тайне все, что ты здесь узнаешь, иначе ты сам погибнешь и на наш монастырь накличешь тысячу напастей.

Я исполнил его последнюю волю. Вошли закутанные фигуры; они подняли старика с его ложа, но, изнуренный, он не держался на ногах, и они потащили его по коридору в склеп, где я уже побывал. Закутанные знаком велели мне следовать за ними. Доминиканцы образовали круг, в этот круг внесли старика и оставили его, коленапреклоненного, на горке земли, насыпанной в центре круга. В руки старику дали распятие. Я тоже вступил в круг и продолжал громко читать молитвы, полагая, что такова моя функция. Один доминиканец взял меня за руку и отвел в сторону. В то же мгновение в круг вступила закутанная фигура; у нее в руке сверкнул меч, и окровавленная голова Кирилла покатилась к моим ногам.

Я упал без чувств. Очнулся я в маленькой комнате, похожей на келью. Один доминиканец шагнул ко мне и сказал, цинично улыбаясь:

— Вы порядком струхнули, брат мой, а ведь вам следовало бы возликовать, ведь вы своими глазами видели великолепное мученичество. Так ведь следует выражаться, когда монах из вашего монастыря умирает смертью, которую заслужил? Ведь вы же святые, все и каждый.

— Мы не святые, — ответил я, — но в нашем монастыре никогда не убивали невинных! Отпустите меня, я с радостью сослужил мою службу. Его светлый дух пометит меня, когда подлые убийцы меня схватят.

— Не сомневаюсь, — сказал доминиканец, — покойный Кирилл не преминет посетить вас в подобном случае, только благоволите не называть его казнь убийством, возлюбленный брат мой! Кирилл преступно виновен перед наместником Божьим, и смертный приговор скреплен его волей. Но преступник исповедался вам, и нет нужды говорить с вами о его прегрешениях. Позвольте кое-чем попотчевать и усладить вас, а то вы совсем побледнели и приуныли.

С этими словами доминиканец протянул мне хрустальный кубок, в котором играло темно-красное, пахучее вино. Смутное воспоминание пронзило меня, когда я поднял кубок. Да, сомнений не было, так же пахло вино, которым Евфимия собиралась напоить меня в ту роковую ночь, и, не долго думая, инстинктивно вылил я его в левый рукав моего облачения, как бы заслонив при этом левой рукой глаза от яркого света.

— На здоровье! — вскричал доминиканец, поспешно выпроваживая меня за дверь.

Меня бесцеремонно впахнули в карету, на этот раз пустую, к моему удивлению, и карета сразу же тронулась. Кошмар этой ночи, крайнее изнеможение, глубокая боль утраты при мысли о несчастном Кирилле ввергли меня в полуобморочное состояние, так что я молча покорился, когда меня вытолкнули из кареты и довольно грубо бросили на землю. Начинало

светать; я увидел, что лежу у ворот монастыря капуцинов, и, кое-как привстав, я ухитрился позвонить. Привратник ужаснулся, увидев, как я бледен и подавлен, и, наверное, поставил в известность приора о том, каков я возвратился, ибо сразу же после заутрени встревоженный приор наведался в мою келью. Уклончиво отвечая на его расспросы, я начал говорить, что потрясен смертью христианина, которого соборовал, однако мою левую руку вдруг обожгла такая боль, что я поперхнулся собственными словами и отчаянно вскрикнул. Пришел монастырский лекарь; с трудом удалось ему оторвать мой рукав от предплечья и запястья; вся моя рука была сплошной раной, как будто пораженная едким составом.

— Меня заставляли это вино выпить... а я его вылил в рукав, — стонал я почти в обмороке от боли.

— К вину была подмешана едкая отравка! — вскричал лекарь и поспешил прибегнуть к снадобьям, несколько утолившим невыносимое страдание. Искусное лечение и тщательный уход, которым обеспечил меня приор, позволили сохранить руку, хотя ампутация сначала казалась неизбежной, но мясо сошло почти до кости, и рука почти омертвела от зловещей цикуты.

— Мне слишком ясно, — сказал приор, — какие обстоятельства едва не лишили вас руки. Праведный брат Кирилл не возвращается к нам в монастырь, нет его и в Риме; таинственное исчезновение, согласитесь! Боюсь, что и вас, возлюбленный брат Медардус, постигнет та же участь, если вы задержитесь в Риме. Настораживает уже то, как назойливо осведомлялись о вас, пока вы были прикованы к постели, но я сам принял меры, и вся наша благочестивая братия меня поддержала; только благодаря этому вы еще живы, ибо ваша келья отнюдь не была застрахована от убийства. Поскольку вы вообще, на мой взгляд, человек недюжинный, то всюду вас подстерегают какие-то роковые тенета; и в Риме-то вы пробыли недолго, а уже стали притчей во языцех, наверняка непреднамеренно, и уже появились господа, которые не прочь устранить вас. Возвращайтесь-ка лучше на родину, к себе в монастырь. Храни вас Бог!

Я и сам чувствовал, что мне в Риме на каждом шагу грозит опасность, но теперь у меня болела не только душа при мысли о моих прегрешениях, не искупленных суровейшими епитимьями, мучила меня, кроме того, физическая боль, так как рука моя разлагалась, и я не слишком дорожил жизнью, отравленной изнурительным недугом, и мгновенная смерть оказала бы мне услугу, избавив от постылого ига. Меня больше не пугала мысль о том, что я умру насильственной смертью; я стал даже мечтать о мученичестве, увенчивающем славою мое суровое покаяние. Я так и видел: вот я выхожу за ворота монастыря, и некая темная фигура пронзает меня кинжалом. Народ собирается вокруг моих окровавленных останков. «Медардус! Кающийся праведник Медардус убит!» — раздаются на улицах крики, а народ все прибывает; невинно убиенного оплакивают громче и громче.

Женщины преклоняют подле меня колени, чтобы омочить белые платки кровью из моей раны. Вот одна из них узрела крестообразную метку на моей шее и громко вопиет: «Он мученик, он святой, он мечен Господом, взгляните на его шею!» Тут уже все повергаются на колени. Блажен тот, кто притронется к телу святого или хотя бы к его облачению.

А вот и носилки; на них водружено тело, усыпанное цветами; триумфальное шествие юношей переносит мои останки в собор Святого Петра.

Так моя фантазия рисовала живыми красками картину моего будущего прославления, и, забыв о происках злого духа, другим способом подстрекающего во мне греховную гордость, я укрепился в решении не покидать Рима, даже если исцелюсь окончательно, а, напротив, приняться за прежнее и сподобиться мученического венца или высокого церковного сана, если папа вознесет меня над моими врагами.

Моя могучая жизнестойкая натура совладала, наконец, с невыносимым страданием и с вторжением адского настоя, проникшего извне, чтобы разлагать мою душу. Лекарь предрекал мне скорое исцеление, и, действительно, лишь в минутном умопомрачении, предшествующем засыпанию, меня иногда лихорадило, знобило или бросало в жар. Именно в такие минуты, когда меня особенно прельщала картина моего будущего мученичества, я

снова увидел себя, пронзенного кинжалом. Но это произошло в моем тогдашнем видении не на Испанской площади, и лежал я, распростертый, не среди толпы, требующей моей канонизации, нет, я валялся одинокий в одной из аллей монастырского парка в Б. Вместо крови из моей зияющей раны сочилось что-то мерзкое, бесцветное, и некий голос рек: «Такова ли кровь мученика? Но эту грязную жижу я процежу, окрашу, и она загорится пламенем, которое затмит денницу!» Я рек это, но мое «я» как бы оторвалось от меня мертвого, и я заметил, что я лишь бесплотный помысел моего «я», и я уже был не «я», а багрянец, плавающий в эфире; я воспарил к светящимся горным вершинам, я устремился в родную твердыню через ворота золотых утренних облаков, но молнии переплелись под сводом небес, подобно змеям, пламенеющим в огне, и промозглым тусклым туманом начал я снижаться над землей. «Я — я, — говорил мой помысел, — я цвет ваших цветов — цвет вашей крови — кровь и цветы — ваше брачное убранство — я вам его дарую!»

Когда я достаточно снизился, я увидел тот же труп; у него в груди зияла рана, из которой потоками хлестала та же грязная вода. Мой дух должен был превратить воду в кровь, но грязь осталась грязью, а труп встал, выпрямился, впился в меня своими впалыми, жуткими глазами и завыл, как северный ветер в глубоком ущелье: «Дурий, незрячий помысел, денница вовсе не состязается с пламенем, денница — огненное крещение багрянцем, который ты пытаешься отравить».

Труп снова повалился на землю, цветы на лугу опустили увядшие венчики; люди, похожие на бледные призраки, попадали, и тысячеголая безутешная скорбь разнеслась по воздуху: «Господи, Господи, неужели бремя наших грехов столь непомерно, что Ты позволишь супостату умертвить искупительную жертву нашей крови?» Жалоба нарастала, как волна бушующего моря!

Помысел разбился бы о могучий звук этой безутешной скорби, но как будто электрический удар потряс меня, и сна как не бывало. Колокол на монастырской башне пробил полночь; ослепительный свет из окон церкви ворвался в мою келью. «Мертвые встали из гробов и служат всенощную», — сказало что-то во мне, и я начал молиться. Тут послышался тихий стук. Я подумал, что какой-нибудь монах стучится в мою келью, но тут же меня охватил ужас; я узнал зловещее хихиканье и смешки моего чудовищного двойника: «Братец мой... Братец мой... я здесь... я здесь... Рана не зажила... не зажила... кровь красна... кровь красна... Мы вдвоем, братец Медардус, мы вдвоем!»

Я бы вскочил с постели, но ледяное одеяло ужаса придавило меня; и когда я пробовал двинуться, судорога раздирала мои мускулы. Мне осталась только мысль, и она была пламенной молитвой: да избавлюсь я от лютой нечисти, рвущейся ко мне через врата преисподней. Я молился про себя и своими ушами слышал мою немую молитву, и она торжествовала над постукиваньем, хихиканьем и зловещим лепетом жуткого двойника, и, наконец, осталось только непостижимое жужжанье, как будто южный ветер пробудил полчища ненасытных насекомых, ядовитыми хоботками истребляющих свежие всходы. А потом жужжанье снова оказалось безутешной жалобой человечества, и моя душа спросила: «Не пророческое ли это видение, исцеляющее, заживляющее твою кровавую рану?» В это мгновение пурпурный пламень вечерней зари хлынул сквозь тусклый, промозглый туман, и в тумане возвысился образ. То был Христос; каждая его рана уронила на землю капельку крови, и земле был возвращен багрянец, и жалоба человечества превратилась в торжествующее песнопение, потому что багрянец был милостью Божьей, изливающейся на всех и каждого. Только кровь Медардуса все еще сочилась, бесцветная, из его раны, и он пламенно молился: «Или на всей земле мне одному нет спасения от вечной казни проклятых?» Тогда в кустах что-то двинулось; роза, обгаренная небесным пламенем, приподняла головку и подарила Медардусу ангельски нежную улыбку, и сладчайшее благоуханье овевало его, и благоуханье было чудотворным излучением чистейшего весеннего эфира. «Нет, не огонь восторжествовал; огонь с денницей не состязается; огонь — слово, просвещающее грешных». Не роза ли изрекла эти слова, но роза была не роза, а ненаглядная дева.

Вся в белом, с розами в темных волосах, шествовала она мне навстречу. «Аврелия!» — воскликнул я, возвращаясь к яви; в келье дивно пахло розами, и не грезой ли наяву должен был я счесть образ Аврелии, такой отчетливый, что я даже видел ее проникновенные очи, устремленные на меня, но потом он отвеял в утренних лучах в моей келье.

И я вновь распознал демонское стреляние и мою духовную податливость. Я поспешил в церковь и, снедаемый праведным огнем, встал на молитву перед алтарем святой Розалии.

Нет, не самобичеванья, не епитимья, налагаемые монастырским уставом, двигали мною, когда в полдень под отвесными лучами солнца я был уже в нескольких часах пути от Рима. Не только последний наказ Кирилла, но и сокровенная неодолимая тоска по родине вела меня тою же стезею, по которой прежде я направлялся в Рим. Сам того не желая, стремясь бежать от моего призвания, избрал я кратчайший путь к цели, означенной для меня приором Леонардусом.

Я избрал окольный путь, не приблизившись к резиденции князя, не потому, что я боялся нового разоблачения и уголовного суда, нет, как я мог без невыносимых угрызений вновь посетить место, где, кощунственно искажая свое внутреннее существо, смел я алкать земного счастья, отвергнутого мною, когда я посвятил себя Богу, ах, где я, изменив духу чистой любви, счел светоносным зенитом жизни, сочетающим естественное и сверхъестественное в нерасторжимом излучении, мгновенный чувственный экстаз торжествующего животного, где бурный расцвет жизни, подкрепленный своим же собственным изобильным роскошеством, представился мне стихией, которая не может не восставать яростно против тяги к Небесному, а самое эту тягу я дерзнул признать про себя противоестественным самоотречением!

Да только ли это! — хотя я и воздвиг в своем сердце некую твердыню, неукоснительно блюдя себя и упорно, беспощадно каюсь, все же я чувствовал в глубине моей души бессилие, неспособное противостоять жуткой темной власти, чьим посягательствам я был подвержен, что слишком часто и ужасно давало себя чувствовать.

Встретить Аврелию! Она, быть может, еще более прелестна и прекрасна! Вынесу ли я эту встречу, не поддавшись духу зла, который вновь разгорячит мою кровь адским пламенем, чтобы она, шипя и вскипая, разлилась по моим жилам?

Аврелия и так слишком часто виделась мне, и столь же часто оживали в душе моей чувства, несомненно пагубные и лишь с превеликим трудом уничтожаемые силой моей воли. Лишь сознавая свою уязвимость, опасную для меня без пристальнейшей бдительности, лишь чувствуя свою непригодность к битве, которой мне лучше избегать, мог я доказать самому себе неподдельность моего раскаяния и утешиться, по крайней мере, тем, что я избавился от адского духа гордости, подстрекавшего меня прежде на вызывающее соревнование с полчищами мрака.

Вскоре я углубился в горы, и однажды утром в тумане долины, пролежавшей передо мною, возник замок; приблизившись, я не мог не узнать его. То были владения барона фон Ф. Парк пришел в запустение, аллеи заросли сорными травами; красивый газон перед замком превратился в травянистое пастбище для скота; в окнах замка кое-где были выбиты стекла, подъезд превратился в руины.

Ни единой человеческой души не замечалось поблизости.

Я стоял как вкопанный и молчал среди этого гнетущего одиночества. Тихий стон послышался из кущи, напоминавшей прежде великолепие, и я увидел старца, седого как лунь; он сидел в куще и не видел меня, хотя я стоял неподалеку от него. Тогда я подошел еще ближе и услышал:

— Покойники... Покойники все, кого я любил... Ах, Аврелия! Аврелия! И ты — последняя — мертва — мертва для этого мира!

То был старый Рейнгольд — я снова остолбенел.

— Аврелия мертва? Нет, нет, ты бредишь, старик; Провиденье отвело от нее нож презренного убийцы!

Так я сказал, а старик вскинулся, как будто его ударила молния, и закричал:

— Кто здесь? Кто здесь? Леопольд! Леопольд!

Из кустов выпрыгнул мальчик; увидев меня, он низко поклонился с приветствием:

— *Laudetur Jesus Christus!* ¹²

— *In omnia saecula saeculorum* ¹³, — отозвался я.

Старик сорвался с места и закричал еще громче:

— Кто здесь? Кто здесь?

Я убедился, что старик слеп.

— Пришел преподобный отец, монах из ордена капуцинов, — сказал мальчик.

Старик явно испугался, ужаснулся; он завопил:

— Уйдем, уйдем отсюда!.. Мальчик, уведи меня... В дом, в дом! Двери на замок! Пусть Петер караулит... Уйдем, уйдем скорее!

Старик собрал все оставшиеся силы, чтобы бежать от меня, как от свирепого хищника. Удивленный, испуганный мальчик смотрел на меня, а старик уже сам тащил за собой своего поводыря; двери сразу же за ними захлопнулись, и я услышал, как заскрежетали замки.

Мои прежние чудовищнейшие преступления как бы вновь разыгрались передо мной при виде их ослепшего свидетеля, и я в ужасе бежал, пока не оказался в глухих лесных дебрях. Измученный, поник я на густые мхи у корней дерева; неподалеку виднелся холмик, насыпанный человеческими руками, этот холмик был увенчан крестом. Когда меня отпустил сон, вызванный усталостью, подле меня сидел старый крестьянин; увидев, что я пробудился, он почтительно обнажил голову и сказал с добродушной приветливостью:

— Ах, преподобный отец, видать, вы прошли не ближний путь и совсем выбились из сил, иначе бы вы вряд ли облюбовали бы для сна такое зловещее местечко, здесь не заснешь ни за какие коврижки. Или вы в самом деле не знаете, что здесь произошло?

Я уверил его, что я не здешний, что ходил в Италию на поклонение святым местам, а сюда забрел на обратном пути и не слыхивал о здешних происшествях.

— Дело в том, — сказал крестьянин, — что здесь особенно не везет братьям капуцинам, и я, признаться, боялся за вас, вот я и сидел и караулил, пока вы тут почивали, не попритчилось бы вам чего дурного, не ровен час. Рассказывают, что несколько лет назад здесь убили капуцина. Точно известно, что в нашу деревню наведалься тогда капуцин, заночевал у нас и, продолжая свой путь, углубился в горы. В тот же день мой сосед проходил через глубокую расселину как раз под чертовым тронем и услышал вдалеке отчаянный крик, прямо-таки нечеловеческий. Он уверял, что даже видел, как некто загремел с вершины в пропасть, но тут, пожалуй, он загнул; такое увидишь едва ли. Однако, что верно, то верно, мы все в деревне заподозрили, что тут не без греха, словно кто надомил нас, не помогли ли капуцину рухнуть в пропасть, и некоторые из наших, остерегаясь, не сломать бы самим шею, все-таки пошли искать хоть мертвое тело того несчастного. Искали мы, конечно, впустую и подняли потом на смех нашего соседа, будто бы видевшего в лунную ночь на обратном пути через ту самую расселину, как из Чертовой пропасти вылезал кто-то голый; чего со страху не померещится! Вроде бы испугался человек собственной тени, а не тут-то было: потом пошли слухи, будто какой-то знатный господин прищучил здесь капуцина и спровадил его труп в Чертову пропасть. Здесь-то, стало быть, и произошло убийство, у меня даже сомнений в этом нет. Сами посудите, преподобный отец: сижу я здесь как-то в раздумий, вот меня и угораздило взглянуть вон на то дерево с дуплом, видите, до него рукой подать. И бросилась мне в глаза темная ткань, свисающая из щели. Я не стал рассиживаться, дал себе труд подойти и вытащил новую с иголочки рясу капуцина. Один рукав был чуточку попорчен засохшей кровью, а на самом краешке полы отчетливо прочитывалось имя «Медардус». Я, как вы понимаете, человек не богатый, вот я и подумал сделать доброе дело: продам-ка я

¹² Слава Иисусу Христу! (лат.).

¹³ Во веки веков (лат.).

рясу, а на вырученные деньги закажу-ка я мессы за упокой души бедного преподобного отца, убитого здесь; смерть ведь застигла его врасплох, и умер он без покаяния. Вот я и повез рясу в город, но ни один торгаш не купил ее, а монастыри капуцинов от нас далеконочко; вдруг, откуда ни возьмись, человек, одежда у него как у егеря, то бишь лесника; ему, говорит, именно такая ряса требуется, и отвалил он мне деньжат за мою находку, не обидел меня. Вот я и заказал нашему священнику мессу по первому разряду, а здесь, так как в Чертовой пропасти креста не поставишь, водрузил что мог в память убиенного господина капуцина. Но, видно, покойный и сам был сорвиголова, не тем будь помянут; иначе бы он здесь не шлялся после смерти, а то даже месса господина священника не утихомирила его. Вот я и прошу вас, преподобный отец, дай вам Бог вернуться восвояси целым и невредимым, уж вы отслужите что полагается за упокой души вашего собрата по ордену Медардуса. Обещайте мне это, Христа ради!

— Вы дали маху, дружище, — сказал я. — Никто не убивал капуцина Медардуса, действительно проходившего несколько лет назад через вашу деревню по дороге в Италию. Заказывать за него мессы нет пока еще никакой надобности; он живехонек и может сам позаботиться о спасении своей души. Я знаю, что говорю, так как сам я и есть Медардус.

С этими словами я распахнул рясу и показал ему краешек, меченный именем «Медардус». Стоило крестьянину прочесть это имя, как он побледнел и уставился на меня в ужасе. Потом он сорвался с места и, отчаянно вопя, бросился в лес. Конечно, он принял меня за неприкаянный призрак убитого Медардуса, и мне все равно не удалось бы рассеять его заблуждение.

Само безлюдье, глушь и тишина, нарушаемая только смутным журчанием отдаленного лесного потока, предрасполагали к восприятию пугающих образов; мне самому представился мой жуткий двойник; ужас крестьянина оказался заразительным, и в глубине моей души зашевелилось предчувствие, не выйдет ли сейчас мой двойник из-за ближайшего темного куста.

Собравшись с духом, я продолжил свой путь и долго не мог отделаться от мысли, подсказанной мне крестьянином, не призрак ли я самого себя, а когда эта мысль наконец меня оставила, подумал, что теперь понимаю, откуда у сумасшедшего монаха ряса капуцина: он оставил мне ее, убегая, и я не мог не признать ее своею. Он же околачивался у лесничего и выпрашивал у него новую рясу, вот лесничий и купил ее в городе у крестьянина. В глубине души моей запечатлелась причудливость, обкорнавшая по-своему роковое происшествие, чтобы все обстоятельства, совпав как на грех, способствовали отождествлению меня и Викторина. Особую важность приобретало для меня диковинное видение, о котором рассказывал боязливый односельчанин моего собеседника, и я предвкушал уже более вразумительное толкование, не подозревая пока еще, к чему оно сведется.

Наконец, после долгого непрерывного странствия в течение нескольких недель, я почти достиг моей родины; с бьющимся сердцем вглядывался я в башни цистерцианского женского монастыря, возвышающиеся передо мною. Миновав деревню, я вышел на площадь перед монастырской церковью. До меня донеслось торжественное пение мужского хора. Потом я увидел крест. Монахи шли за ним по двое, как во время крестного хода. Ах, я узнал моих братьев; их возглавлял старец Леонардус, опирающийся на молодого монаха, незнакомого мне. Не замечая меня, они с пением направлялись в открытые монастырские ворота. Подобным образом туда же вступили доминиканцы и францисканцы из Б., в монастырский двор въезжали закрытые кареты; это прибыли монахини из монастыря святой Клары, что в Б. Все говорило о том, что в монастыре готовится особо торжественная церемония. Церковные врата были широко распахнуты; я вошел и увидел необычайную чистоту и убранство.

Украшали гирляндами цветов главный алтарь и боковые приделы; некий пономарь громко говорил о том, что розы уже расцвели, а завтра они понадобятся спозаранку, ибо такова воля госпожи настоятельницы: главный алтарь надлежит непременно украсить розами.

Мне не терпелось присоединиться к братьям, и, подкрепив душу усиленной молитвой,

я вошел в монастырь и спросил приора Леонардуса; сестра привратница проводила меня в зал, где Леонардус сидел в кресле, окруженный братьями; громко плача, с душевным сокрушением, неспособный выговорить ни слова, повергся я к ногам приора.

— Медардус! — воскликнул он, и братья негромко повторили в один голос: «Медардус... брат Медардус, наконец, опять среди нас!»

— Слава небесным силам, сохранившим тебя от уловок злокозненного мира; ну, рассказывай, рассказывай, брат наш! — перебивали монахи друг друга.

Приор встал с кресла, и, повинувшись его знаку, я последовал за ним в келью, которую он обычно занимал, посещая женский монастырь.

— Медардус! — начал он, — ты кощунственно преступил свой обет; вместо того, чтобы выполнить наказания, сопутствовавшие тебе, ты обесчестил себя бегством, недостойнейшим образом обманув монастырь. Подобало бы подвергнуть тебя заточению, если бы я намеревался руководствоваться уставом по всей строгости.

— Судите меня, преподобный отец мой, — ответил я, — судите меня, как велит устав; ах, с радостью сброшу я бремя этой убогой, изнурительной жизни! Я и сам чувствую, что строжайшая епитимья, которой подверг я себя, не вернула мне упования!

— Не падай духом, — продолжал Леонардус, — это говорил с тобой приор, теперь будет говорить друг и отец. Чудом избежал ты смерти, грозившей тебе в Риме... А вот Кирилл не избежал мученичества...

— Так вы знаете? — спросил я, полный изумления.

— Знаю, — ответил приор, — я знаю, как ты поддержал несчастного в последнюю минуту и как тебя хотели отравить вином, предложив его тебе для освежения. По-видимому, тебе удалось даже под наблюдением тех монастырских аргусов пролить это зелье; если бы ты проглотил хоть каплю, тебя бы не было в живых через десять минут.

— Посмотрите, — воскликнул я и, засучив рукав рясы, показал приору мою руку, высохшую до кости; при этом я рассказал, как, чуя опасность, вылил вино себе в рукав. Леонардуса передернуло при виде руки, которую могла бы протянуть ему мумия; что-то глухо отозвалось в нем:

— Вот оно, искупление всех твоих святотатственных посягательств; но Кирилл — о, ты праведный старец!

Я сказал, что тайная казнь бедного Кирилла до сих пор озадачивает меня, так как мне неизвестна ее причина.

— Вряд ли, — сказал приор, — ты сам избежал бы подобной судьбы, если бы ты, а не Кирилл, представлял в Риме интересы нашего монастыря. Ты знаешь, наш монастырь претендует на доходы, которые незаконно присваивает себе кардинал... вот что побудило кардинала нежданно-негаданно сблизиться с папским духовником; вот почему яростная вражда вдруг сменилась дружбой; так он привлек на свою сторону влиятельного доминиканца, противопоставив его могущество Кириллу. Лукавый монах быстро смекнул, как отделаться от Кирилла. Он сам представил Кирилла папе и так обрисовал приезжего капуцина, что папа восхитился его достоинствами и приблизил его к себе, включив Кирилла в свое окружение. От Кирилла, конечно, не ускользнуло, как наместник Божий отвержен своей державе в этом мире с его соблазнами, как лицемерное исчадие играет его страстями и, вопреки могучему духу, вообще говоря, обитающему в нем, находит презренные средства подчинить его себе и раскачивать между небом и землей. Благочестивый Кирилл, как можно было предвидеть, возгорелся праведным гневом и почувствовал в себе призвание огненными речами по наитию духа потрясти папу и обесценить в его глазах земное. Изнеженное сердце оказалось действительно отзывчивым к речам благочестивого старца, но именно в своем умилении папа был уязвим и для происков доминиканца, исподволь искусно подготавливавшего удар, смертельный для бедного Кирилла. Он уверил папу, будто существует ни много ни мало, как тайный заговор и перед Церковью хотят его представить недостойным тройной короны; Кирилл будто бы склоняет его ко всенародному покаянию, а оно послужит поводом для кардиналов открыто восстать против папы, так как брожение

среди них уже имеет место. И папа действительно почувал в душеспасительных речах Кирилла коварное поползновение; старец ему опротивел, и он не изгонял его из своего окружения лишь потому, что предпочитал пока не делать слишком демонстративного шага. Едва Кирилл опять нашел возможность говорить с папой без свидетелей, он сразу же сказал ему, что, не отрекаясь всецело от мирских вожделений и не достигая истинной святости в собственной жизни, недостойный наместник Божий наносит Церкви урон и она вынуждена избавиться от него как от позорного, губительного довеска. Едва Кирилл покинул внутренние покои, оказалась отравленной вода со льдом, которой папа утолял обычно жажду. Я полагаю, нет нужды доказывать тебе, хорошо знавшему благочестивого старца, что Кирилл был в этом неповинен. Но папа не сомневался в его вине, отсюда приказ, повелевающий доминиканцам тайно казнить монаха-пришельца. Ты привлекал к себе в Риме общее внимание, и папа заподозрил в тебе родственную душу, внимая твоим речам и, в особенности, твоему жизнеописанию; он подумал, что вместе с тобою поднимется выше над жизнью, а греховное философствование о религии и добродетели придаст ему силы грешить вдохновенно, как я позволил бы себе выразиться. Твои упражнения в покаянии он рассматривал как искусную уловку лицемера, рвущегося наверх. Он был захвачен твоим успехом и с наслаждением купался в твоих красноречивых восхвалениях. Так и случилось, что ты обошел доминиканца и достиг высоты, более опасной для его камарильи, чем любые увещания Кирилла. Ты видишь, Медардус, я знаю все, что ты делал в Риме, знаю каждое твое слово, произнесенное тобой в присутствии папы, и это перестанет тебя удивлять, если я скажу тебе: к его святейшему чрезвычайно близок друг нашего монастыря, и он меня обо всем ставит в известность. Даже когда ты думал, что говоришь с папой наедине, он не пропустил ни одного твоего слова. Когда ты приступил к строжайшему покаянию в монастыре, чей приор — мой близкий родич, я не сомневался в твоём чистосердечье. Ты и был чистосердечен, однако в Риме на тебя снова напал злой дух греховного высокомерия, которому ты и у нас был подвержен. Почему ты обвинил себя перед папой в преступлениях, которых ты не совершал? Ты же никогда не был в замке барона фон Ф.

— Ах, преподобный отец мой, — воскликнул я, изнывая от внутренней боли, — да там-то и совершил я ужаснейшие мои преступления! Но и суровейшее наказание вечной, неисповедимой власти в том, что никогда мне на земле не очиститься от греховной скверны, навлеченной в безумном ослеплении! Преподобный отец мой, и для вас я тоже лишь преступный лицемер?

— В самом деле, — продолжал приор, — твой нынешний вид и твои слова как будто опровергают подозрение во лжи, на которую ты вряд ли способен после такого сурового покаяния, однако кое-что не вяжется с твоими словами, и я никак не могу разгадать эту загадку. Вскоре после твоего бегства из резиденции (само Небо предотвратило преступление, на которое ты покушался; Небо спасло набожную Аврелию), так вот, говорю я, вскоре после твоего бегства, когда чудом уклонился от казни и монах, которого даже Кирилл счел тобою, выяснилось, однако, что не ты, а граф Викторин, переодетый капуцином, побывал в замке барона. Правда, в архиве Евфимии уже прежде нашлись письма, подтверждающие это, однако были основания считать, что сама Евфимия обманулась, так как Рейнгольд стоял на своем: он, мол, изучил твою внешность до последней черточки и никогда бы тебя не спутал с графом Викториним, как бы ты ни был на него похож. Но тогда ослепление Евфимии остается необъяснимым. А тут еще появляется графский конюх и рассказывает, мол, граф не один месяц провел в горах и не брился все это время, а потом встретился ему в лесу как раз у Чертовой пропасти в рясе капуцина. Хотя он и не знал, где граф раздобыл подобный костюм, сам по себе этот маскарад не был для конюха неожиданностью, ибо граф не держал от него в секрете своего замысла посетить замок барона в монашеском облачении; для этого граф и намеревался ходить в рясе целый год, посягая, собственно говоря, на большее. Правда, конюх подозревал, откуда у графа ряса капуцина; за день до этого граф говорил, что в деревне ему попался на глаза странствующий капуцин; тот наверняка пойдет через лес, а тогда уж найдется способ заполучить его рясу.

Конюх так и не видел капуцина, однако слышал крик, и в деревне потом толковали о капуцине, убитом в лесу. Уж конюх-то знал внешность своего господина и успел присмотреться к нему, когда он бежал из замка; вряд ли он спутал бы графа с кем-нибудь другим.

Таким образом, конюх достаточно убедительно опровергал Рейнгольда, однако Викторин отсутствовал, и было совершенно непостижимо, где он скрывается. Княгиня настаивала на своей гипотезе, будто самозванный господин фон Крчинский из Квечичева и был граф Викторин, что подтверждается его бесспорным броским сходством с Франческо, чья вина давно ни у кого не вызывает сомнений; потому-то она так и тяготилась присутствием этого господина. Многие с ней соглашались, усматривая истинно графскую осанку у авантюриста, принимать которого за переодетого монаха было, по их мнению, просто смешно. А тут еще лесничий поведал о сумасшедшем монахе, лесном страшилище, которого он принял к себе в дом, что вполне могло последовать за бесчинствами Викторина, если принять на веру некоторые другие предположения.

Тождество сумасшедшего монаха с Медардусом со всей ответственностью засвидетельствовал монах из монастыря, в котором состоял Медардус; так что иначе и быть не могло. Викторин сбросил его в пропасть; не исключалась при этом странная случайность, которая спасла его. Он пришел в себя и, хотя череп его был опасно поврежден, умудрился вылезти из губительной бездны. От боли, голода и жажды он помешался, чтобы не сказать — взбесился!

Так он в лохмотьях бегал по горам, где тот или иной сердобольный крестьянин мог время от времени уделять ему кое-какую пищу; так он и блуждал, пока не оказался в лесничестве. Две вещи, однако, не вписываются в эту версию, а именно: как Медардус беспрепятственно пробежал такое расстояние и почему в мгновения, когда сознание его прояснялось, а такие мгновения засвидетельствованы врачами, он мог приписывать себе чужие преступления? Те, кто отстаивал вероятность подобной версии, напоминали, что никому не ведома судьба Медардуса, выбравшегося из Чертовой пропасти; безумие могло впервые постигнуть его тогда, когда паломничество привело его в лесничество. Что же касается признаний в ответ на обвинения, то отсюда следует: душевный недуг его неизлечим, и светлые промежутки были мнимыми. Комплекс виновности принял у него форму навязчивой идеи; вот он и стал приписывать себе преступления, в которых его обвиняли.

Следователь, на чью компетентность полагались в этом деле, говорил, когда спрашивали его мнения: «Самозванный господин фон Крчинский — отнюдь не поляк и вовсе не граф, а уж с графом Викториним он не имеет ничего общего; отсюда, впрочем, не следует, что он невиновен; монах был и остается сумасшедшим и за свои действия не отвечает; поэтому уголовный суд мог признать необходимой лишь его изоляцию».

Но князь решительно отвергал этот вывод; преступления, совершенные в замке барона, так возмутили князя, что изоляцию, предложенную уголовным судом, он заменил смертной казнью через усекновение головы.

Но каким бы чудовищным ни было происшедшее в этой ничтожной переменчивой жизни, будь то событие или деяние в первое мгновение, интенсивность и напряженность красок быстро скрадываются, и то, что в резиденции и при дворе вызывало ужас и содрогание, быстро скатилось на уровень пошлых пересудов. Домысел, будто сбежавший из-под венца жених Аврелии — граф Викторин, живо напомнил историю итальянки, просветив на ее счет не осведомленных дотоле, так как осведомленные теперь уверились в своем праве разглашать прошлое, и всякий, кто видел Медардуса, объяснял его разительное внешнее сходство с графом Викториним их общим происхождением: как-никак они оба сыновья одного отца. Лейб-медик, например, не сомневался, что дело обстоит именно так, и доказывал князю: «Слава Богу, милостивый государь, что оба этих жутких типа дали тягу; не будем же искушать судьбу дальнейшими розысками». Хотя князь и не признавался в этом, такое мнение вполне устраивало его, ибо этот Медардус, единый в двух лицах, провоцировал

его на один просчет за другим. «Мы все равно не раскроем тайну, — говорил князь, — и не пристало нам теревить пелену, которой чудесная судьба облекла ее нам на благо». Разве что Аврелия...

— Аврелия! — пылко прервал я приора. — Ради Бога, преподобный отец мой, скажите мне, что Аврелия?

— Ах, брат Медардус, — мягко улыбнулся приор, — значит, опасный жар не остыл еще в твоей душе? Значит, пламя разгорается, стоит слегка пошевелить угли? Значит, еще не преодолены грешные поползновения, совратившие тебя? И ты хочешь убедить меня, что ты воистину покайся? Ты хочешь убедить меня, что дух лжи больше не обуревает тебя? Знай, Медардус, я поверю в твое покаяние лишь тогда, когда ты докажешь мне, что действительно совершил все непотребства, взятые тобой на себя. Лишь в этом случае мог бы я поверить, что те гнусности до неузнаваемости исковеркали твою душу и ты, забыв, как я тебя учил подлинному, проникновенному покаянию, в отчаянье, подобно потерпевшему кораблекрушение, уцепился за легкую, неверную дощечку, за мнимые искупительные уловки, так что не только заблудший папа, но и любой истинно верующий христианин должен был тебя счесть лукавым притворщиком. Скажи, Медардус, не осквернил ли ты свое благочестие, воспаряющее к вечному Провидению, помыслом об Аврелии?

Все внутри меня замерло, я не смел поднять глаз.

— Теперь ты не лжешь, Медардус, — продолжал приор, — я верю твоему молчанию. Я же никогда не сомневался, что польский дворянин в княжеской резиденции, жених баронессы Аврелии, не кто иной, как ты. Я старался не упускать из виду твоего пути, и это мне, в общем, удавалось, чему весьма способствовал один редкостный человек (он тогда рекомендовался «Белькампо, тупейный художник»), уже из Рима он извещал меня о тебе; мне ли было не догадаться, что это ты ужасным образом умертвил Евфимию и Гермогена, и тем омерзительнее для меня были дьявольские тенета, которыми ты прельщал Аврелию. Я бы мог навлечь на тебя гибель, но далека от меня мысль считать себя избранным для возмездия, и я предоставил тебя вместе с твоей судьбой вечному Промыслу Божьему. Бог чудом сохранил тебя, и я усматриваю в этом указание; ты можешь еще избежать земной гибели. Ты только послушай, какое необычное обстоятельство заставило все-таки меня впоследствии предположить, что граф Викторин был капуцином, проникшим в замок барона фон Ф.

Не слишком давно брат Себастьян, привратник нашего монастыря, был разбужен оханьем и стонами, напоминающими последний вздох умирающего. Уже обутрело; он встал и открыл монастырские ворота; у самых ворот лежал человек, чуть живой от ночного холода; еле ворочая языком, он назвался Медардусом, монахом, бежавшим из нашего монастыря.

Себастьян испугался и поспешил доложить мне о том, что происходит внизу; я спустился туда с братьями, и мы перенесли в трапезную загадочного полуночника: он был в обмороке. Лицо человека было искажено до ужаса, и все-таки мы приняли его за тебя; кое-кто настаивал, что наш Медардус вовсе даже не изменился, а только непривычно одет. Сохранилась борода и тонзура, а светское платье, совершенно изорванное и попорченное, было по своему фасону изящным и даже щегольским. Он носил шелковые чулки, атласный жилет; на одной туфле еще поблескивала золотая пряжка.

— Каштаново-коричневый сюртук тончайшего сукна, — вставил я, — превосходнейшее белье и простое золотое кольцо на пальце.

— Правильно, — сказал удивленный Леонардус, — но ты-то откуда знаешь...

— Ах, это мой костюм; я надел его в роковой день моей свадьбы!

У меня перед глазами так и стоял мой двойник.

Нет, это не был ужасный, дьявольский морок, лишенный собственного существа, оборотень, впивающийся в мое нутро, несущийся за мной, вскакивающий мне на закорки; нет, мой преследователь был сумасшедший беглый монах, завладевший, наконец, моим платьем, когда я лежал без чувств, и оставивший мне рясу взамен. Вот кто валялся у монастырских ворот, мое ужасное подобие... как бы я сам!

Я попросил приора продолжать; смутное чаянье истины брезжило во мне, обещая расшифровать мое невероятнейшее, таинственнейшее прошлое.

— В этом человеке, — рассказывал дальше приор, — не замедлили сказаться очевидные следы неизлечимого душевного недуга, и хотя внешне он был вылитый ты, хотя он то и дело заявлял: «Я Медардус, беглый монах, я у вас на покаянье!» — вскоре мы уже не сомневались, что у него такая мания: воображать себя тобой. Он получил от нас облачение капуцина, мы брали его с собой в церковь, где допустили его до обычных треб, и, несмотря на все свои ухищрения, он быстро выдал себя: мы убедились, что в монастыре он никогда не жил. Мне не могла прийти в голову мысль: что, если это и есть монах, сбежавший из резиденции, не Викторин ли это?

Я знал историю, которую однажды поведал сумасшедший лесничему, и потому предположил, что все ее перипетии, включая нахождение и распитие дьявольского эликсира, мистерия в узилище, пребывание в монастыре и прочее — своего рода выкидыш страждущей психики, испытавшей некое влияние твоей индивидуальности. Характерно в этом отношении, что порою на него все-таки накатывало и тогда он кричал, я, мол, граф и повелитель.

Я решил было водворить чужака в специальную лечебницу в Санкт-Гетрей, и у меня были основания надеяться: если кто и способен помочь ему, так это ее директор, гениальный врач, глубоко исследовавший все органические расстройства человеческой природы. Выздоровление неизвестного позволило бы нам хоть отчасти проследить таинственную игру непостижимых сил.

Но судьба распорядилась по-другому. На третью ночь меня разбудил колокол, который, как ты знаешь, звонит всегда, когда больному в нашем лазарете требуется мое напутствие. Я вошел туда, и мне сказали, что неизвестный умолял позвать меня, что он, по-видимому, совершенно опаматовался, хочет исповедаться и, действительно, он еле дышит и вряд ли доживет до утра. «Простите, — начал неизвестный в ответ на мое пастырское напутствие, — простите, преподобный отец, что я осмелился вводить вас в заблуждение. Я не монах Медардус, бежавший из вашего монастыря. Вы изволите видеть графа Викторина... Нет, не графа, а князя, ибо я князь по рождению, и советую вам это помнить, или вам не избежать моего гнева». — «Что граф, что князь», — ответил я. В этих стенах все едино, а в его нынешнем положении тем более, так что не лучше ли пренебречь бранным уделом и смиренно ожидать, как рассудит вечное Провиденье?

Он вперил в меня застывающий взор, как бы снова впадая в беспамятство, ему дали крепительные капли, он быстро очнулся и сказал: «Я чувствую, что умираю, и хотел бы снять с моего сердца тяжесть. Признаю вашу власть надо мной, и, как бы вы ни скрытничали, меня не проведешь; вы святой Антоний, и кому, как не вам, знать, какой вред от ваших эликсиров. Я собирался далеко пойти, когда вырядился в коричневую рясу монаха и запустил бороду. Но когда я обмозговывал свои начинания, мои затаенные мысли как бы покинули мое существо и оуклились в новой телесности, образовав жуткое, но такое же мое «я», как я сам. У моего второго «я» была зловещая сила, и она ниспровергла меня, но из черного камня в глубокой пропасти среди кипучих пенистых вод вышла принцесса, белая как снег. Она заключила меня в объятия, обмыла мои раны, и боль сразу же прошла. Так вот и стал я монахом, но «я» моих мыслей было сильнее и подстрекнуло меня убить мою спасительницу, мою возлюбленную принцессу, а с нею и ее брата. Меня ввергли в узилище, но вы сами, святой Антоний, знаете, как я выпил ваше проклятое зелье, а потом вы похитили меня и увлекли за собой по воздуху. Зеленый лесной царь гнушался мною, хотя и знал, что я князь; «я» моих мыслей напало на меня у него, взваливая на меня всякие безобразия, как будто мы с ним соучастники и не должны расставаться. Мы и не расставались, но вскоре нам пришлось бежать; нам грозили отрубить голову, и тогда между нами возникла распря. Когда мое второе потешное «я» сочло мои мысли своим вечным кормом, я сверг его, сильно избил и завладел его платьем».

На этом сколько-нибудь внятные речи несчастного пресеклись, дальше из уст его

вырывалось только убогое, почти нечленораздельное бормотание полного безумия. Часом позже, когда звонили к заутрене, он рванулся с пронзительным, отчаянным воплем и тут же рухнул мертвый, по крайней мере, мы так считали. Я распорядился перенести его в покойницкую, и мы собирались похоронить его на нашем кладбище, в освященной земле, но представь себе наше изумление и наш ужас: перед самыми похоронами трупа не оказалось на месте. Поиски ни к чему не привели, и я уже примирился с тем, что никогда не узнаю ничего достоверного о загадочном стечении обстоятельств, захлестнувших тебя и графа. В то же время, сопоставив подробности событий в замке, о которых я был хорошо осведомлен, с теми бессвязными речами, уродливыми недомолвками безумия, я не мог не прийти к выводу, что у нас в покойницкой действительно лежал граф Викторин. Графский конюх тоже проговорился, будто граф убил в горах какого-то капуцина-паломника, присвоив себе его рясу; ряса была нужна графу для его дальнейших походов в замке барона. Возможно, вопреки первоначальному умыслу, его бесчинства завершились убийством Евфимии и Гермогена. Может быть, он тронулся уже тогда, как утверждает Рейнгольд, или помешательство постигло его, когда он бежал, казнимый совестью. Платье, которое он носил, и убийство монаха обременили его психику навязчивой идеей, будто он монах и его «я» раздираемо схваткой двух противников. Впрочем, по-прежнему неизвестно, как он провел время между бегством из замка и появлением в лесничестве, так же как необъяснимо, откуда взялась история его пребывания в монастыре с вызволением из узилища. Очевидно, тут замешалось что-то внешнее, но ведь нельзя отрицать: его история основывается на твоей судьбе, хотя калечит и переиначивает ее. Однако, если лесничий не ошибается, называя время, когда безумец начал попадаться ему на глаза, то это время никак не вяжется с показаниями Рейнгольда, тоже называющего день, когда Викторин бежал из замка. Если верить лесничему, безумный Викторин появился в лесу одновременно со своим первым появлением в замке барона.

— Не продолжайте, — прервал я приора, — не продолжайте, преподобный отец мой; последняя надежда избыть греховный гнет, по вечному милосердию Божьему сподобиться благодати и вечного блаженства навсегда покинет мою душу, и в беспросветном отчаянье, проклиная себя и свою собственную жизнь, умру я, если — в глубочайшем раскаянье и самоуничуженье — не признаюсь вам чистосердечно, как на святой исповеди, во всем, что постигло меня, когда я покинул монастырь.

Приор был чрезвычайно изумлен, когда я, ни о чем не умалчивая, рассказал ему все, что произошло со мной.

— Я вынужден тебе верить, — сказал приор, — я вынужден тебе верить, брат Медардус, ибо, когда ты говорил, все свидетельствовало о неподдельности твоего раскаянья.

Кто бы мог проникнуть в тайну духовного родства, связующего двух братьев, двух сыновей преступного отца, когда оба они и сами преступники.

Теперь нет никаких сомнений в том, что Викторин чудом выжил и выбрался из пропасти, куда ты его отправил, он же — сумасшедший монах, жилец и нахлебник лесничего; он же твой двойник и твой преследователь, умерший здесь в монастыре. Темная сила вовлекла его в свою игру, закрадываясь в твою жизнь; нет, он тебе не равен, он только подставная фигура, преграждающая тебе путь, чтобы застит от твоего взора свет, иначе ты мог бы воспринять светлое в твоем уделе. Ах, брат Медардус, дьявол все еще мечется по земле, как неприкаянный, и прельщает каждого своими эликсирами.

Кто не наслаждался в своей жизни тем или иным адским зельем; однако такова воля Неба: изведав гибельное действие мгновенного обольщения, человек в ясном разумении обретает мощь, непреодолимую для лукавого. Провиденье Господне открывается в том, что жизнь в природе подтверждена отравой, а всеблагая нравственная доблесть засвидетельствована поражением зла. Я позволяю себе, Медардус, говорить с тобой откровенно, так как знаю, что превратное понимание с твоей стороны исключено. А теперь иди к братьям.

В это мгновение все мои жилы и нервы пронизала нестерпимая боль вожделеющей

всевластной любви; «Аврелия — ах, Аврелия!» — громко воскликнул я. Приор встал и сказал очень строго:

— Ты, наверное, заметил в монастыре приготовления к большому торжеству?.. Аврелия постригается завтра в монахини под именем «Розалия».

Я остолбенел; не отвечая ни слова, я продолжал стоять перед приором.

— Иди к братьям, — повторил он почти сердито, и, почти не помня себя, я спустился в трапезную, где собрались братья. На меня снова обрушилось множество вопросов, но я был не способен сказать хоть единое слово о моей жизни; все картины прошлого поблекли во мне, и только образ Аврелии явился в прежнем сиянии. Я сослался на урочное молитвенное бдение, под этим предлогом покинул братьев и отправился в часовню; она находилась на самом краю просторного монастырского сада. Здесь я хотел помолиться, но легчайший трепет листьев, чуть слышный шелест в аллее рассеивал мое молитвенное настроение. «Это она... она идет... я увижу ее!» — все восклицало во мне, и сердце мое ныло в страхе и восхищении. До меня донесся тихий говор. Я собрался с духом, вышел из капеллы, и что же? Неподдалеку от меня проходили две монахини и с ними послушница.

Ах, конечно, это была Аврелия — по мне пробежал судорожный трепет — я не мог вздохнуть — я устремился было вперед, но мне отказали ноги, и я поник на землю. Монахини вместе с послушницей углубились в кусты. Что за день! Что за ночь! Аврелия... только она одна... никакой другой образ... никакая другая мысль не посетила мою душу.

С первыми утренними лучами монастырские колокола возвестили торжество пострижения, и вскоре братья собрались в большом зале; вошла настоятельница в сопровождении двух сестер. Неопишное чувство пронизало меня, когда я снова узрел ее, так нежно любившую моего отца, хотя он святотатственной силой своего нечестия расторг узы предстоящего ему высочайшего земного счастья, чтобы она перенесла на сына склонность к отцу, разрушившему ее счастье. Она хотела воспитать в сыне добродетель и праведность, но, подобно отцу, сын приумножал свои злодеяния, перечеркивал надежды своей набожной приемной матери, уповавшей на добродетель сына в чаянье спасти преступного отца от вечной гибели.

С поникшей головой, устремляя взоры долу, внял я краткой речи, в которой настоятельница еще раз возвестила собравшемуся духовенству о поступлении Аврелии в монастырь и призвала усерднее молиться в решающее мгновение, когда произносится обет, дабы враг рода человеческого утратил силу совращать и мучить праведную деву своими возмутительными домогательствами.

— Мучительны, — говорила настоятельница, — мучительны были испытания, перенесенные девицей. Супостат силился прельстить ее и пустил в ход все одуряющие уловки, ведомые аду, чтобы она нечаянно пала, а потом, опамятавшись, погибла в отчаянье своего позора. Однако небесное дитя спаслось под покровом вечного Провиденья, и если враг отважится снова губительно подольститься к ней, она восторжествует над ним с большею славой. Молитесь, молитесь, мои братья, но не о том, чтобы Христова невеста осталась верна своему призванию, ибо она всем существом своим стойко и незыблемо привержена Небу, нет, молитесь о том, чтобы некое земное нечестие не помешало праведному священнодействию. Боязнь одолевает мою душу, ничего не могу с собой поделать!

Не приходилось сомневаться в том, что настоятельница имела в виду меня, одного меня, когда говорила о супостате-искусителе. Она явно подозревала, что я по-прежнему преследую Аврелию и намерен помешать постригу или омрачить его каким-нибудь кощунственным посягательством. Я противопоставлял ее подозрениям уверенность в неподдельности моего искупительного покаяния, мое преображенное существо. Настоятельница не сообразовала даже взглянуть на меня, и в моей уязвленной душе заклокотала та едкая уничтожающая ненависть, которую там, в резиденции, вызывала во мне княгиня, и вместо того, чтобы повергнуться перед ней во прах, прежде чем настоятельница произнесет те слова, я был не прочь дерзко и вызывающе предстать перед нею и сказать:

— Всегда ли ты была такою неземною праведницей, пренебрегающей земными

вожделениями? Когда ты смотрела на моего отца, неужели ты настолько блюла себя, что ни единый греховный помысел тебя не коснулся?.. А скажи-ка, тогда, когда ты была уже удостоена митры и посоха, не обманывали ли твою бдительность мгновения, вызывающие в твоей душе образ моего отца и с ним жажду земных радостей? А помнит ли твоя гордыня, что ты чувствовала, когда сердце твое льнуло к сыну твоего возлюбленного и с таким страданием выкрикнула ты имя погибшего, хоть он и был греховодник и святотатец? А боролась ли ты когда-нибудь с темной силой, как я? Радовала ли тебя истинная победа, если ей не предшествовала жестокая битва? Настолько ли ты сама непреклонна, чтобы уличить того, кто, сломленный могущественнейшим врагом, снова вознесся в глубоком сокрушении и покаянии?

По-видимому, даже в моей внешности проявилось разительное изменение моих помыслов, когда покаяние вдруг обернулось гордостью за выигранную битву и завоеванную жизнь. Брат, стоявший рядом со мной, вдруг спросил меня:

— Что с тобой, Медардус, почему с таким гневом взираешь ты на возвышенную праведницу?

— Да, — ответил я вполголоса, — поистине она возвышенная, ибо всегда была высокопоставленной, и ничто мирское никогда не затрагивало ее, но сейчас я не вижу в ней ничего христианского... Не языческая ли жрица обнажила нож, готовясь к закланию человеческой жертвы?

Мне самому непостижимо, как вырвались у меня последние слова, вторгшиеся откуда-то из-за пределов моего умозрения, но они возбудили во мне пеструю толчею разрозненных образов, соединившихся лишь в ужасном видении.

И Аврелия обречена покинуть мир, и она произнесет, как я, обет, отсекающий все земное и казавшийся мне в этот миг лишь выбросом религиозного безумия. Как прежде, когда, заложник сатаны, мнил я узреть в грехе и святотатстве сияющий зенит жизни, так теперь я воображал, что мы оба, я и Аврелия, хоть на миг сочетаемся в беспредельном земном упоении, и пусть мы потом погибнем, обреченные подземным силам... Как отвратительный дракон, как сам сатана, заползла мне в душу мысль об убийстве! Ах, я, слепец, упустил из виду, что, относя на свой счет слова настоятельницы, я навлек на себя суровейшее испытание, признал над собою власть сатаны и тот склоняет меня к наихудшему из мною совершенного! Брат, говоривший со мною, смотрел на меня в ужасе.

— Ради Господа Христа и Пресвятой Девы, что значат ваши слова? — еле выговорил он; я же вперил взор в настоятельницу; она намеревалась удалиться, но взглянула на меня и, смертельно бледная, продолжала смотреть неотступно; она пошатнулась и оперлась на подоспевших монахинь. Казалось, мой слух улавливает слова, замирающие у нее на устах: «О вы, все святые! Так оно и есть!»

Вскоре после этого она пожелала свидеться с приором Леонардусом. Уже снова звонили все монастырские колокола, к ним присоединилось громовое звучание органа и благоговейные голоса поющих сестер, когда приор снова вошел в залу. Братья разных орденов торжественно шествовали в храм, переполненный, как это бывало разве что в день святого Бернарда. Сбоку от главного алтаря, украшенного благоуханными розами, расставлены были высокие кресла для духовенства, а напротив, на хорах, епископская капелла приготовилась участвовать в богослужении, которое отправлял сам епископ. Леонардус подозвал меня к себе; я заметил, как настороженно наблюдает он за мной; ни одно мое движение не ускользало от его внимания; он поручил мне непрерывно читать мой требник. Сестры из монастыря святой Клары собрались за низенькой решеткой у алтарного иконостаса; приближалось решающее мгновение; из дальних обительских покоев через решетчатые двери за алтарем цистерцианки ввели Аврелию.

Шепот пронесся по церкви, когда присутствующие увидели ее; орган затих, и простое песнопение монахинь зазвучало, трогая душу чудными аккордами. Я все еще не смел взглянуть, подавленный пугливой робостью, я судорожно вздрогнул и уронил требник. Я нагнулся, чтобы поднять его, но внезапная дурнота едва не сбросила меня с моего высокого

кресла, и Леонардусу пришлось поддержать меня.

— Что с тобой, Медардус? — тихо сказал приор. — Твое возбуждение неуместно; отгони супостата, смущающего тебя.

Я собрал все свои силы, чтобы отважиться на взгляд, явивший мне Аврелию; она преклонила колени перед алтарным иконостасом. Творец Небесный! Она вся светилась, ненаглядная, прекрасная как никогда! Она была в подвенечном платье — ах! как в тот роковой день, когда она должна была стать моею. Цветы мирта и розы в тщательно убранных волосах! Благоговение, торжественность момента придавали краску ее ланитам, а во взоре, устремленном к небу, выражалось небесное блаженство. Разве могли сравниться мгновения, когда я увидел Аврелию впервые, а потом встретил ее при княжеском дворе, с нынешним восхищением! Исступленнее прежнего вспыхнула во мне любовь — неистовое желание.

«О Господи, о вы, все святые! Не попустите меня сойти с ума — избавьте меня, избавьте от этого адского истязания! Только отведите от меня безумие; иначе я ужасну самого себя своим деянием и обреку мою душу вечной гибели!»

Так я молился про себя, ибо я чувствовал, как упрочивается господство злого духа надо мной.

Мне казалось, будто Аврелия подстрекает меня к преступлению, мной совершаемому, будто, готовясь произнести монашеский обет, она в мыслях своих перед алтарем Господа клятвенно и торжественно предается мне. Не Христову невесту, а преступную подругу преступного монаха-расстриги видел я в ней. Обнять ее в исступлении бешеной похоти, а потом умертвить ее — вот мысль, неумолимо овладевавшая мною! Злой дух обуревал меня все неистовей и неистовей; я уже готов был крикнуть: «Остановитесь, вы, ослепленные межеумки! Какая же она девственница, она ли чиста от земных вожделений! Невесту монаха объявляете вы невестой Царя Небесного!» Крикнуть — растолкать монахинь — схватить ее... я тормозил мою рясу, я искал нож, однако обряд не прекращался, и Аврелия начала произносить обет.

Когда я услышал ее голос, он стал для меня нежным лунным сиянием, пробившимся сквозь черные, дикие, гроззовые тучи. Свет сказался во мне, и я узнал злого духа, изо всех сил давая ему отпор.

Каждое слово Аврелии укрепляло меня, и скоро я восторжествовал в яростной битве. Отлетели черные святотатственные помыслы, стихла буря земных желаний.

Аврелия была праведной невестой Царя Небесного, и ее молитва могла спасти меня от вечного поругания и казни.

Ее обет утешил меня, возвращая надежду, и светло распространилась во мне ясность небесная. Тут я вновь обратил внимание на Леонардуса, воспринявшего мое сокровенное преобразование, ибо мягко сказал он мне:

— Ты устоял перед супостатом, сын мой! Вечное Провиденье подвергло тебя последнему тяжкому испытанию!

Обет был произнесен; сестры святой Клары запели антифоны, оставалось только возложить на плечи Аврелии монашеское облачение. Уже волосы ее были освобождены от миртов и роз, уже готовы были остричь ее длинные волнистые локоны, когда в церкви что-то произошло... я видел, как люди теснились и даже падали на пол... приближался некий смерч. Неистовствуя, с диким, ужасным взором сквозь толпу проталкивался полуголый человек (лохмотья свисали с его плеч, напоминая прежнюю рясу капуцина); он яростно работал кулаками. Я узнал моего отвратительного двойника и бросился ему навстречу, угадав его ужасное намерение, но в этот миг бесноватый оборотень перемахнул через преграду, отделявшую его от алтаря. Монахини с воплем кинулись врассыпную, настоятельница заключила Аврелию в объятия.

— Ха-ха-ха! — надрывался бесноватый с подвыванием. — Хотите отнять у меня принцессу? Принцесса — моя невесточка, моя невесточка!

Он вырвал Аврелию из объятий настоятельницы и по самый черенок вонзил ей в грудь

нож, которым размахивал; кровь так и захлестала.

— Ух! Ух! Ух! теперь невесточка моя! Я завоевал-таки принцессу! — так орал бесноватый; он прыгнул за иконостас, юркнул в решетчатую дверь и пропал в монастырских коридорах. Монахини визжали в ужасе.

— Караул! Убийство! Убийство у алтаря Божьего, — кричал народ, напирая на алтарь.

— Задержите убийцу! Стерегите все выходы из монастыря! — громко крикнул Леонардус; люди бросились выполнять его распоряжение, и монахи, не обиженные силой, вооружились древками хоругвей и бросились в погоню за оборотнем по монастырским коридорам. Все разыгралось в одно мгновение; я опустился на колени подле Аврелии, а монахини, кое-как перевязав ее рану белыми платками, приводили в чувство настоятельницу. Зычный голос произнес поблизости:

— Sancta Rosalia, ora pro nobis! ¹⁴

Народ в церкви громогласно откликнулся:

— Чудо! Чудо! Воистину она мученица! Sancta Rosalia, ora pro nobis!

Я поднял глаза и увидел старого живописца. Он уже приблизился ко мне, величественный, но ласковый, как тогда в тюрьме. Смерть Аврелии не вызвала во мне земной скорби, явление живописца не повергло меня в ужас, ибо в моей душе светало и распутывались таинственные силки, расставленные ловчими мрака.

— Чудо! чудо! — все еще кричал народ. — Видите старца в фиолетовом плаще? Он сошел с алтарного иконостаса... Я сам видел... и я... и я... — перебивали друг друга голоса, и вот уже народ повергся на колени, и смутный говор, перебродив, как бы вскипел молитвенным хором, прерываемым всхлипами и рыданиями. Настоятельница пришла в себя и сказала голосом глубокой сокрушающей скорби, проникающей до самых глубин человеческого сердца:

— Аврелия!.. дитя мое... праведная дочь моя... Боже праведный... такова Твоя воля!

Принесли носилки; на них были разостланы одеяла и лежали подушки. Когда Аврелию подняли, она глубоко вздохнула и открыла глаза. Живописец стоял у нее в изголовье, он коснулся ее лба. От живописца так и веяло могучей святостью, и все, не исключая самой настоятельницы, взирали на него с необъяснимым трепетным благоговением.

Я преклонил колени вблизи носилок. Я почувствовал на себе взгляд Аврелии, и мною овладела глубокая скорбь о ее мученической кончине. Я не мог выговорить ни слова, и только глухой крик вырвался из моей груди. Тогда Аврелия сказала нежно и тихо:

— Зачем ты оплакиваешь ту, кого вечное небесное Провиденье избавило от земного как раз тогда, когда она пренебрегла мирским ничтожеством и когда неизбывная тоска по царству вечной радости и блаженства стеснила ей грудь?

Я встал, я подошел вплотную к носилкам.

— Аврелия, — сказал я, — святая дева! На одно мгновение низведи свой взор ко мне из высших сфер, иначе я погибну в сомнении, грызущем душу мою и мое сокровенное существо. Аврелия! Ненавистен ли тебе преступник, злым супостатом вторгшийся в твою жизнь? Ах! тяжело было его покаяние, но он знает, что его грехи непомерны и неискупимы. Аврелия! Примирит ли тебя с ним хотя бы смерть?

Как будто ангельские крыла коснулись Аврелии; она улыбнулась и смежила очи.

— О Спаситель мира! О Приснодева! Значит, я лишен утешения, лишен упования? Помилуйте! Избавьте меня от адской гибели!

Я пламенно молился, и Аврелия снова открыла глаза со словами:

— Медардус! Ты уступил злой силе, а я-то разве не согрешила, не запятнала себя желаньем обрести земное счастье в преступной любви? Вечное Провиденье обрекло нас искупать святотатственные бесчинства нашего преступного рода, и нас с тобою сочетала любовь, которая превыше звезд и брезгует земными вожделеньями. Но коварный супостат

¹⁴ Святая Розалия, молись за нас! (лат.).

ухитрился утаить от нас глубокий смысл нашей любви, и ужасен был обман, заставивший нас подменить небесное земным. Ах! разве не я первая призналась тебе в любви на исповеди и вместо помысла о вечном распалила тебя адским пылом, и ты так изнывал от него, что вздумал его утолить преступленьем? Мужайся, Медардус! Бесноватый олух совращен злым супостатом, вот он и вообразил себя тобою, как будто выполняет он то, что ты замыслил, а он лишь орудие Неба и вершит Его волю. Мужайся, Медардус! Скоро, скоро...

Очи Аврелии уже смежились, и было слышно, как трудно говорить ей; она потеряла сознание, но это еще не была смерть.

— Она исповедалась вам, преподобный отец? Она исповедалась вам? — спрашивали меня монахини с любопытством.

— Мне ли исповедовать ее, — ответил я. — Не я, она утолила скорбь моей души небесным упованьем.

— Благо тебе, Медардус, время твоих испытаний скоро истечет; благо и мне тогда!

Это были слова живописца. Я обратился к нему:

— Сопутствуй же мне, чудотворный!

Не знаю, что со мною случилось; я продолжал говорить и погрузился в какое-то забытье; я не спал, но и не бодрствовал, к действительности меня вернули крики и вопли. Живописца я уже не увидел. Крестьяне... горожане... солдаты рвались в церковь и настаивали на позволении обыскать весь монастырь, схватить убийцу, где же ему еще быть, как не в монастыре. Настоятельница, резонно опасаясь неурядиц, возражала, но даже ее авторитет не мог умиротворить горячие головы. Ее корили, она, мол, прячет убийцу, как-никак он монах; вот она и осторожничает, а толпа напирала, и народ мог вот-вот взломать монастырские ворота. Тогда на кафедру взшел Леонардус; он сперва предостерег народ кратко, но энергично от посягательства на святое место, а потом поведал, что убийца никакой не монах, а сумасшедший; его пользовали в монастыре, вот откуда у него монашеская ряса; когда его сочли мертвым, то в этой рясе отнесли его в покойницу; он ожил и скрылся. Если он еще в монастыре, то приняты достаточные меры для его задержания. Успокоенный народ потребовал только, чтобы Аврелию переносили в монастырь не по коридорам, а по двору в торжественном шествии. Это желание народа было удовлетворено.

Перепуганные инокини подняли носилки, усыпанные розами. Сразу же вслед за носилками, над которыми четыре монахини держали балдахин, шла настоятельница; ее вели под руки две сестры; за нею шли остальные, с ними сестры святой Клары; далее монахи различных орденов; к ним присоединился народ, так двигалось шествие. Сестра органистка, вероятно, вернулась на хоры, и сумрачно-глубокие, гулкие звуки органа прокатились по церкви, когда носилки достигли ее средоточия. Но вот Аврелия медленно приподнялась, молитвенно воздела руки к небу, и снова народ упал на колени с возгласами: «Sancta Rosalia, ora pro nobis».

Так оказался пророческим возглас, вырвавшийся у меня в глумливом притворстве, когда я впервые увидел Аврелию и кривлялся в сатанинском ослеплении.

Когда монахини установили носилки в нижней зале монастыря, когда сестры и братья образовали вокруг них молитвенный круг, Аврелия с тихим вздохом поникла на руки настоятельнице, преклонившей колени подле нее.

Аврелия была мертва!

Народ не отходил от монастырских врат, и, когда колокола возвестили кончину благочестивой девы, никто не мог сдержать рыданий и скорбных воплей. Многие дали обет не возвращаться домой до ее погребения, не покидая деревни и все это время держа строгий пост. Слух об ужасном злодеянии и о новомученице, невесте Царя Небесного, быстро распространился, и погребение Аврелии, состоявшееся через четыре дня, напоминало торжественную канонизацию. Уже накануне луг перед монастырем, как в день святого Бернарда, был заполнен народом; лежа на земле, люди ждали утра. Правда, не было веселой суеты; слышались только благочестивые вздохи и молитвенное бормотание. Из уст в уста переходил рассказ об ужасном злодеянии у церковного алтаря, и если иногда прорывался

громкий голос, то для того только, чтобы проклясть убийцу; на след его, впрочем, таки не удалось напасть.

Более целительными для моей души, нежели продолжительные суровые епитимьи в монастыре капуцинов под Римом, оказались эти четыре дня, проведенные мною большей частью в уединении садовой капеллы. Последние слова Аврелии раскрыли мне тайну моих грехов, и я понял, что ни врожденная сила, ни доблесть, ни набожность не придали мне мужества, и, как малодушный трус, уступал я сатане, бережно лелеявшему преступное дерево, дабы оно произрастало и ветвилось. Семя зла едва прозябло во мне, когда я увидел сестру регента, и преступная гордыня дала себя знать, но сатана разыграл меня, подсудобив эликсир, и проклятое зелье взбудоражило мою кровь. Я пренебрег спасительными предостережениями неведомого живописца, приора, настоятельницы. Аврелия посетила меня в исповедальне, и во мне пробудился законченный преступник. Как физический недуг, вызванный отравой, грех разразился во мне. Как мог заложник сатаны постигнуть символ вечной любви, узы, по воле Неба сочетающие меня и Аврелию?

Злорадно сковал меня сатана одной цепью с преступным извергом, и мое «я» вторглось в его существо, а он в свою очередь влиял на меня духовно. Его мнимую смерть — по всей вероятности, обманчивую уловку сатаны — я приписал себе, что приобщило меня к мысли об убийстве, сопутствующем дьявольскому мороченью. Мой брат, зачатый в преступном нечестии, превратился в моего дьявольского сподвижника; он ввергал меня в чудовищнейшие гнусности и подвергал потом невыносимым страданиям, заставляя метаться в мучительной неприкаянности. Пока Аврелия не произнесла свой обет по воле вечного Провиденья, греховная скверна еще присутствовала во мне, и супостат еще мог помыкать мною, но чудотворный внутренний покой, умиротворяющим излучением снизошедший на меня, когда Аврелия изрекла свои последние слова, убедил меня, что смерть Аврелии возвещает мне отпущение грехов. Когда в торжественном реквиеме хор пел: «*Confutatis maledictis flammis acribus addictis*»¹⁵, я воспарил духом, но при словах «*Voca me cum benedictis*»¹⁶ я как бы воочию узрел Аврелию в сиянии небесного солнца, и ее глава, венчанная звездами, поднялась к Высшему Существо с мольбою о вечном спасении моей души.

— *Oro supplex et acclinis cor contritum quasi cinis*¹⁷.

Я упал ниц во прах, но как мало походило мое внутреннее чувство и моя смиренная молитва на страстное самоуничтожение суровой, иступленной епитимьи в монастыре капуцинов. Только теперь обрел мой дух способность отличать истинное от ложного, и при таком ясном сознании супостат напрасно бы пытался прельстить меня.

Не сама смерть Аврелии, а ее отвратительные, ужасные внешние обстоятельства глубоко потрясли меня, но потом я уразумел, что по милости вечного Провидения она вынесла невыносимое!.. Мученичество безупречной Христовой невесты вне греха!

Да разве она покинула меня? Нет! Лишь теперь, когда она удалена от страдальческой земли, стала она для меня пречистым сиянием вечной любви, пламенеющей в груди моей. Да! Смерть Аврелии стала священнодействием той любви, которая, по ее словам, превыше звезд и брезгует земным.

Эти помыслы возносили меня над мою земную оболочку, и в те дни в цистерцианском монастыре я впервые вкусил истинное блаженство.

На следующее утро Леонардус и другие наши братья собирались возвращаться в город, а мне перед самым отбытием передали приглашение зайти к настоятельнице. Я застал ее

¹⁵ Богом проклятый, презренный, схвачен огненной геенной (лат.).

¹⁶ Ты приемлешь дух блаженный (лат.).

¹⁷ И под гнетом дух смиренный молит Бога, сокровенный (лат.).

одну в келье, и никогда я не видел ее такой взволнованной; слезы хлынули у нее из глаз:

— Все, все знаю я теперь, Медардус, сын мой! Да, я снова тебя так называю, ибо ты выдержал все испытания, обрушившиеся на тебя, несчастного, беззащитного! Ах, Медардус, только она, только она, наша молитвенница перед престолом Господним, непорочна и безгрешна! Разве не стояла я у края пропасти, когда, помышляя лишь о земном наслаждении, готова была связать свою жизнь с убийцей? А потом! Сын мой Медардус, преступные слезы проливали я в моей уединенной келье, вспоминая твоего отца!.. Иди, сын мой Медардус! Покончено с помыслами, укорявшими меня в том, что я, быть может, усугубила свою вину, воспитав тебя преступнейшим грешником.

Леонардус, очевидно, открывший настоятельнице все в моей жизни, дотоле неведомое ей, относился ко мне так, что я чувствовал себя прощенным; теперь он явно вверил меня грядущему суду Всевышнего. В монастыре все шло прежним чередом, и я воссоединился с братией, как будто никогда не покидал ее. Однажды Леонардус сказал мне:

— Я хотел бы, брат Медардус, чтобы ты покался еще одним способом.

Я смущенно осведомился, что это за способ.

— Тебе надлежит, — ответил приор, — написать точную историю твоей жизни. Ты не должен умалчивать ни об одном сколько-нибудь примечательном происшествии; описывай даже мелочи, словом, все, что коснулось тебя в мирской пестроте. Мысленно ты снова возвратишься в мир; ты вновь изведешь все ужасное, потешное, жуткое и забавное; иной раз и Аврелия представится тебе не как монахиня Розалия, претерпевшая мучительство, но если злой дух окончательно тобою изгнан, если ты окончательно пренебрег земным, ты вознесешься над преходящим, как некое высшее начало, и от прежнего впечатления не останется следа.

Я исполнил волю приора! Ах! Все получилось, как он предрекал!

Боль и блаженство, содроганье и отрада, ужас и восхищенье буйствовали во мне, когда я описывал мою жизнь.

О ты, прочитавший однажды эти листы, я говорил тебе о пламенеющем солнце любви, когда образ Аврелии возник во мне, напомнив кипучую жизнь!

Земное упоение — не самое высшее в жизни; обычно оно причиняет гибель безрассудному легкомысленному смертному; истинное превысшеннее солнце, далекое от помыслов греховного вождения, — возлюбленная в небесном сиянии, возжигающая у тебя в груди то высшее, что излучается благословенным царством любви, ты, бедный земнородный!

Эта мысль услаждала меня, когда при воспоминании о прекраснейших мгновениях, подаренных мне миром, горячие слезы текли из моих глаз и все давно зарубцевавшиеся раны снова кровоточили.

Я знаю, что, быть может, лукавому дано будет помучить грешного монаха при смерти, но стойко, с пламенным нетерпением ожидаю я мгновения, которое разлучит меня с землею, ибо в это мгновение сбудется все, что возвестила мне Аврелия, ах! сама святая Розалия, умирая. Молись же, молись за меня, о Святая Дева, в тот мрачный час, чтобы адская власть, помыкавшая мною так часто, не подавила меня и не увлекла в омут вечного проклятия!

Послесловие отца Спиридона, библиотекаря в монастыре капуцинов, что в Б.

В ночь с третьего на четвертое сентября 17.. года в нашем монастыре произошло много необычного. Где-нибудь в полночь я услышал в келье брата Медардуса (она была рядом с моей) страшное хихиканье, смешки и при этом глухое всхлипывающее оханье. Мне довольно отчетливо послышалось, будто противный, на редкость отталкивающий голос бормочет слова: «Пойдем со мной, братец Медардус, пойдем искать невесту!» Я встал и хотел навестить брата Медардуса, но вдруг на меня напала неизъяснимая жуть; все мои члены сотрясал сильнейший озноб, как в лихорадке, и я отправился не в келью Медардуса, а прямо к приору Леонардусу, разбудил его, что удалось не сразу, и поведал ему о слышанном.

Приор премного испугался, вскочил с постели и послал меня за освященными свечами, чтобы потом отправиться вдвоем к брату Медардусу. Я сделал, как приказано, затеплил свечи в коридоре от лампы Божьей матери, и мы поднялись по лестнице. Сколько мы ни прислушивались, жуткий голос, послышавшийся мне, молчал. Вместо него мы услышали тихие, сладостные звоны, и как будто тонко заблагоухало розами. Мы приблизились, дверь в келью открылась, и оттуда вышел высокий муж чудного вида с белой вьющейся бородой в фиолетовом плаще; я очень испугался, так как знал, что перед нами опасный морок, ибо монастырские ворота крепко заперты и для посторонних в монастырь нет доступа, однако Леонардус взирал на него смело, хотя и молча. «Срок свершения близится», — глухо и торжественно возвестил призрак, исчезая в темном коридоре, так что моя робость усилилась и моя трепещущая рука готова была выпустить горящую свечу. Однако приор, слишком благочестивый и верующий для того, чтобы придавать особое значение призракам, взял меня за руку и сказал: «Теперь нам следует войти в келью брата Медардуса». Я повиновался. С некоторого времени брат Медардус был очень слаб, а теперь он лежал, умирающий, уже не ворочая языком, только хрипел чуть слышно. Леонардус остался при нем, а я разбудил братьев, зазвонив сильно в колокол и громко крича: «Вставайте! Вставайте! Брат Медардус умирает!» Все действительно встали, и никто не отсутствовал, когда мы с зажженными свечами пошли в келью умирающего брата. Все, как и я, преодолевший первоначальную боязнь, весьма удручены были горестью. Мы отнесли брата Медардуса на носилках в монастырскую церковь и положили его перед главным алтарем. Тут он, к нашему удивлению, пришел в себя и начал говорить, так что Леонардус исповедовал его самолично, соборовал и помазал елеем. Леонардус продолжал беседовать с братом Медардусом, а мы пошли на хоры и приступили к заповеданным песнопениям, дабы спаслась душа умирающего брата. На другой день, а именно 5 сентября 17.. года, когда колокол пробил в полдень двенадцать, брат Медардус почил на руках у приора. Мы вспомнили, что того же числа в тот же час в прошлом году, едва она произнесла свой обет, была злодейски убита монахиня Розалия. При реквиеме же и при выносе произошло следующее. А именно при реквиеме вся церковь наполнилась усиливающимся благоуханием роз, и мы заметили: на прекрасной иконе святой Розалии (она писана очень старым, неизвестным итальянским мастером и приобретена нашим монастырем у капуцинов Римской области, за крупную сумму, так что они оставили себе копию), на сей-то прекрасной иконе был букет роз, уже редких в это время года. Брат привратник сказал, что ранним утром оборванный нищий весьма убогого вида заглянул в церковь, незамеченный, и преподнес этот букет иконе. Этот же нищий оказался в храме при выносе, присоединившись к братьям. Мы хотели удалить его, но приор Леонардус, присмотревшись, велел оставить нищего в покое. Он принял его послушником в монастырь; мы называли его брат Петр, так как в миру его имя было Петер Шёнфельд; мы не отказали ему в столь гордом имени, так как он отличался добротой и тихой покладистостью, был скуп на слова и разве только время от времени смеялся так заразительно, что нам это нравилось, поскольку в смехе его мы не находили ничего греховного. Приор Леонардус однажды изрек, что внутренний свет нашего Петра померк в испарениях скоморошества, а скоморошеством обернулась в его душе ирония самой жизни. До нас не дошло, что имел в виду ученый Леонардус, но мы подумали, что не иначе как он знал нынешнего послушника Петра задолго до его появления в монастыре.

Так я к листам, содержащим жизнеописание брата Медардуса, не читая оных листов, не без труда присовокупил, *ad maiorem dei gloriam* ¹⁸, обстоятельную хронику его преставления. Мир и покой усопшему брату Медардусу; да сподобит его Царь Небесный отрадного воскресения и да причислит его к лику святых мужей, ибо смертью своей он явил настоящую праведность.

¹⁸ к вящей славе Господней (лат.).

Комментарии

Гофман называл «Эликсиры дьявола» романом особого рода. Первая часть его вышла в свет отдельным изданием в сентябре 1815, вторая — в середине мая 1816 года. Гофману не без труда удалось найти издателей для нового сочинения, что объяснялось не просто стечением неблагоприятных обстоятельств, но и, в значительной степени, особенностями самого романа.

В «Эликсирах дьявола» сосредоточились и причудливо переплелись как раз те тенденции в творчестве Гофмана, которые настораживали и даже шокировали современников. О произведениях Гофмана, как известно, неодобрительно высказывались Гете, Гегель, Людвиг Тик. Очевидно, это объяснялось не просто фантастическими мотивами, достаточно распространенными в тогдашней литературе, — с подобной точки зрения роман Гофмана не был из ряда вон выходящим явлением. Гофман откровенно использует здесь фабулу и сюжетные ходы романа «Амброзио, или Монах» английского писателя Мэтью Грегори Льюиса (Лондон, 1795). Немецкий перевод романа вышел в Лейпциге в 1797 году, и Гофман прямо-таки ссылается на него: в «Эликсирах дьявола» этот роман читает Аврелия. Нетрудно уловить у Гофмана также отголоски «Романса о розарии» (этот неоконченный стихотворный роман Клеменса Брентано называют католическим «Фаустом»), Встречаются и отчетливые переключки с «Учениками в Саисе» и «Генрихом фон Офтердингеном» Новалиса. Если бы Гофман написал просто страшную сказку или роман ужасов, у него, по всей вероятности, было бы меньше затруднений с изданием этого произведения. Видимо, издателей и последующих критиков настораживал и даже пугал именно своеобразный реализм романа.

Гофман всегда отличался вкусом к точной жизненной детали, выписанной нередко со скрупулезной, почти натуралистической выпуклостью. Княжеская резиденция в романе определенно напоминала современникам веймарский двор, имитирующий в миниатюре замашки просвещенного абсолютизма. Да и судьба Медардуса, при всех ее демонических перипетиях, остается судьбой одаренного, но безродного молодого человека, пытающегося любой ценой утвердить себя в аристократическом обществе. В этом смысле Медардус — прямой предшественник стендалевского Жюльена Сореля, также избирающего для себя церковную карьеру за невозможностью всякой другой; Медардус предвосхищает и некоторые черты бальзаковских героев, Люсьена Шардона и даже Растиньяка, не говоря уже о «Подростке» Достоевского. Вместе с тем было бы упрощением видеть в «Эликсирах дьявола» нравоописательный роман, лишь для интереса приправленный экскурсами в мистическое и сверхъестественное.

Прежде всего, сверхъестественное основывается на безупречно реалистических мотивировках. Психопатологическая линия в «Эликсирах дьявола» прослеживается с наблюдательностью, достойной психиатра. «Эликсиры дьявола» — это не только страшное родовое наследие, но и роковая наследственность, вторгающаяся в жизнь отдаленных потомков и помыкающая ими помимо их воли. Мотив генетического фатума найдет дальнейшую разработку в литературе, начиная от произведений Эмиля Золя до Уильяма Фолкнера. Именно зловещий натурализм привлекал к этому роману Гофмана широкого читателя и отвращал утонченных ценителей, не позволяя признать себя безобидной фантастикой и непреклонно обнажая то темное в человеческой душе, что веймарский классицизм старательно замалчивал. Однако Гофман, в отличие от своих последователей и продолжателей, не ограничивается устрашающей историей болезни, его поэтическая философия идет дальше. Гофман вводит в новейшую литературу тему двойника, подхваченную и тщательно разработанную Достоевским. Для Гофмана человек свят в своей уникальности, в своей неповторимости, даже если это неповторимость «преступления и наказания». Трагическая вина Медардуса и Викторина в том, что они непрерывно

присваивают, узурпируют личность и судьбу друг друга. В этом они верны своему предку, художнику Франческо, попытавшемуся превратить святую Розалию в двойника богини Венеры и погрешившему тем самым и против богини, и против святой. Для Гофмана преступно и греховно подражание, дублирование, имитация, как в творчестве, так и в собственной судьбе. Череда хищнических раздвоений виртуозно вплетена в художественную ткань романа, обнаруживаясь в лейтмотивах и зеркальных повторах. Перед нами двойник-лазутчик того безликого легиона, которым назвался бес, непрерывно раздваивающийся и, согласно Евангелию, увлекающий в бездну свиное стадо. Характерно, что искупительницей преступного рода выступает в романе Аврелия-Розалия, истинная красота, спасающая мир.

Под названием «Эликсир сатаны» роман впервые вышел на русском языке в 1897 году, в переводе В. Л. Ранцова. Затем, в 1984 году, «Эликсиры сатаны» вышли в серии «Литературные памятники» в переводе Н. А. Славятинского. В настоящем издании вниманию читателей предлагается третий перевод романа.

...в монастыре капуцинов близ Б... — Речь идет о Бамберге, в окрестностях которого находился монастырь капуцинов. Гофман посетил этот монастырь в 1812 г., и монашеская жизнь и католический ритуал произвели на него большое впечатление, во многом предопределив замысел романа. Гофман встретился там со старым монахом по имени Кирилл, которого можно до известной степени рассматривать как прототип отца Кирилла в романе.

Монашеский орден капуцинов отделился от ордена францисканцев в 1528 г. Название происходит от длинного капюшона, пришитого к темно-коричневой рясе (облачение капуцинов). Другим отличительным признаком капуцина была окладистая борода. Подобно францисканцам, капуцины имели дело преимущественно с беднейшими слоями городского и сельского населения. Они занимались также дипломатической деятельностью, представляя интересы католической церкви и князей.

Святая Липа — монастырь в Восточной Пруссии, вблизи Кёнигсберга. Название происходит от липы, на которой держалось изваяние Девы Марии, считавшееся чудотворным. Около 1400 г. вокруг липы была возведена часовня, разрушенная во время Реформации и восстановленная в 1619 г. В XVIII в. часовня стала монастырской церковью, где имелось деревянное подобие старой липы со статуей Мадонны, а у наружной стены тоже была статуя Мадонны — на каменном стволе, увенчанном железной листвой. Гофман, вероятно, почерпнул сведения об этом монастыре из трагедии Захарии Вернера «Крест на Остзее» (1806), к которой он написал музыку.

Святой Бернард — Бернард из Клерво (1090 — 1153), богослов, один из отцов католической церкви. Призывал духовенство к отказу от мирских богатств, выступал против папских притязаний на светскую власть, что нашло отражение в романе.

Святое семейство — Дева Мария и ее супруг Иосиф с младенцем Христом.

...в монастыре цистерцианок... — Орден цистерцианцев (цистерцианок) выделился из ордена бенедиктинцев в 1118 г. Основателем ордена был Бернард из Клерво, бывший аббатом монастыря Цистерциум близ Дижона во Франции (отсюда название). Орден отличался строгой дисциплиной и установкой на мистический аскетизм. В цистерцианских монастырях был особенно развит культ Девы Марии.

Праздник святого Бернарда — 20 августа, день смерти св. Бернарда из Клерво.

«Слава в вышних Богу!» — слова ангелов, возвещающих Рождество Христово (Лука, 2, 14). Включены в католическую мессу как песнопение.

...настоятельница в митре и с серебряным пастырским посохом. — Митра — высокий головной убор из белого шелка, усеянный драгоценными камнями, знак епископского достоинства, как и серебряный посох. Этих знаков удостаивались также особо чтимые настоятели и настоятельницы монастырей.

Я принял иноческое имя Медардус... — День святого Медардуса празднуется католической церковью 8 июня; учрежден в память святого Медардуса, епископа Саленси,

что в Пикардии. Имя «Медардус» в романе поэтически предопределяет особое отношение героя к святой Розалии, так как епископ Медард учредил праздник роз, которыми увенчивали достойнейшую девицу в епархии.

Житие святого Антония. — Святой Антоний (250 — 356) — отшельник из Египта, «отец монашества». По преданию, подвергался в пустыне многочисленным искушениям дьявола.

День святого Антония — 17 января.

...сам король Неаполитанский... — Один из анахронизмов, допущенных в романе, действие которого происходит предположительно в XVIII в. Королем Неаполитанским по воле Наполеона в 1808 г. был провозглашен маршал Иоахим Мюрат. Он распорядился в 1748 г. возобновить раскопки Помпей, погребенных извержением Везувия в 79 г. Во время раскопок были найдены также сосуды с вином, сохраняемые по древнеримскому обычаю примесью терпентина, однако за прошедшие века вино утратило свои качества.

Алтарь святой Розалии. — Святая Розалия, покровительница города Палермо, — отшельница, а не мученица; умерла в 1160 г. В окрестностях Палермо сохранилась пещера святой Розалии.

Цирцея (Кирка, греч. миф.) — волшебница, превратившая в стадо свиней спутников Одиссея, а его самого больше года удерживавшая на своем острове; коварная обольстительница.

Аргус (греч. миф.) — многоглазый великан, стерегущий по приказу богини Геры возлюбленную Зевса; бдительный страж.

...под императора Тита... — В XVIII и в нач. XIX в. в моде были прически под великих людей. Тит Флавий Веспасиан (39 — 81) — римский император.

Пьетро Белькампо — итальянский перевод имени и фамилии цирюльника («Шёнфельд» по-немецки — «прекрасное поле»). Так же обстоит дело и с фамилией Пунто (Пунто, и т., Штих, нем. — укол). Именем Джованни (Джакомо) Пунто назвался музыкант Иоганн Венцель (Ян Вацлав) Штих (ок. 1750 — 1803). Штих был крепостным графа Туна в Чехии, бежал от него и прославился как валторнист, дирижер и композитор.

Каракалла — римский император Марк Аврелий Север Антоний Август (186 — 217). Прослыл «солдатским императором». Прозвище «Каракалла» происходит от названия галльского плаща с капюшоном; император одел своих солдат в такие плащи.

Абеляр Пьер (1079 — 1142) — французский богослов и философ. В романе просматривается аналогия между вынужденным монашеством Абеляра и Медардуса.

Дамон, Орест — хрестоматийные примеры верной дружбы. Дружба Дамона и Финтия воспевается в балладе Шиллера «Порука», Орест и Пилад известны по трагедии Эсхила «Орестейя».

Агасфер — по средневековому сказанию, сапожник, не позволивший отдохнуть у своей двери Христу, когда Спаситель шел на Голгофу, изнемогая под тяжестью креста. Агасфер якобы сказал Христу: «Иди, иди!» С тех пор Агасфер обречен ходить без отдыха по земле до Страшного суда. В романе живописец Франческо-Старший до известной степени повторяет судьбу Агасфера.

Бертран де Борн (ок. 1140 — ок. 1215) — провансальский трубадур, славившийся не только своим поэтическим талантом, но и строптивым нравом. Упоминание Мефистофеля подчеркивает родство Медардуса с Фаустом.

Бенеенуто Челлини (1500 — 1571) — итальянский скульптор и золотых дел мастер, прославился автобиографией, переведенной Гете на немецкий язык в 1803 г. В романе Гофмана встречаются переклички с этой автобиографией.

...так называемые вольные стрелки... — Согласно народным поверьям, вольный стрелок — охотник, вступивший в союз с дьяволом. Дьявол дает ему пули, бьющие без промаха, и сам направляет каждую седьмую из них.

Фараон — азартная карточная игра, запрещенная тогда во многих европейских государствах. В фараон втайне играло только избранное, главным образом, придворное

общество.

...знаком ли я с ирландцами... — Речь идет об анекдотах, распространенных в эпоху Гофмана. Писатель, вероятно, читал сборник анекдотов «Спутник весельчака». Ирландец — постоянный герой этих анекдотов.

Я сам если и подобен Фальстафу... — Далее Эвсон цитирует реплику Фальстафа из исторической хроники Шекспира «Король Генрих IV» (II, 1, 2).

Хорнпайп — народный английский танец, популярный в XVIII в. Назван по музыкальному инструменту (hornpipe — волынка, англ.).

Шампанского подайте мне... — немецкий перевод реплики Фальстафа («Король Генрих IV», II, 4).

Камбиз — персидский царь (VI в. до н. э.). Слыл у древних греков пьяницей, развратником и деспотом.

Катон Старший Марк Порций (234 — 149 до н. э.) — римский политик и писатель, блюститель традиционных римских доблестей.

...Шекспир, в шлегелевском... переводе... — Август Вильгельм Шлегель (1767 — 1845) — немецкий писатель-романтик, историк искусства. Его переводы Шекспира на немецкий язык до сих пор считаются классическими. Шлегель переводил Шекспира размером подлинника, то есть пятистопным ямбом. В этом же размере комически изъясняются персонажи вставной новеллы лейб-медика. Анахронизм, допущенный Гофманом: действие романа разыгрывается до того, как были опубликованы переводы Шлегеля.

Принц Евгений Савойский (1663 — 1736) — австрийский фельдмаршал, известный полководец; прославился победами над турками.

Ты Квинз... — См.: Шекспир, «Сон в летнюю ночь» (V, 1).

...у Медардуса на шее... есть метка... — Мотив крестообразной метки, как считают исследователи, заимствован из драмы Кальдерона «Поклонение кресту», высоко ценимой Гофманом. Драмы Кальдерона в переводе Августа Вильгельма Шлегеля вышли в 1803 — 1804 гг.

Монах-доминиканец. — Ордену доминиканцев папа Григорий IX в 1232 г. препоручил инквизицию. В народной этимологии Dominicanes истолковывались как Domini canes (псы Господни, лат.). Орден доминиканцев беспощадно преследовал еретиков, фабрикуя при этом ложные обвинения и пытками вымогая у обвиняемых признание.

...полулакеи, полуприживальщики... — С этой фразой лейб-медика явно перекликается фраза аббата Пирара из романа Стендаля «Красное и черное», относящаяся, правда, к духовенству католическому: «...мы люди духовного звания... и в качестве оных мы являемся для нее чем-то вроде лакеев, необходимых для спасенья ее души» (М., 1950, с. 268, пер. С. Боброва и М. Богословской. Речь идет о госпоже маркизе де ля Моль).

Амадис Галльский — один из легендарных рыцарей Круглого стола, действующее лицо романов артуровского цикла, любимый герой Дон Кихота Ламанчского. Немецкая версия романа об Амадисе Галльском вышла в Германии в XVI в. в 24-х томах и пользовалась необычайной популярностью.

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646 — 1716) — выдающийся немецкий математик и философ. В 1700 г. основал Берлинскую академию наук, побудил Петра I основать Петербургскую академию, что было осуществлено уже после смерти Лейбница (1724).

Если я вообще существую лишь в моем сознании... — Шёнфельд в эксцентричной форме ссылается на философию Иоганна Готлиба Фихте (1762 — 1814), одного из основоположников немецкого классического идеализма, в особенности, на его труд «Наукоучение» (1794). Для Фихте источником бытия является абсолютное «я», чистое сознание. Эта теория оказала определенное влияние на романтиков, не исключая Гофмана.

Неверр Жан-Жорж (1717 — 1810) — знаменитый французский хореограф, реформировал классический балет. **Вестрис** Гаetano Аполлино Бальдассаре (1729 — 1808) — знаменитый итальянский танцовщик. Возможно, речь идет о его сыне: Мари-Жан-

Августин Вестрис-Аллард (1760 — 1842) — также выдающийся солист балета, изобретатель пируэта. Все три артиста танцевали на сцене парижской Большой Оперы и считались непревзойденными мастерами своего искусства.

... пудры à la **Marèchal, à la Pompadour, à la reine de Golconde...** — Речь идет о пудрах, модных в XVIII в. Первая названа в честь наполеоновских маршалов. Пудра «Помпадур» — по имени маркизы де Помпадур, фаворитки Людовика XIV. Королева Голконды — героиня популярной оперы «Алина, королева Голконды» Анри-Монтеня Бартона (1767 — 1844). Гофман дирижировал этой оперой 1 окт. 1808 г. в Бамбергском театре.

...скелет... змйи... — Гофман по-своему komponует здесь мотивы средневековой литературы и живописи, подхваченные впоследствии искусством барокко. Образ женщины, чье тело, с виду прекрасное, на самом деле уже разлагается, восходит к стихотворному эпосу Конрада Вюрцбургского «Цена жизни» (XIII в.).

Его брат Альберт... — Ошибка Гофмана: далее молодой князь именуется Иоганн.

Франческо... был учеником Леонардо да Винчи... — Образ Леонардо да Винчи играет существенную роль в романе Гофмана.

Почтим-ка Эскулапа и человеколюбивую Хигизью... — Эскулап — древнеримский бог врачевания, Хигизья — древнегреческая богиня здоровья.

...он вообразил себя новым Пигмалионом... — Пигмалион, царь Кипра, непревзойденный ваятель, влюбился в сделанное им изваяние из слоновой кости, которому Афродита подарила жизнь, вняв его мольбам; Пигмалион взял свое творение в жены (см.: Публий Овидий Назон, «Метаморфозы», кн. 10).

...ваша корона, своим тройственным кругом обозначающая таинственное триединство Господа Вседержителя... — Медардус усматривает в трех кругах папской тиары образ христианской Троицы (ср.: Данте, «Рай», XXXIII, 114 — 117), но, согласно традиционному толкованию, три золотых обруча папской тиары символизируют Церковь гонимую, воинствующую и торжествующую.

Пульчинелла — одна из масок в итальянской импровизированной комедии, комический слуга с заостренным носом, в остроконечной шляпе и в шароварах.

...вышел Давид со своей пращей и кульком... — Будущий библейский царь Давид в юности сразил из своей пращи могучего воина Голиафа, что стало излюбленным сюжетом кукольных представлений.

...нынешний наместник Божий — сущий агнец в сравнении с Александром Шестым... — Нынешний наместник Божий — вероятно, папа Климент XIV (1769 — 1774). Этот папа был не чужд обновленческих идей и навлек на себя ненависть иезуитов, упразднив их орден в 1773 г. **Александр VI Борджиа** (1431 — 1503) — римский папа с 1492 г., отличался развратной жизнью, беззастенчиво вмешивался в политические интриги своего времени.

Ионафан — сын библейского царя Саула, верный друг Давида.

Санкт-Гетрей — улица в Бамберге, где находилась психиатрическая лечебница, возглавлявшаяся другом Гофмана, доктором Адальбертом Фридрихом Маркусом.

Confutatis maledictis... — стихи из латинского гимна «Dies irae» («День гнева»), с XIV в. включенного в католическую заупокойную мессу.

Леонардо да Винчи в «Эликсирах дьявола»

Леонардо да Винчи (1452 — 1519), великий художник итальянского Ренессанса, упоминается в «Эликсирах дьявола» вскользь, отнюдь не являясь при этом эпизодической или периферийной фигурой. Напротив, проблематика и художественная ткань романа во многом определяются именем и образом Леонардо. Не случайно приор, духовный наставник Медардуса, носит имя «Леонардус», и беглый монах принимает имя «Леонард» якобы в честь своего приора, фактически же, сам того пока еще не подозревая, в память о своем

истинном духовном предке. Приор Леонардус играет в жизни Медардуса роль, аналогичную роли престарелого Леонардо да Винчи в жизни князя-художника Франческо, от которого Медардус происходит по плоти. Леонардо да Винчи, подобно приору Леонардусу, выступает в романе как пример и символ благочестивого католичества, однако именно его искусством и духовным опытом предопределена роковая наследственность проклятого рода. Миф о Леонардо да Винчи присутствует в романе. Более того, Гофман становится одним из творцов так называемого ренессансного мифа, во многих отношениях предопределяя художественно-философские тенденции 2-й пол. XIX и нач. XX века.

В образе Леонардо да Винчи предание соединяет живописца и естествоиспытателя. Исторический Леонардо да Винчи действительно сочетал художественные и научные интересы, обуславливающие Друг друга. Пожалуй, весь Леонардо в глаголе «изведать», «испытать». Новые возможности искусства совпадают для него с новыми перспективами научного исследования, хотя в глазах современников натурфилософские эксперименты лишь отвлекают художника от его великих произведений, в совершенстве которых никто не сомневается. Современники упрекают Леонардо в том, что он разбрасывается и потому не может закончить своих художественных шедевров. Эти упреки находят отголосок в романе Гофмана, где Франческо никак не может написать лик святой Розалии и, переживая творческий кризис, прибегает к пресловутому дьявольскому эликсиру. Известно, что Леонардо очень долго писал Христа своей «Тайной вечери», и в кругу художника распространялись всевозможные кривотолки на этот счет. Естественнаучные и художественные занятия Леонардо да Винчи объединяются неким таинственным любопытством, пафосом Фомы Неверного, стремящегося вложить персты в раны распятого Спасителя. Поэтому легенда недаром вовлекает Леонардо да Винчи в сферу эзотерической мистики, связывает его имя с христологическими ересьями. Именно таким мистическим любопытством движимы и оба Франческо, старший и младший в романе, и особой интенсивности оно достигает как раз в личности Медардуса, которому сначала, откровенно говоря, просто хочется попробовать страшный эликсир.

Несомненно, отношение к христианству, историческому и мистическому, — одна из центральных проблем романа. Это особенно бросается в глаза потому, что Гофман явно не очень сведущ в проблематике, которая захватывает его, там что он вынужден трактовать ее исключительно как художник. Гофману явно далеко до изощренных религиозно-философских построений Новалиса, Шеллинга или Вакенродера, но именно артистическая пылкость профана, столь родственная жизненной позиции его героев, придает роману крайнюю насыщенность и жизненный интерес.

Исторически эпоха Ренессанса вызвала секуляризацию (обмирщение) искусства. В романе престарелый Леонардо удерживает своего своенравного ученика Франческо в лоне церковной традиции, но как раз гофмановский Франческо-старший привносит в искусство веяния и тенденции, характерные для исторического Леонардо. Живопись Ренессанса отказалась от обратной перспективы и перешла к прямой, создавая оптическую иллюзию трехмерного пространства, зримой дали. Также и цвет теряет свою символическую знаменательность, набирая земную красочность. И наконец, человек перестает быть иконописным образом, превращаясь в изображение, при котором соблюдаются анатомические пропорции человеческого тела. (Кстати, Леонардо был среди тех, кому легенда приписывала интерес к рассечению трупов, похищаемых для этой цели, и необъяснимое исчезновение самозваного Медардуса из монастырской покойницы также прочитывается как отдаленная аллюзия на времена Ренессанса.) Живопись Леонардо поражала современников своей физиологической точностью. Вариациям на эту тему отдал дань Гоголь в своем «Портрете»: «Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонию самого портрета. Это были живые, это были человеческие глаза! Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда» (Гоголь Н. В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. III. М., 1984, с. 70). К такому искусству стремится Франческо-старший после смерти учителя, что не могло не означать разрыва с христианской традицией.

Отталкиваясь от христианства, Франческо обращается к античному язычеству не только в художественном, но и в религиозном плане. Это существенный момент ренессансного мифа. Возрождение в распространенном культурном сознании и означало возрождение языческих верований. Гофман вносит свой вклад в становление подобного мифа, но в этом пункте внутренние перипетии сюжета причудливо перекрещиваются с внешними параметрами романа, вписывающегося в духовную жизнь своего времени.

Гофман точно и тонко улавливает функцию изобразительного искусства в эпоху Ренессанса. Живопись и скульптура не ограничивались тогда решением художественно-ремесленных задач; они образовывали мировоззрение, философию эпохи — в большей степени, чем собственно тогдашняя философия. Секуляризация искусства не могла не затрагивать религии, хотя вовсе не означала прямого или скрытого разрыва с христианством. Языческие пристрастия не выходили за пределы узких элитарных кружков, что видно и в романе Гофмана, да и внутри этих кружков они не шли дальше стилизованных игр, вовсе не предполагающих серьезную реставрацию языческих верований. Однако секуляризация все-таки посягала на функцию христианства в духовной жизни общества. Христианство оставалось как бы само собой разумеющимся, но оно выводилось за пределы культуры. Религиозные сюжеты трактовались наравне с мирскими в мирском духе, что вызывало негодование воинствующего благочестия, представляемого, к примеру, проповедником Савонаролой (1452 — 1498).

Вместе с тем само преклонение перед античностью не было чем-то новым для романско-готической культуры. На благоговейном изучении античности основывалась и средневековая схоластика, признанным вдохновителем которой был Аристотель. Как ни странно, и секуляризация культуры имела средневековые, схоластические корни, восходя к учению о так называемой «двойной истине». Согласно этому учению, признавалась истина Откровения и наряду с ней истина знания, причем обе эти истины могли друг с другом не совпадать, на что ссылались натурфилософия, когда указывали на ее несоответствие Священному писанию. Секуляризация лишь возвела эту двойственность в мировоззренческий принцип, распространив ее на внутренний мир человека. Просветительство же зашло еще дальше, низводя христианство к привычной социально-исторической данности, одновременно вышучивая его и снисходительно защищая при условии полной его нейтрализации, когда христианство приравнивается к простой моральной норме, а его мистическая сущность затушевывается, так что становится дурным тоном говорить о ней. Таков диапазон европейского просветительства от Вольтера до Штрауса и Ренана. В «Эликсирах дьявола» такой точки зрения придерживается лейб-медик, но и Медардус, в бытность свою модным проповедником, склоняется к ней, усматривая в искушениях святого Антония лишь глубокомысленную аллегория.

При этом культура оставалась христианской по своим истокам и сути. Замалчивая мистическую сердцевину христианства, просветители изымали из культуры ее творческий стержень, выхолащивали ее энергетическую притягательность. За десять лет до «Эликсиров дьявола» в Германии появился роман «Ночные бдения». Его неизвестный автор, укрывшийся под псевдонимом «Бонаventura» (по некоторым предположениям это мог быть тот же Гофман), называл французскую поэзию пресной, имея в виду рационалистическое просветительство. Подобная пресность катастрофически распространялась на всю духовную жизнь, выражаясь в филистерском ханжестве и в пресыщенном сплине. Немецкие романтики, в их числе Гофман, увидели спасение в христианизации культуры. Собственно, попытки вовлечь христианство в сферу новейшего духовного творчества или вернуть культуру в лоно христианства не прекращались никогда. Достаточно в этой связи назвать имена Якоба Бёме, Мальбранша и де Местра. Но вопрос действительно ставился неоднозначно: возвращается ли культура в лоно христианства или, напротив, христианство вовлекается в новейшее культурное творчество. Этот вопрос мучил всех видных представителей романтической школы в Германии. Романтизм развивался под знаком кьеркегоровского «или — или». «Эликсиры дьявола» всецело обусловлены этой

двойственностью и ей посвящены.

Приор Леонардус не имеет себе равных в романе по интеллектуальной силе. Он прежде всего религиозный мыслитель, и для него культура невозможна вне христианства; поэтому сфера его деятельности — монашеская обитель. Но характерно, что противостоит ему римский папа, вульгарный просветитель в тиаре, цинично пытающийся совместить душевное спасение с мирскими радостями. И этот папа не в ком ином, как в Медардусе, облюбовывает духовника, подходящего для себя.

Личность Медардуса — сплошное «или — или». Медардус непрерывно колеблется между Богочеловеком и сверхчеловеком, идеалом которого соблазняет его Евфимия. Гофман не оставляет у читателя сомнений в том, что сверхчеловек — иллюзия. Дьявол — не в сверхчеловеке, дьявол — в уклонении от Богочеловека во имя мнимого сверхчеловека, дьявол — в самом колебании между истинной и ложной величиной, а эликсир дьявола только усугубляет это пьянящее колебание. Между истинным и мнимым человек теряет себя самого: «Я тот, за кого меня принимают, а принимают меня не за меня самого; непостижимая загадка: я — уже не я!»

В линии двойника роман Гофмана тесно соприкасается с русской литературой, причем не только с Гоголем и Достоевским. В 1897 г., когда появляется первый русский перевод «Эликсиров дьявола», Д. С. Мережковский работает над историческим романом «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи». Выход перевода как раз в это время — разумеется, простое, хотя и знаменательное совпадение. Мережковский не нуждался в переводе для того, чтобы ознакомиться с романом Гофмана. Следы его воздействия замечаются в русской литературе задолго до Мережковского.

Переключка Мережковского с Гофманом осуществляется не столько через образ Леонардо да Винчи, сколько через его влияние на окружающих. В романе Мережковского к Джиованни Бельтраффио приходит ужасный двойник Леонардо да Винчи и толкует о зловещей механике мира. Самое страшное в том, что Джиованни готов принять своего любимого учителя за его двойника. Но трагедия Джиованни не исчерпывается этим: в гениальной живописи Леонардо Джиованни находит двойников — одного Христа и другого: «Его мучило также другое видение — два лика Господня, противоположные и подобные, как двойники: один, полный человеческим страданием и немощью, — лик Того, Кто на вержении камня молился о чуде; другой лик страшного, чуждого, всемогущего и всезнающего, Слова, ставшего плотью, — Первого Двигателя» (Мережковский Д. С. Воскресшие боги. Леонардо да Винчи. М., 1990, с. 304).

В этих словах Мережковского намек на старинную легенду. Говорят, будто на картине «Тайная вечеря» был изображен двойник Христа. В легенде угадывается апокрифическое представление о том, будто на кресте был распят не Иисус, а Его двойник. Леонардо да Винчи слыл приверженцем этой христологической ереси, хотя явных подтверждений и свидетельств такого рода не сохранилось. Сам подобный слух был навеян искусством Леонардо да Винчи, его своеобразной эзотерикой при всей оптической достоверности его рисунка. Уже в последнее время возникла версия, согласно которой знаменитая Мона Лиза Джоконда является автопортретом художника, то есть его двойником женского пола. Стремление Леонардо соперничать с природой не могло не породить двойников. В духе своих религиозно-философских построений Мережковский истолковывает два лика Христа у Леонардо как Христа и Антихриста, причем Антихрист выступает не как противник, а как двойник Христа.

У гофмановского Медардуса тоже два лика, два существа. Он отпетый преступник, блудник, убийца, и он же святой. Он пришел в Рим каяться в смертных грехах, а его собираются канонизировать. Дьявол не прочь прельстить Медардуса и святостью, лишь бы это была сверхчеловеческая святость, сопряженная с гордыней в самом покаянии. Медардус мнил себя святым Антонием. Настоящий, так сказать, родовой двойник Медардуса, граф Викторин пытается узурпировать святость Медардуса, тогда как Медардус присваивает себе грехи Викторина. Однако не Викторин, а Медардус — избранник святой Розалии, чей

совершенный земной двойник — Аврелия. Гофман превращает пустынную Розалию в мученицу, чтобы усугубить это праведное двойничество. Медардус покушается на убийство своей возлюбленной Аврелии, но убивает ее Лжемедардус, Викторин, чтобы Аврелия удостоилась мученического венца, искупив грех своего проклятого рода и грех Медардуса.

Однако двойником святой Розалии оказалась и госпожа Венера, языческая богиня, с которой пытается отождествить святую Розалию Франческо-старший. Мережковский в своем повествовании как бы придает археологическую конкретность романтическим эскизам Гофмана. Он мастерски фиксирует атмосферу раскопок, таинственных находок, в которой должен был формироваться художник, принадлежащий кругу Леонардо. Возлюбленная Франческо — «белая дьяволица» Мережковского. На этот образ наслаиваются средневековые немецкие сказания о любви госпожи Венеры к рыцарю Тангейзеру, вдохновившие Генриха Гейне и Рихарда Вагнера. Пещера, в которой Франческо-старший оставляет своего отпрыска от «белой дьяволицы», напоминает Венерин грот. В дьяволицу Франческо влюбляется не только потому, что она похожа на Венеру, но и потому, что она похожа на святую Розалию, хотя это сходство проистекает от его собственного художественного дерзновения.

На этом художественном дерзновении строится причудливый, но безупречно мотивированный реализм романа. Девочка Аврелия тоже влюбляется в портрет, но Гермоген недалек от истины, когда он предостерегает сестру, что это дьявол. Дьявол в романе действует исключительно во внутреннем мире человека, но от этого он едва ли не более осязателен, чем князь мира сего, гетевский Мефистофель или булгаковский Воланд. В критические моменты своей жизни Медардус слышит в самом себе «некое постороннее шептание», что-то буркает в нем, глухо говорит пустота, и такая пустота граничит со сверхчеловеческой мощью. Эти симптомы в точности соответствуют святоотеческим преданиям о «демонских стреляниях», то есть о сатаническом искушении, но встречаются они и в трудах психиатров, уделивших, кстати, определенное внимание творчеству Гофмана. Строгие мотивировки, подчеркнута избегающие сверхъестественного, действеннее откровенной гофмановской фантастики, потому что они невероятно достоверны. Отношения Медардуса со своим двойником вполне объяснимы чисто житейскими обстоятельствами. Граф, отведавший дьявольского эликсира на глазах у болящего Медардуса, вполне мог быть Викториним. Сворачивает не столько вино, сколько легенда, ему сопутствующая: она-то и есть дьявольское искушение. В доме лесничего Медардус действительно встречает своего двойника, но по дороге из загородного замка его явно преследует галлюцинация. То же самое, по всей вероятности, происходит в тюрьме при попытке Медардуса к бегству, однако настоящий двойник вскакивает потом на закорки Медардусу, спасающемуся бегством. Любовь к портрету заставляет Аврелию бредить любовью к монаху. Так трансформируется в девичьей психике запретность: дьявол отождествляется с монахом в духе средневековых сказаний, и такое отождествление подтверждается действительностью. Отсюда крайняя интеллектуальная напряженность и композиционная действенность споров об искусстве в романе. Отвлеченный спор об искусстве едва не приводит к личной ссоре Медардуса и князя.

Князь, этот маленький провинциальный Медичи, — тоже действующее лицо ренессансного мифа, и он имеет все основания принять за оскорбление выпады Медардуса, своего духовного и кровного родича. Вообще вся генеалогия проклятого рода — это гротескно зловещая проекция ренессансного мифа в новейшую историю, грозное предостережение от интеллектуально-художественного флирта с идеей сверхчеловека задолго до того, как появятся незадачливые почитатели Фридриха Ницше. Ренессансной героиней мнит себя и Евфимия, не подозревающая, что в своих выпренных рассуждениях она лишь варьирует пассажи «белой дьяволицы». Белькампо — тоже пародийный провозвестник Ренессанса, низводящий героические поползновения на уровень грима и фарса. Недаром в конце романа обнаруживается некая таинственная связь между Белькампо и ученым Леонардусом. Леонардус предостерегает будущего Медардуса от эксцессов сексуальности пафосом проницательной сублимации, а именно такой пафос приписывает

Зигмунд Фрейд в своем психоаналитическом этюде загадочному гению Леонардо да Винчи.

В сущности, весь проклятый род в романе Гофмана происходит от одного живописного образа, который одновременно отравляет наследственность и предоставляет одну-единственную возможность спастись. Трилогия Мережковского «Христос и Антихрист» основывается на *художественно-философском* анализе этой двойственности, реализованной Гофманом чисто *поэтически*. Неотъемлемая особенность романтического мироощущения заключается именно в навязчивом двоении каждого образа, приводящем к непрерывному оспариванию и опровержению действительности идеалом, причем у Гофмана такое опровержение не затушевывает, а подчеркивает и оттеняет действительность. Для поэта-романтика двоение образа — процесс непрерывный и потому динамичный. У Мережковского иначе: двоение идеологизируется и застывает в умозрительной статичности, не лишенной аналитической остроты, но бесперспективной: приравнять антихриста ко Христу не удастся. Гофман решительно возвращает культуру к ее христианским истокам, но у этих истоков возникает *художник*, Леонардо да Винчи, преображающий двойничество природы и культуры творческой мистерией образа и подобия Божьего.